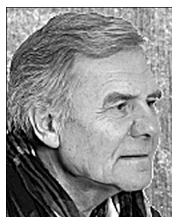


НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 1 (4 8) / 2 0 2 3



АЛЕКСАНДР
БОБРОВ
Москва

4



АННА
ЗВЕЗДКИНА
Нижний Новгород

12



АЛЕКСАНДР
ОРЛОВ
Москва

15



АНДРОНИК
РОМАНОВ
Москва

19



ДМИТРИЙ
ЛАГУТИН
Брянск

24



ИРИНА
ДРУЖАЕВА
Городец

59



МАРИНА
ТАРАСОВА
Москва

75



ДАРЬЯ
КНЯЗЕВА
Воронеж

85



АРСЕНИЙ
ГОНЧУКОВ
Москва

90



ПАВЕЛ
ТУЖИЛКИН
Саров

94



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

139



АНДРЕЙ
РУДАЛЕВ
Северодвинск

166



АНТОН
ФОРТУНАТОВ
Нижний Новгород

171



ЛЮДМИЛА
КАЛИНИНА
Нижний Новгород

230



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

234

В НОМЕРЕ

Поэзия

Александр БОБРОВ СМЯГЧАЮЩИЙ СВЕТ	4
Константин ЛОБОВ СМЕРТИ В РАЕ НЕТ	9
Анна ЗВЁЗДКИНА ...НО ГДЕ-ТО САД ВОЗДЕЛАН НЕЗЕМНОЙ	12

Проза

Александр ОРЛОВ КРОВНЫЙ ИЗВЕТ	15
Андроник РОМАНОВ ВАНЮША	19
Дмитрий ЛАГУТИН ПАР СНЕГ ИДЕТ	24 35
Тимофей ЮРГЕЛОВ BAD ENGLISH	41
Владимир КУЗИН ЧЕБУРАШКА	52
Ирина ДРУЖАЕВА ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ ЛАРИОНОВА ОБИТЕЛЬ	59 65

Поэзия

Марина ТАРАSOVA ...А В АНАМНЕЗЕ ТОЛЬКО СТИХИ	75
Никита БРАГИН ...И ВЕЧНЫЙ ВЗОР ИЗ КРАСНОГО УГЛА	81
Дарья КНЯЗЕВА ВСЕ КАЧАЕТСЯ, ЗНАЕШЬ, ОТ ЗНАМЕНИ ДО КРЕСТА...	85

Проза

Арсений ГОНЧУКОВ СМОТРИТЕ, ЭТО УХАНЬ	90
Павел ТУЖИЛКИН УМНИК	94
Валерий МОРОЗОВ БАТАЛИЯ	103
Марина СОЛОВЬЕВА ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ	112
Василий КИЛЯКОВ БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ!	126
Анастасия РОСТОВА ЛИЛИЯМ – ПРЯСТЬ	136

Театр

Олег РЯБОВ ДОЧЬ ПРОФЕССОРА. Пьеса	139
---	-----

Стихи по кругу

Александр ВЫСОЦКИЙ	157
Виктор ЛЯПИН	157
Людмила ТОБОЛЬСКАЯ	158
Петр РОДИН	159
Валерий РУМЯНЦЕВ	160
Олег РЮМКОВ-ЗОЛОТАРЁВ	161
Оксана СУСОРОВА	162

Далекое – близкое

Марина ФАДЕЕВА МЕДАЛЬ.	163
--	-----

Публицистика

Андрей РУДАЛЕВ ВРЕМЯ ШОЛОХОВА	166
Антон ФОРТУНАТОВ ДВА ЭССЕ НА ТЕМУ ПОСТГУМАНИЗМА	171

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ «МЕНЬШЕ ДУМАТЬ О БЛАГЕ И БОЛЬШЕ О СИЛЕ» К 150-летию создания философско-исторического труда Константина Леонтьева «Византизм и славянство»	183
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА «БОЖИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК» ПАВЛУША 200 лет со дня рождения П.И. Якушкина	200
Галина МУХИНА «НЕ БУДЕТ ДАЖЕ И ВРЕМЕНИ ТАКОГО “ПОСЛЕ ВОЙНЫ”» 150 лет со дня рождения Михаила Пришвина	213
Людмила КАЛИНИНА «ПРАВДУ ВСЮ – ДО ПРЕДЕЛА, ДО КРАЯ, – КАК НИ ГОРЬКО, РАССКАЖЕМ НЕ МЫ» 70 лет со дня рождения поэта Сергея Карасева	230

Литпроцесс

Елена КРЮКОВА ПЕСНИ РАЙСКОГО САДА О книге стихотворений Олеси Николаевой «Уроки русского»	234
--	-----

Александр БОБРОВ

Родился в 1944 году на станции Кучино Московской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького.

Автор десятков книг стихов, песен, пародий, путевой прозы и публицистики, ряда авторских телепрограмм. Кандидат филологических наук, член редколлегии журнала «Русский Дом», лауреат премии им. Дм. Кедрина «Зодчий» и премии им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи...». Обладатель золотой Пушкинской медали творческих союзов России.

Секретарь правления Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живет в Москве.

СМЯГЧАЮЩИЙ СВЕТ

* * *

Ни грусти, ни горести нет,
Ни боли минувших обид...
Какой-то смягчающий свет
В осеннем пространстве разлит.

Дорога до неба видна
Сквозь дымку растраченных дней,
И зелень ещё зелена,
И золото стало видней.

Уже не прошусь ночевать,
Вина не решаюсь налить,
Не знаю, с чего начинать,
Чтоб осень былую продлить.

А там – Будапешт золотой
(Приеду ли снова? – вопрос),
И ты над дунайской водой
С волною упавших волос...

В бассейне

Про красоту «Она была» –
Не скажешь честно.
...И вот она в бассейн вошла –
Блондинка-чешка.

Фигуру бывшую несла,
Не растеряла.
Я представляю, как цвела,
Как покоряла.

А муж – седая борода –
Сидел угрюмо,
Я представляю: как всегда
Роилась дума.

Теперь осталось только жить,
Надежду полнить,
Что нам троим – не согрешить,
А только помнить...

Но я успел...

За счастьем призрачным в погоне,
Судьбу бросая на весы,
Я встретил женщину на склоне
Своих годов,
Её красы.

А это был – курорт венгерский,
А это был – отель-термал,
И я в бассейне, слишком дерзкий,
За стан её приобнимал.

Она загадочно смеялась,
В воде противилась чуть-чуть,
Но потихоньку поддавалась,
Чтоб жарко вечером прильнуть...

Токай асу в подвалах бродит...
Где Листа жаворонок пел,
Гляжу на фото – всё проходит,
Но я – успел.

На улице Щипок

Памяти Бориса Духона

Я сегодня вдруг вернулся в юность,
Тронулся трамвай и прозвенел.
Вот – Щипок,
И сердце встрепенулось:
Свой давнишний техникум узрел.
Эх, как мы влюблялись в эти годы,
У роддома резались в футбол,
Сладкий дух безденежья, свободы,
Селигер, турбаза, рок-н-ролл.
Всё былою дружбою согрето,
Спорами азартными юнцов.

У тебя всегда – «Спартак» и Нетто,
У меня – вернувшийся Стрельцов.
Первые свиданья –
Пусть несмело...
Снова осень скрашивает вид.
Шесть десятилетий пролетело,
Мир трещит...
А техникум – стоит.

Городище в Крыму

Бескрайность простора и света,
Сухие колючки с боков
И брызги кузнечиков,
Это –
Тропинка античных веков.

Иду к городищу Зенона,
Которое в море сползло,
Вдыхаю приливы озона,
Считаю, что вновь повезло.

Когда-нибудь путь свой закончу,
Но вспомню среди прочих красот
Волнистые степи за Керчью
И дымчатый горизонт.

Покуда в пути постоянно,
Где в памяти вновь промелькнёт
И крепость, и тень от орлана,
Вершащего вечный полёт.

На русском солнце

Ну что же, в честь приезда, для затравки
Пойдём туда, где солнцепёк и жар.
На пляже пахнет, словно в рыбной лавке,
Когда уже кончается товар.

И острый запах рыбы и рапанов
В дороге через несколько минут
Про киевских напомним горлопанов,
Которые скрипят песком и жрут.

Но даже если мрак
 воды коснётся,
В природе не померкнет благодать,
А всем врагам
 на ярком русском солнце,
Теперь веки Крыма не видать.

Гляжу на лики

...И опять я дивиться готов:
Хоть могила всегда украшается –
Не растёт благородных цветов,
А дурная трава размножается.

Только ландыши селятся цвелью
В вековечной своей бесприютности,
Подают мне щемящую весть
О мамаше, любившей их с юности.

Я на кладбище редко хожу,
Как и все, кто в реальности вертится.
Но на лики родные гляжу
Так, что тает тревога не встретиться...

Последний лист

Памяти Людмилы Щитахиной

Последний лист свалился,
И снова – тишина.
«...Мой старый друг влюбился», –
Писала мне она.
Припомню все дороги
И каждую строку.
Мы были с ней в Хороге,
Мы пили с ней в Баку.
Закаты и рассветы
Погасли над Москвой...
Последние поэты
Великой мировой
Империи советской,
Сгоревшей на ветру –
С их верой беззаветной
В добро и красоту.
Не золото на клёнах,
А только вороньё...
Ни песни для влюблённых,
Ни строчки – от неё.

* * *

...И в пору поздне-рябиновую,
Когда и не ждёшь тепла,
Порадуюсь за любимую,
Которая счастье нашла.

Теперь она с новым избранником
За каменную стеной –

Не то что со старым странником,
С каким-то поэтом.
Со мной.

Пушай, мол, и дальше скитается,
Обманываясь красотой.
А первый снег опускается,
Сквозя забытой фатой...

* * *

Это – будто кажется,
Двор – как сад чудес.
Тихо опускается
Снег с небес.

В жизни, бурно прожитой,
В наш безумный век
Выдыхаю: Боже мой –
Первый снег!

Время – в хлопьях замерло:
Медленен полёт.
Эх, начать бы заново...

Снег пройдёт.

Константин ЛОБОВ

Родился в 1966 году в Пермском крае. Окончил французское отделение факультета романо-германской филологии Тюменского государственного университета. публиковался в журналах «Нижний Новгород», «День и ночь».

Живет в Новороссийске.

СМЕРТИ В РАЕ НЕТ

* * *

В полях Окраины весной
Цветут «Пионы» и «Гвоздики»,
И «Смерчей» непомерный зной
Врачует холод в поле Диком.

Колонны, распахав зенит,
С боями поглощают вёрсты.
И льется кровь, кропя гранит,
И кровью набухают звезды.

Кому погибнуть суждено
От стали обоюдоострой?
Славяне-братья пьют вино
И заедают смертью постной.

И горечь пробирает нас
До спазма в горле. Не впервые,
«Светильник разума погас»
И еле держится на вые.

Неизвестный солдат

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я...*

М. Лермонтов. Сон

Я выживу, я выжил бы, я в гуще
Очередей за смертью. В феврале
Так холодно, что даже в райских куцах
Озноб и дым, и тени греются в золе.

И снится им речная переправа
На правый с левого – понтонная стезя.
За шагом шаг, вот-вот пойдет потрава.
Глаза-клинки. Взгляд отвести нельзя.

В ослепшей темноте окопная равнина
Разбита вдрызг. В раскрытые глаза
Струится сон. Прицела крестовина
Мерещится всю ночь. Но снятся образа,

Оглохшие от перекаатов грома,
Подсвеченные всполохом огня,
Я не дозволялся их. Я обзавелся кровом
Под пеплом, согревающим меня.

* * *

О души спасенье
Ветер шелестит,
Придет воскресенье,
Бог нас всех простит.

И, покорны Спасу,
Сгрудимся тишком,
Всей безродной паствой
В рай пойдем пешком.

Ни чинов, ни рангов,
Душам несть числа,
Замыкая фланги,
Мать в чем родила.

От начала жизни
До конца пути,
Бог один, повсюду,
В спину нас крестил.

Долог путь, извилист,
По-над пропастью,
В небе кружит финист
Острой лопастью.

Звякнут крючья-годы
Сталью боевой,
Ястреб всепогодный –
Неба смертный вой.

Поживем – узнаем:
Смерти нет в раю,
Смерть – она вне рая,
Где-то на краю,

За межой, за пашней,
В прошлом. Заросла,
Призрачностью павших,
Памятью возшла...

...в пустоте, над бездной,
Выглянет на свет,
Горечью небесной:
Смерти в рае нет.

К морю

Филатову Владимиру Борисовичу

Большей радости, чем в букварях,
в их словах, не лишенных известной отваги,
не увидишь нигде, разве только в морях,
среди рваных равнин пересоленной влаги,
пропитавшихся смолю чернильных «ять»
длинной речи, впадающей дельтою, пястью,
в эту выгнутую благодать,
горстью звуков, впечатанных выдохом, страстью.

Вдруг, покажется, выдохся, поредел
воздух весь, что, наверно, невероятно.
Страх отсутствия, это еще не предел.
Страшно быть, умереть и вернуться обратно,
и кружиться, как бабочка, не торопясь,
сжавшись в точку над линией горизонта,
чтоб бесцельной пылью раствориться, пропасть,
над чернильной линзой холодного Понта.

Анна ЗВЁЗДКИНА

Родилась в 1989 году в Дзержинске Нижегородской области. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова и Нижегородский губернский колледж. Работает музыкальным руководителем в детском саду.

Участвовала во всероссийском совещании молодых поэтов в Химках (2019), всероссийском совещании молодых поэтов Союза писателей России «Драматургия слова» в Уфе (2020). Второе место по итогам Слёта молодых литераторов в Большом Болдине в номинации «Поэзия» (2022).

Живет в Нижнем Новгороде.

...НО ГДЕ-ТО САД ВОЗДЕЛАН НЕЗЕМНОЙ

Август десятилетних

Пыльный боярышник в старых дворах,
Красный и рыжий, зажатый в горстях.
Голуби, спешно покинув карниз,
Вьются над крышей. В лучистую высь
Манит пожарная лесенка нас –
Двух неразлучных подруг. К нам анфас
Солнце развернуто. Здесь – будет сад:
Ягодных ядрышек сыплется град
С лесенки. Полдень теплом пропитал
Лестничный серый угрюмый металл.
В десять – лишь снится душевный покой.
Есть у обеих свой школьный герой,
Каждая рьяно, захлёб влюблена.
Эта влюблённость – на все времена
Или на месяц. Всё просто вокруг –
Тот, кто воскликнет «привет!» – сразу друг,
Тот, кто крылат – не колеблясь, в полёт,
Тот, кто живой – никогда не умрёт.
Через асфальт пробивается сад –
Ядрышки

ягодные

летят.

Бабушка

Из подпола тянуло горькой сыростью,
И слышно было в вязкой тишине,
Как рисовала ночь, борясь с сонливостью,
Эскиз тенями яблонь на стене.

Косматым был наш сад и неухоженным,
Был прост и скромн домик на холме:
Иконка, хлам в комодe перекошенном
И вечность в узелочках макраме.
Мне было семь. И было полдесятого
Примерно на часах. И смутный страх
Стоял за шторой. И густое зарево
Закатное болело в небесах.
В углу, угрюмая, отяжелевшая,
Нахохлилась нетопленая печь.
А бабушка из сада потемневшего
Не шла никак. И я, не смея лечь,
Её ждала. И чудилось мне издали –
Мятежник-сад взбесился, одичал.
И ширился, и рвался в небо мгlistое,
И домик ветхий в кулаке сжимал.
И обрастал ночной пейзаж гротесками:
Зелёной паутиной колдовской,
Причудливым узором арабесковым,
И всё терялось в дикости лесной.
И не вещами вовсе, а стихиями
Был полон мир, и не было людей.
Развоплощенье, магия, алхимия...
Но вот – привычно резкий скрип дверей,
И входит бабушка. – Ты что как поздно-то?
– Да огурцы полола в парнике...
Пропахло платье жижею навозною,
И паучок расселся на платке.
Такая заново живая, громкая,
Как будто отнятая у стихий,
Сидит у печки и газеты комкает,
И поджигает спичкой. И сухим
Вдруг пахнет деревом. Шипят смолистые
Поленья, и глядит в окно луна.
И чашка чая с земляничным листиком
Особой тайной до краёв полна.
– Ещё чайку? – Ага. Ты знаешь, бабушка,
Боялась я – вдруг не придёшь назад.
– Ну что ты, внучка? Я в теплице, рядышком...
Не время мне... И стал опустила взгляд
Она задумчиво... И время было ей
Однажды – не раздался скрип дверной,
Не разгорелась бодро печка стылая.
Но где-то сад возделан неземной.

Яблоня в ноябре

Гложет яблоню горечь и тайный страх –
Надо яблоки, яблочки удержать на ветвях,
Чтоб не грызла их лютая зимняя хтонь,
Чтобы тёплая к ним тянулась ладонь.

Так Атлант не держал небесный свод,
Как ноябрьская яблоня перезревший плод.
Отражается дождь в потемневшем трюмо.
Дождь заходит в избу, как к себе домой.

Дождь обходит дозором уснувший сад,
И от влаги – ярче яблочный аромат.
«Как же так? Я ведь честно весной цвела,
С головы до пят вся стояла бела.

Каждый крошечный хрупкий зародыш потом
Вскормлен был древесным моим молоком.
Скоро ведьма-зима обратит во прах
Груз ненужной любви на моих плечах».

* * *

О, это право не владеть ничем,
По осени легко прощаться с солнцем,
Не вымогать речей у тех, кто нем,
Не ждать, что уходящий обернётся,
Пришедший – прирастёт к твоей душе –
Шифоновая лёгкость и полётность,
Где ни замков, ни строгих сторожей.
Ты спросишь – безучастность, беззаботность?
Скорее, бесконечность. Стихнет боль,
И станет жизнь подагливей, просторней.
Ты просто превратишь себе позволь
Бутоны кулаков – в цветы ладоней.
Сказав «моё!», вмиг станешь беден, гол.
Сказать «возьми!» – что из ручья водицы
В пустыне отхлебнуть... Кто в дверь стучится? –
То нищий Бог с дарами к нам пришёл.

Вечерняя молитва

Найди меня, я здесь стою,
В луче серебряного света
У майской ночи на краю.
Найди, я где-то здесь, я где-то...
В моей безумной голове
Стихают распри, думы, ссоры.
Смакует ноты соловей,
И дышат пряным ветром шторы
С запутавшейся в них луной,
С тенями комнатных бегоний,
И весь огромный шар земной –
Лишь бусинка в Твоей ладони..

Проза

Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И. П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в столичной школе.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Наш современник», «Подъём», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор сборников поэзии и прозы и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси».

Лауреат всероссийских премий имени А.П. Платонова (2011), Ф.Н. Глинки (2012), С.С. Бехтеева (2014), Н.С. Лескова (2019), Д.Н. Мамина-Сибиряка (2020) и других, обладатель «Золотого Витязя», а также специального приза Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» (2017). Живет в Москве.

КРОВНЫЙ ИЗВЕТ

Бабушка часто засиживалась у телевизора, время от времени вступая с ним в односторонний диалог. Особенно ее беспокоила политика президента США Барака Обамы, он стал ей ненавистен за все время своего президентства до чрезвычайности и вызывал приступы агрессии и домоседской ругани. Увидев, что я открыл дверь в комнату, она сразу спросила:

– У нас атомная бомба есть?

– Есть! – ответил я.

– Тогда почему мы ее еще на Америку не скинули? Ты посмотри: Обамка чего только не вытворяет! И видно, что от непутевой родился, нормальная бы мать разве Бараком назвала? – причитала бабушка. – И так Господь обидел! Ведь черненьким родился! А все туда же... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, чего только он вытворяет и там и сям, и везде война, он-то ее отродясь не видывал, а туда же. Вот что я скажу! Он не только кожей, но и душой черный. Да-да, так бывает, это у кого сатана внутри сидит, а у него все наружу вылезло. Вот и люди бывают с черной душой, как родня моя поволжская, как тетка моя Мария, мамина родная сестра... Вот она все время к нам ездила. Вот какая зависть была, а родные. Завидовать-то чему было? Нам комнату дали в коммуналке до получения очереди. Магазины кругом, парк... Разве это

жизнь – в коммуналке... Но мы жили как одна семья, и разъезжаться я не захотела, а жило нас пятнадцать человек, у каждого был банный день, по семьям было распределено дежурство по уборке. Все время по неделям делили. Шесть человек в семье – значит, шесть недель дежурства, три – значит, три недели, один – значит, одна. Вот муж мой Вася, отчим матери твоей, чистил ванну, мастикой натирал полы, раковины вычищал, а мы – плитку...

И в Москву к нам сын ее ездил Анатолий, только все денег у меня выпрашивал, такой непутевый, клячил и клячил. Мы все с юных лет девочек наших с ним боялись оставлять. Его все знали, он же по женской линии неумный был. Одним словом, нахал. Отец его умер. На фронте папаша его не был, всю войну валенки валял. Может, болезнь была какая, может, сговорился с кем из начальства, только в войну они хорошо жили, не голодали, как мы. А потом Мария и забеременела, только вот от кого? Бабка моя Аксинья как посмотрела на внучка, так и сказала: выродок. С чего взяла, не понять, да только она молилась всегда и постные дни все соблюдала, поэтому у нас говорили, что у нее третий глаз между бровей. Слух ходил, что Мария то ли от венгра пленного нажила, то ли от оперуполномоченного из НКВД, что батюшку в колодце утопил. В общем, было непонятно почему, да Только так и звали между собой и все, кто знал, – выродок. Как ни приедет, живет и живет. А как не пустишь – родня, как выгонишь – кровь как-никак, а как только он уедет, так Мария сама пожалует. Жили-то подолгу, я всех кормила и денег на обратную дорогу давала. Шло время, так они к нам и приезжали, и жили мы в одной комнате: я, мама, твоя мама и мой муж с родней. Но случилось, что Мария с просьбой обратилась: хотела дочь свою Шурку, сестру мою двоюродную, на работу устроить. Мария прознала, когда я работаю на рынке, в какую смену, приехала с Шуркой и стала меня просить помочь с работой на рынке. Я ей и говорю: меня только устроили, как я могу просить за тебя? Кто я такая? Так они и уехали.

Прошло месяца два или три, и как раз на Страстной неделе вызывает к себе директор Андрей Яковлевич и говорит: «Тамара, садись. Сейчас я тебе новость скажу». И подает мне письмо. Смотрит внимательно и говорит: «Читай». Я читаю и сижу вся красная от стыда. Слезы того и гляди ручьями польются. Я и говорю: «Андрей Яковлевич, я этого не делала». Он строго так: «Кто они тебе?» Отвечаю: «Родные». Он: «Вот что я тебе скажу, девка, враги эти родные твои, самые что открытые. Зависть их уже сожгла. Бумагу эту при мне разорви и сожги, вот тебе спички, и молчок». Я в слезах вся, заявление в мелкие клочки разорвала и подожгла. И оно вместе с дымом исчезло. Он мне налил стакан воды. Я выпила. В себя пришла и говорю ему: «Андрей Яковлевич, а почему вы мне помогаете?»

А он: «Ты у меня ударница, таких, как ты, из московских кладовщиков только два, сама знаешь результаты соцсоревнований. Знаю, как ты за мамой ухаживаешь, как к Пасхе ей все самое лучшее из еды готовишь. Да и неделя Страстная кончается, вот себя вся нечистая сила и выявляет, а еще мы с тобой в святом месте работаем, как здесь твоему горю не помочь? Ничего ты обо мне не знаешь, чтобы я да хорошего человека за просто так на разрыв отдал, а что твоя родня состряпала, так там и на срок можно угодить, сейчас сама знаешь, очередная борьба за чистоту рядов. Таким подлостям в моем роду никто не обучен».

Я в недоумении смотрю на него, глазами хлоп да хлоп и не знаю, что и сказать, думаю, молчать надо, потом отважилась: «А в каком таком

святом? Что на рынке у нас святое? Коллектив? Так у нас друг на друга донести стараются не в милицию – так начальству, все жить хотят, устроиться, семьи прокормить, оно и понятно, так что здесь святого? В рынке-то?»

Он заулыбался, налил мне чая, конфет достал «Мишек» и говорит: «Это, девонька, рынок, он как мир, поэтому сейчас рынок, а ранее был монастырь. Вот как наш рынок называется?» Я ему и отвечаю: «Преображенский». «Ну и что?» – спрашивает он. «Ну и ничего, вы не думайте, я не дура, но я правда не понимаю», – говорю ему.

«Эх ты! Волжанка! Название рынок наш взял от Преображенского монастыря, а монастырь – от праздника Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Но жили на этом месте старообрядцы. Это были староверы-беспоповцы федосеевского согласия. Во время чумы в Преображенском ухаживали за больными, здесь, на кладбище, хоронили умерших. Потом на этом месте появились зажиточные старообрядцы, и со временем владение общины разделили на мужской и женский двор. Фактически здесь появились два монастыря. Перед революцией здесь работали школа, типография, иконописная мастерская, больница. В двадцатые монастырь закрыли, а Успенский храм большевики передали обновленцам, потом и рынок появился. Пусть безбожники рынок устроили, а место все равно веками намоленное, поэтому в войну оно и спасало. Народ мог все что угодно здесь раздобыть, одежду, ценные вещи на еду обменять. Понимаешь?» – спрашивает.

«Понимаю», – отвечаю ему. «Так вот, отец мой был старообрядцем и все родственники. Жил папа в поселке Куровское, которое поселком-то стало называться после революции, и только из-за того, что в нем находилась фабрика, ранее фабрикантам Балашовым принадлежала. Раньше Куровское относилось к Гуслицкой волости, прозванной Старообрядческой Палестиной. Меня на наш рынок, когда он еще монастырем был, отец привозил. Я маленький совсем был, а помню, какая обитель была. Когда хожу по рынку, сердце кровью обливается. Мы сюда и с отцом Архипом приезжали, моим духовником, когда уже стены эти служили складами, как и сейчас. Смотреть было больно, и сейчас в ужас порой прихожу, когда по торговым рядам иду, в помещения складские наведываюсь. Раньше монахов здесь и богомольцев только и встретишь, а сейчас весь Советский Союз, нехристи одни да перекупщики». Я возьми Андрею Яковлевичу и скажи: «Вы даже с батюшками приезжали?» Он в ответ: «Конечно, и отца Архипа до последнего дня вспоминать буду. Он служить у нас начал, когда я уже в школе учился, он к нам из-под Павлова Посада приехал, точнее сказать, вернулся, он, как и я, из гуслицков-старообрядцев. Службы у него особенные были, мне на них казалось, что я от земли отрываюсь. Но было так недолго, осенью 1937 отца Архипа Азарнова и человек двадцать с ним арестовали. Нас всех тогда от мала до велика вызывали на допросы. Я эти визиты к следователю да приезды оперуполномоченных на всю жизнь запомнил. Только не ненависть они во мне возжигали, а сердечность, жалко мне было всех: и тех, кого увозили, и тех, кто увозил. Словно суд небесный вершился. Первые в муках к Богу возносились, вторые оставались жить в огненном страхе. А что потом? Годы в хворях, плач, скрежет зубов и тьма крошечная. Так и нашего батюшку Архипа Давидовича и с ним несколько человек расстреляли на спецобъектах “Бутово” и “Коммунарка”, а некоторым срока дали. Но когда я жил в Москве и приезжал к родителям, стало известно, что в конце пятидесятых

реабилитировали наших гусяков решением Московского областного суда, только кому от этого легче. Всем и тогда было понятно, что нет никакой антисоветской организации, а есть наша молельня. Вина у нас с ними общая, каждый из нас ее знает, мне говорили, что в делах так и было написано в графе “вина” – старообрядец.

Он задумался и тихо напел:

В те времена укромные, теперь почти былинные,
Когда срока огромные брели в этапы длинные...

Потом продолжил: «Отца моего тоже забирали за то, что молились мы дома всей семьей, когда уже больше нигде было. Когда все молельни в Гуслицком краю позакрывали, так мы все время, пока отца не было, молились, поочередно, непрестанно. И свершилось чудо – не посадили, отпустили папу. Но из дома выселили, дом, дедом еще построенный и отцом обновленный, по бревнышку разобрали, мы жили в бане у соседей, потом в пустом погребке, зимой холодрыга такая, что зуб на зуб не попадал. Ничего! – рассмеялся Андрей Яковлевич. – Как видишь, все живы, Господь хранил семейство Петровых. Потом мне бараки раем казались, как там у Высоцкого?»

Все жили вровень, скромно так: система коридорная,
На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.
Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка.
Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка...»

Он все говорил и говорил, а я все сказать слово боялась. Боялась, потому как знала, что дома у меня и ты, и Ира, и мама еще жива была, и думала: скажу хоть слово – кто узнает, ведь посадят и разбираться не станут. Так весь вечер мы с ним и проговорили.

Вернулась я домой, рассказала все маме. Она уже тогда при смерти была.

Прошло месяца три, и Мария к нам все равно приехала погостить, узнать, как дела, а мама моя и говорит: «Гони ее! Креста на ней нет!»

Сколько себя помню, всегда я маму слушала, так и сделала. Все, что можно, услышала: и проклятия, и слова самые расхожие, и много чего еще. Плакала потом, а мама и говорит: «Не плачь, прости им все». Я ей в ответ: «Как простить? Мама, как же это?» А она мне: «Возьми и прости, их судьба не наше дело, Господь Сам все устроит, каждому воздаст, а ты сердце от горечи очисти, прости».

Я так и сделала! Маме слово дала, а как не сдержать, мать – оно самое святое, что есть, все мы из ее чрева выходим на свет Божий сквозь муки.

Андроник РОМАНОВ

Родился в 1967 году в Казахстане. Учился в Карагандинском и Казахском государственных университетах. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор четырех книг стихов и прозы.

Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Нижний Новгород», «Дети Ра», «Сибирские огни» и других. Лауреат XV Международного Волошинского конкурса. Стихи переведены на английский, французский, арабский языки.

Член Союза писателей Москвы. Главный редактор журнала «Литература». Живет в Москве.

ВАНЮША

– Основное практическое искусство, которому следует учить студентов, – это построение целесообразных сочетаний, – умничаю я.

Она бессмысленно кивает.

Мы идем прогулочным шагом мимо памятника Гоголю в сторону Волхонки от нашего уже любимого ресторанчика со странным для пиццерии названием – «Академия». В этот раз не из-за их щедрой на анчоусы «Маринары». Со дня Юлькиного приезда и первой за прошедшие восемнадцать лет встречи это место стало привычным и вполне себе удобным ориентиром. В шаге от метро и сталинской двушки ее отца в Малом Афанасьевском.

Сейчас она скажет: «Ты знаешь...» Обычный для нее способ переменить тему. Выдержит паузу – это она умеет – и выдаст нечто отвлеченное, обкатанное сотней псевдоинтеллектуальных разговоров.

– Ты знаешь, что ты особенный? – говорит она и останавливается, заслоня собой девушку в черных лосинах, так некстати обогнавшую нас. – Посмотри на меня. Что ты видишь?

Длинный пальчик с расписным коготком касается верхней пуговицы моего пиджака.

Мне совсем не нужно ее рассматривать – я прекрасно помню аккуратное ухоженное лицо, такое же, как и восемнадцать лет тому назад. Потому – взрослый жених и юный любовник, вдвое моложе и, что естественно, вдвое глупее нее, платье от Шанель, гламурная сумочка, чулки и неизменная артистическая осанка. Мне понятна она целиком, вся – с ее страхами, целями и поступками. Забавно наблюдать этот живой заворачивающийся спектакль вблизи, касаясь ее костюмов и декораций. Она подходит слишком близко, так, чтобы аромат парфюма смешивался

с запахом ее тела. Есть что-то безусловно болезненное в образе эмигрантской поэтессы, который она старательно рисует. Какая-то патетическая шизофрения.

– Почему же ты не любишь меня, сука, если я такой хороший?

– Что ты такое говоришь, Антон?! Зачем так грубо?.. Купи мне лучше кофе... Ты такой циник! И потом, кто тебе сказал?..

– Ну извини, – зло улыбаюсь я. – Лексическая импровизация.

Развязность ее заводит. Я это знаю. Вот он – вспыхнувший румянец, еще слово и – скомканная постель, судорожная возня, стоны и обилие пота. Хотя почему постель? Подойдет любой темный угол, например вон в том подъезде, или густые кусты за теми дворовыми гаражами.

Она смотрит на меня и выдает:

– А женись на мне! У тебя же есть деньги на свадьбу?

– Юля! – улыбаюсь я. – Секс без света и под одеялом... Лучше пойдем пить кофе.

Она теперь проще, банальнее и больнее, чем та, которую я знал, – гордую, с задранной головой, идущую к особняку Литературного института так, что оклики – и взлетит. Теперь мне было бы мало ее роскошного тела, а больше ничего и не осталось. Даже теоретически к истории с двумя комплектами ключей, выносом мозга и мусора, что неизбежно при любом продолжении, я не готов. Если расслаблюсь и поплыву в этой лодочке, обязательно ее брошу, и все это плохо кончится. В первую очередь для нее. Я ведь вижу старательно гримируемое сиротство и обреченную надежду разделить с кем-нибудь что-то кроме животного тепла. Да о чем я вообще думаю?.. Я и сам – Петрушка на палочке. Отыгрываю обеспеченную усталость, заглядывая при случае в синий циферблат Ulysse Nardin так, чтобы она их заметила. Эта улыбка, выпитая до самого донышка взрослая девочка.

– Классно! Мы как взломщики у Сартра! – восемнадцатилетняя Юлька проскальзывает между приоткрытой дверью и здоровенным, на голову выше меня, Василием, тончайшим переводчиком Ронсара, только что вырвавшим эту самую дверь из замка с корнем. – Это ведь черный ход! Василевс, ты кошмарно крут!

– Эй, дамочка, не путайте своего беспонтового Леблана с Сартром, – говорю я. – У Сартра нет никаких взломщиков!

– Ну, у Борхеса! Какая разница? – Юлька смеется.

На ней длинная, в пол, темно-серая юбка, широченная бордовая рубашка и огромная куртка.

– Какая разница?! – я вхожу в душный полумрак подъезда. – Да Борхес...

– Что вы разорались?! Интеллектуалы хреновы! Соскучились по ментовке? Давай шустро наверх! Ванюша, не тормози! – Василевс пропускает Ванюшу вперед и с силой захлопывает дверь.

– Так уж и под одеялом? – в ее голосе капризная игривость. – Слушай, мы не опоздаем? Во сколько спектакль?

– В шесть.

– Может, тогда лучше на такси? Там тоже есть «Шоколадница».

– А давай на автобусе, – улыбаюсь я, замечая триста шестьдесят девятый. – Как раньше. Помнишь?

И мы, взявшись за руки, бежим через дорогу. Автобус битком. Покупаю у водителя талон. Под пиканье валидатора проходим через

турникет. Я протискиваюсь в угол между окном и каким-то странно изогнутым поручнем. Вокруг – подмышки. Она не отстает, и, когда я разворачиваюсь, мы оказываемся лицом к лицу. Автобус трогается, и предсказуемая инерция резко сокращает расстояние до моего нежелания думать о последствиях происходящего.

Стараясь не шуметь, поднимаемся по лестнице, аккуратно обходя стопки книг, газет и журналов, деревянные ящики и картонные коробки. Тицедушный Ванюша на площадке третьего этажа умудряется зацепить звонок одинокого велосипедика, и мы на секунду замираем.

Выбираемся на крышу через чердачное окно и, расстелив захваченные Василевсом номера «Советского спорта», становимся снова поэтами, заработавшими декламацией полчаса назад целых три рубля металлической мелочью на шумящем через квартал от нас Арбате. Все, кроме Ванюши. Он ходит за нами из-за Юльки.

Юлька стоит на самом краю крыши, смотрит в сторону Арбата и поворачивается ко мне:

– Как же мне хочется закричать! Не представляешь!

– Кричи, – улыбаюсь я.

– Я вам закричу! – машет руками Васька. – Чумовые вы оба.

– Вам, переводчикам, не понять! – смеется Юлька.

– Садитесь лучше жрать, – Василий достает из кармана банку шпротов и свой любимый нож-бабочку. – Иван Иванович, доставай.

Ванюша вынимает из-за пазухи рубиновую бутылку «Агдама»,

– Почему-то мне все время хочется тебя трогать, – говорит она, обнимая меня. – У меня к тебе особенное отношение. Я тебе говорила?

– Да, ты говорила. Слушай, мы ведь с тобой друзья?

– Ну да, а почему ты спрашиваешь?

– Ты помнишь, как мы остались на крыше?

– Конечно. Ну и наглый ты был, не то что теперь.

– Не провоцируй, – улыбаюсь я.

– А что мне остается?! Девушка к нему прилетела из самого Рима, а он!

– Ну, девушка прилетела не ко мне, а по своим делам. Если б не Фейсбук, вообще бы обо мне не вспомнила. Ты наших-то кого-нибудь видела? Слушай! Я же тебе не сказал! Мы в прошлом году встречались с Васькой! Тоже, кстати, через Фейсбук. Посидели в «Якитории», там, рядом, в «свечке». Ванюшу поминали... Жаль его. Мог бы еще пожить.

– Это вряд ли. Он много пил, особенно после нашего развода. Слушай, а он тогда читал? Ну, на Арбате?

– Ванюша? Он же вообще стихов не писал. Ты не помнишь, что ли?.. Редкий был экземпляр. Прости.

– За что?

– Как только входит бог вина,

– затягивает нараспев Васька, поднимая бутылку над головой, –

Душа становится ясна.

Гляжу на мир, исполнясь мира,

И златом я и серебром –

Каким ни захочу добром –

Богаче Креза или Кира.

– Ронсар? – интересуюсь я.
 – Ясен пень! – не меня интонации отвечает Василевс.
 – Перевод твой?
 – Левика, – виновато улыбается Васька. – Иван Иванович, ты что там строишь?
 – Глянь, Юлька, Ванечка свил тебе гнездо из газет. Иди, отложи яичко, – смеюсь я.
 – Никакой Леблан не беспонтовый, между прочим. А Ванечку нашего ты не обижай, – говорит Юлька. – Он хороший. Он увезет меня в Италию.

– Неужели он тебе так и не рассказал? – голос выдает меня неожиданной хрипотцой. – Вы же с ним десять лет прожили, да?
 – Что не рассказал?
 – Пошли к выходу, следующая наша.
 – Что не рассказал?!

«Агдам» быстро кончается. Юлька с Василевсом уходят в магазин, и мы с Ванюшей остаемся вдвоем. Я – с двумястами горючего в полупустом желудке, и он – тверезый, как бетюнский палач.

Закинув за голову руки, я лежу на теплой жестяной кровле, наблюдая как на абсолютно голубом небе чертит шероховатую белую линию серебристая точка самолета.

– Слышь, Антон? Нужно поговорить.
 – Ну, говори.
 – Я насчет Юли.
 – Что насчет Юли? – поворачиваю голову к Ванюше.
 Он стоит надо мной, еще забавнее отсюда, снизу, и я улыбаюсь несоответствию ракурса фигуре.
 – Она твоя девушка? – Ванюша наливается несвойственной ему маджентой.
 – Что ты хочешь? Говори прямо.
 – Я хочу на ней жениться. Ты же ее трахнешь и бросишь, как остальных.
 – Притормози, чувак. Тебе не кажется, что это не твое дело?
 – Я тебе дам отступные.

Я смеюсь:
 – Ты хочешь купить то, что мне не принадлежит.
 – Просто не мешай. Я тебе завтра дам десять штук зелени.
 – А почему именно завтра, а не сегодня или через месяц? И предложил бы сразу миллион, чего мелочиться?
 – Слушай, я серьезно. Ты ведь ее не любишь. Сегодня можешь делать что хочешь. И лучше трахни ее. Каждый получит свое...

Мы выходим на остановке. Теплый, пахнущий нагретым асфальтом, воздух.

– Что должен был рассказать мне Ванюша? Антон! – она стоит передо мной абсолютно серьезная. – Ну?
 – Какая теперь разница? Ты получила что хотела.
 – Ты думаешь, мне это было нужно?
 – А разве нет? «Это я на пляже в Ницце, это наш дом в Портофино». У меня тоже есть Инстаграм, между прочим.
 – Ты просто исчез.

– Ты все равно меня не любила.
– Ты серьезно? Для тебя это когда-нибудь было важно?
– Хочешь поговорить об этом? – нервно улыбаюсь я.
– Да, я хочу поговорить об этом!
– Хорошо, – я вытягиваю паузу... нужно уходить от этого разговора, срочно... смотрю на часы и развожу руками. – Всё! Не успела. Пойдем, опоздаем.

Она молчит. Молчит и смотрит на меня. И вдруг резко вскидывает руку, и от хлесткой пощечины у меня вспыхивает лицо.

- *Мир будет принадлежать им.*
- *Кому им, Вася?*
- *Вот таким вот Иван Ивановичам.*
- *Ты думаешь, мы лучше?*

Дмитрий ЛАГУТИН

Родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета, работает юрисконсультom в сфере строительства.

В 2017 году занял первое место в международном конкурсе «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза». Лауреат национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов». Рассказы публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Новый берег», «Волга», «Нева», «Дальний Восток», в сетевых изданиях «ЛиTERRАtura», «Южный остров».

Живет в Брянске.

ПАР

Пар был уже не тот. Сырой, он не обжигал, не кусал за плечи, не пробивал ноздри до самой переносицы – он мягкими волнами перекачивался от печи к полкам, струился вдоль темных дощатых стен, обволакивал, густо и тяжело стоял, пропитанный несколькими каплями – не больше чайной ложки! – пихтовой настойки.

– Сыро, – сообщил Серега, проведя по лицу ладонью.

С ладони посыпались на пол капли пота.

– Сыро, – согласился я и втянул поглубже горько-сладкий, густой воздух, который полился в меня, как сироп в графин.

Мы сидели на верхней полке, в самом углу, под тусклой лампочкой. Сидели, откинувшись, прижавшись лопатками к шершавой стене. Серега поднял голову, долго смотрел на лампочку, потом надвинул шапку на глаза – так, что видны остались только губы и кончик носа.

Над самыми нашими головами, за потолком запиликал тоскливо сверчок.

– Зато посидеть можно, – предположил я.

– Можно.

За это я иногда даже любил сырой пар – можно забраться на самый верх и нагреваться постепенно, плавно, а потом париться спокойно, выпрямившись и подперев макушкой потолок – не скрипеть зубами, зажмурившись, не прокладывать загодя мысленный маршрут между парильщиками, по которому можно будет, дойдя до точки кипения, как можно скорее добраться до двери, не теряя при этом лица.

Я отнял веник от груди и погрузил в него лицо – плотная дурманящая листва обняла щеки, по лбу проехала, царапаясь, веточка. Тер-

пкий и горький дубовый запах смешался с хвойным – пихтовым – и у меня закружилась голова.

– Погоди, – крикнул Серега, и лавка под ним заскрипела, – не стучи. Я поддам.

Он слез, расправил плечи, нахмурился и пробасил:

– Мужики, поддам?

Мужиков в парилке – кроме нас – было человек семь. Все они сидели разморенные, красные и блестящие, кое-кто размахивал веником над головой, гоняя по кругу жар.

В противоположном от нас с Серегой углу сидел, выпрямив по-военному спину, тощий старик – на одну ладонь у него был надет скребок, и им он громко тер плечи и грудь.

Был еще мальчик лет девяти – невысокий, пухленький, весь розовый. Он стоял рядом с отцом – не сильно отличавшимся от сына по комплекции. Отец сидел, положив ладони на широкий березовый веник и что-то рассказывал в полголоса. По широкому, мягкому лицу блуждала, то показываясь, то пропадая – тогда лицо принимало как будто испуганное выражение, – улыбка. Мальчик слушал внимательно и раскачивал в руках веник поменьше – тоже березовый.

Когда Серега нарушил вязкое спокойствие парной своим натренированным басом, мальчик обернулся, и я увидел, что на шапке у него вышито вместо обычного «Главный банщик», или «Не парь мозги», или «Царь» вышито трогательное и даже как будто несколько неловкое: «Я люблю папу».

– Поддавай, – проскрипел из угла старик. – Все одно пар не тот, сушить надо.

Серега потянулся, хрустнул шеей и, оставив веник на полке, спустился к печи.

– Ерохины прийти должны, – ответил кто-то старику, – они и обновят.

Братья Ерохины считались одними из самых яростных парильщиков – при них до верхней полки добирались только самые крепкие. И то сидели, сжавшись, втянув головы в плечи.

Серега всякий раз храбрился, карабкался повыше, корчился и шипел, точно на углях, но потом махал с досадой и спускался пониже. Выражение его лица при этом как бы говорило: «Ерунда, а не пар, видал я и покруче».

Я иногда тоже храбрился, полз наверх, но натыкался макушкой на упругую пелену нестерпимого жара и отступал.

Серега при упоминании Ерохиных повел плечами, точно говорящий обрацался к нему, а не к старику, пробормотал что-то. Стянул с перильца черпак, зацепил им и оттолкнул заслонку печи.

Из темного нутра выкатилась в парилку, ударилась в колени сидящих и растаяла по углам волна горячего воздуха – точно печь устало вздохнула. Я разглядел круглые бока камней – далеко в глубине, в щелях, неярко алело, – подхватил край затухающей волны веником и, прищурившись, бросил себе в грудь.

– Только много не кидай, – проскрипел старик, стягивая с руки скребок. – Совсем зальешь.

– Не залью, – проворчал Серега, поскреб черпаком по дну таза и дважды плеснул в печь, вытягивая руки и метаясь за камни.

В печи глухо зашипело. Серега подумал, зачерпнул еще немного и плеснул в третий раз – и с лязгом потянул заслонку на место. Повернулся и посмотрел на старика, мотнул вопросительно подбородком.

– Ну? Как там?

Старик замер, точно прислушивался, а потом махнул рукой.

– Сойдет.

Я почувствовал, как над головой проплыл жар, ударился в стены, изогнулся и дохнул по плечам. Серега вернул черпак на перильце, взбежал наверх, шумно втянул носом воздух и кивнул:

– Ничего.

И схватил веник – истрепанный, из одних, казалось, палок; купленный еще в позапрошлый раз и доживающий последнюю смену.

Я уже бил себя по ребрам – размахиваясь широко, загребая как можно больше воздуха. Старик отложил скребок и стучал веником по впалой груди – а через какую-нибудь минуту парилка наполнилась звонкими хлопками – звук напоминал стук ливня по листве – и сопением. Серега порывивал и хлестал себя так яростно, словно злился на несчастный веник и хотел разделаться с ним как можно скорее.

Мальчик, зажмурившись, стоял к отцу спиной, а тот, коротко взмахивая руками, опускал на нее поочередно то свой веник, то сына. Мальчик стоял не шевелясь, но потом пискнул что-то, сорвался вниз, придерживая шапку, толкнул дверь и исчез за ней. Отец отложил маленький веник в сторону, запрокинул руку и зашлепал себя по круглым покатым плечам.

– Хорошо-о, – выдохнул Серега и заработал веником еще яростней.

Под конец он даже по лицу себя хлестанул – и, фыркая, сдувая пот с носа, затопал по ступеням к двери. Я допарился как следует, подхватил деревянную сидушку и двинулся следом.

– Надо пихтовый притаранить, – говорил я, кутаясь в простыню и на ощупь вытягивая из сумки квас.

– Что?

Серега сидел, закинув ногу за ногу, и вытягивал из уголка своей простыни одну торчащую нитку за другой.

– Веник, говорю, – пояснил я. – Пихтовый. Простыню распустишь.

Я шикнул пробкой и с наслаждением сделал несколько больших глотков. Сладко-кислый запах ударил в нос.

– Давно их не видел, – пробормотал Серега, вытягивая очередную нитку.

– К Никитинским привозят, – хрипло отозвался сидящий напротив нас – по диагонали – мужик.

Мужик был лыс, широк, сидел с закрытыми глазами и весь был покрыт розовыми пятнами, точно разрисованный – у нас с Серегой после парилки так краснели только плечи и грудь.

Кроме нас и широкого мужика в этом ряду никого не было. Пустые деревянные сиденья тоскливо расходились в обе стороны, выпячивали высокие спинки, блестели призывно крючками.

На одном темнел оставленный кем-то веник.

В зале было шумно – на других рядах свободных мест было куда меньше, там разговаривали, спорили, смеялись. Из дальнего конца, за нашими с Серегой спинами, доносился гулкий звон стаканов, нестройная, спотыкающаяся песня – она взмывала к высокому потолку, билась о колонны, кружила вокруг белых ламп, кувыркалась над рядами сидений и отдавалась негромким эхом.

В помывочной шумела вода, оттуда тянуло теплым влажным воздухом.

В зале пахло вениками, сыростью и пеной для бритья.

– К Ни-ки-тинским, – повторил задумчиво Серега, оставляя в покое простыню и скручивая пробку со своей бутылки.

Мужик медленно кивнул. Потом медленно открыл глаза – точно это было непросто – медленно встал, медленно повесил полотенце, которым оборачивался, на крючок и медленно пошел в сторону помывочной, переваливаясь с одного бока на другой.

Поравнявшись с высоким, почти под самым потолком прорубленным, окном, он остановился, присмотрелся и повел могучими плечами.

– Темне-еет, – хрипло протянул он. – Когда-то Ерохины придут...

И продолжил путь.

Мы с Серегой остались на весь ряд одни – и какое-то время молча пили квас. Серега если не пил, то хмурился, подпирал небритый подбородок кулаком и равнодушно смотрел на окно.

– Темне-еет, – повторил он задумчиво.

Он сегодня был угрюмее обыкновенного, почти ничего не говорил – а если говорил, то как-то ни о чем. Скажет слово, другое – и сидит молча. Мне даже передалось его настроение – и я почувствовал, что и сам понемногу становлюсь угрюмым. И даже радость от бани, которую я ждал всю неделю, как-то стала остывать.

Я посмотрел на узкое, нависающее над сиденьями окно: за ним было совсем темно, и на фоне угрюмого вечернего неба видно было только край бледно подсвеченной – окном же – липовой кроны. Коряжистые, путающиеся между собой, почти совсем голые ветви дрожали от ветра и тянулись к стеклу.

Я охнул.

– Серег, – ткнул я его локтем. – Какую я штуку вспомнил! Все хотел тебе рассказать.

Серега повернулся, посмотрел вопросительно и потер плечо.

И я рассказал Сереге то, о чем слышал недавно и что меня, признаться, очень впечатлило. Я рассказал ему о том, что наше внимание, наше восприятие пространства при попадании в, скажем, помещение – да хоть бы вот в этот раздевальный зал, как бы растягивается, цепляясь за, так сказать, маячки – понятно, воображаемые. И точно рисует контурную карту – с нами в центре. Получается, что мы, например, сидим – да хоть бы в этом вот раздевальном зале, – смотрим в стену, или на окно, или на нитки, торчащие из простыни, ни о чем специально не думаем, но внимание наше захватывает и как бы обнимает не только зал целиком, с колоннами, рядами кресел и звенящими стаканами, но и улицу за окном, и тротуар с парковкой, от которой мы шли, и дорогу с фонарями, и дома на той стороне, и перекресток, на который мы с Серегой сегодня с разных сторон заехали и с которого в разные стороны после бани разъедемся, и кабак на углу – в котором Серега полгода назад кулаками махал. И мы вот как бы ни о чем этом не думаем, а внимание все же крепко за эти маячки держится и... как будто в гамаке нас качает – растянув сетку. Можно ничего, кроме бутылки с квасом, перед глазами не иметь, а все же и дорогу, и перекресток, и кабак – и далее, переулки, магазины, площадь, новостройки – все это как бы ощущать. Как бы физически почти ощущать – как бы в фоновом режиме.

Но это было еще не все.

После этого я рассказал, что, нащупав «маячки» – и нащупав «сетку», в которой мы, как в гамаке, лежим – можно, приложив совсем

незначительное усилие, контурную карту перерисовать – как будто из одного гамака в другой перелезть. Можно, например, представить, что за окном не дорога и октябрь, а, например, зимний лес – густой такой сосняк, с сугробами. Или что наоборот – магистраль в двенадцать полос, машины мчатся, а за магистралью, например, ангары, и в каждом по самолету. А мы сидим в простынях, и нам скоро в парилку бежать. И суть как раз в том, что внимание на такие кульбиты отзывается с готовностью и выстраивает по периметру какие угодно конструкции. И уже реально ощущаешь себя посреди ангаров с самолетами – только вот липа не в тему, конечно, – хотя смотреть продолжаешь на нитки из простыни. И ощущения такие, словно все вот это придуманное совершенно реально – так же реально, как... ну, скажем, как вот этот квас.

Я выпил для убедительности квасу – чтобы было понятно, насколько он реальный, – и посмотрел на Серегу, ожидая реакции.

Серега наклонил голову, подумал и хмыкнул, скривив губу.

– Да, забавно.

Он поболтал перед лицом бутылкой, разглядывая сквозь темный пластик, сколько еще кваса в ней осталось, выпил и закрутил крышку.

– А у меня коробка в четверг полетела. Подшипник, говорят, сточился – и все там стружкой забил, – он вздохнул тоскливо. – Меньше двадцатки не выйдет.

И замолчал.

Мне стало досадно. Я отвернулся, уселся поудобнее и тоже замолчал. Потом посмотрел на окно – на темно-фиолетовое, цвета чернил, небо, на тонкие дрожащие ветви в редкой листве – и представил себе бескрайнюю, голую степь, разбегающуюся во все стороны.

И тут же как будто почувствовал ее – на многие километры вокруг, до самого горизонта.

Холодный ветер скользит по ровной, как лист бумаги, степи, гладит невысокую траву, трава шуршит, расходится волнами. Пахнет сухо и терпко. Над степью выгибается бездонное темное небо, и только далеко на западе, у самого горизонта еще зеленеет едва заметно полоса света. Если поднять глаза и присмотреться, с усилием, то можно различить редкие похожие на песчинки звезды. Тихо в степи, тоскливо – и только стоит в самом центре двухэтажный каменный дом – баня.

Я представил себе нашу баню – массивную, крепкую, выстроенную еще до революции, со шпильями, треугольными скатами и подобием тяжелой приземистой башни, венчающей угол, – представил ее стоящей посреди голой степи – и мне это показалось забавным.

Стоит баня в степи, мерцает у входа табличка с годом постройки, «памятник культуры», ее обдувает сухой степной ветер. Светятся узкие, глубоко запрятанные окна – на шуршащую от ветра траву падают пятна света. Одинокая, пророгшая липа жметя к стене, покачивает ветвями, заглядывает в просторный и шумный раздевальный зал, расчерченный рядами кресел.

А в первом от окна ряду сидим мы с Серегой: в простынях, с розовыми пятнами на плечах, с пальцами в зайчиках. Серега подпирает кулаком подбородок, я потягиваю квас.

А когда мы, наконец, выбрались из простыней и прошли через помывочную, на ходу натягивая шапки и постукивая по животам мокрыми остывшими вениками, оказалось, что пока я мечтал о степи, а Сере-

га считал ворон, пришли Ерохины. И не просто пришли, но скоренько разделись, побросали веники по тазам – и уже взялись за парную.

Я даже удивился – как я мог их упустить? Ерохиных обычно слышно задолго до того, как они попадают в раздевальный зал, – еще от гардероба, от касс доносятся обычно их голоса и хохот.

Сейчас они, покрикивая друг на друга и на окружающих, гогоча и гремя тазами, сновали в распахнутой настееж парной, мели ее растрепанными вениками, выволакивали громоздкие деревянные решетки в мокрых следах, ставили к стене.

Серегу заворчал недовольно.

– Засиделись.

Вместе с Ерохиными наводили порядок еще несколько человек энтузиастов – и среди них был наш мужик, широкий, в розовых пятнах.

– Ща будет! – покрикивали Ерохины – оба широкоплечие, загорелые, с длинными крепкими руками, квадратными подбородками и плоскими носами. – Хоть попаритесь нормально!

Желающие попариться разбрелись по помывочной, снимали шапки, возвращали веники в тазы. Кто-то уходил в раздевальный, кто-то предлагал Ерохиным помощь, кто-то лез под душ, кто-то – как мы с Серегу – садился на тяжелые мраморные скамьи и ждал.

В помывочной шумела со всех сторон вода, пахло шампунями и мылом, воздух был влажный и теплый, под высокими потолками клубился туман – и в нем отдавались неясным, каким-то изгибающимся, эхом десятки голосов, из которых громче всех звучали ерохинские.

– В сторону! – кричали они, подхватывая решетку. – Зашибет!

– Орут как резаные, – пробормотал Серегу.

Я провел прохладным уже веником по груди, зачерпнул из таза воды – к ладони прилип серо-зеленый дубовый листок – и умылся. Вспомнил про степь, стал смотреть по сторонам – и снова почувствовал, как разворачивается во все стороны полотно шуршащей травы, как вздыхает душистый ветерок. Окна в помывочной были закрыты толстым ребристым стеклом, сквозь которое ничего нельзя было разглядеть – ни с той стороны, ни с этой – в изгибах мягко светились блики от ламп, и это было очень кстати, потому что иначе в окна смотрели бы из-за дороги пятиэтажные дома.

А в степи пятиэтажных домов нет.

Я снова зачерпнул из таза воды, снова посмотрел по сторонам и увидел у одной из скамей мальчика – «Я люблю папу» – с отцом.

Шапка лежала на бортике вместе с войлочной рукавицей и скрученной деревянной сидушкой. Сын сидел на скамье, отец стоял рядом – и оба они были в пене, на круглых головах пузырился густо шампунь.

Мальчик встал, отец сел на его место, поставил сына перед собой и стал тереть ему мочалкой спину, придерживая одной рукой за плечо, а сын топтался на месте и робко, даже испуганно смотрел на хохочущих Ерохиных, которые уже закончили орудовать вениками и теперь сушили парную: то распахивая, то прикрывая тяжелую дверь. От двери расходились тугие волны горячего воздуха – в печь уже начали поддавать.

Отец опять что-то рассказывал, увлекался и жестикулировал, взмахивая мочалкой, трепал мыльную макушку. Я смотрел на них, на белую спину мальчика, на то, с каким испугом он взглядывает на Ерохиных и как жметя к отцу, и мне подумалось: «Каким он вырастет?»

Ерохины перестали сушить парную и скрылись внутри, громыхнув дверью. Зазвенела заслонка печи, вокруг парной стал собираться народ.

«Таким, как Ерохины, не вырастет, – думал я. – И даже таким, как Серега, вряд ли».

– Пойдем, что ли...

Мы снялись со скамьи, Серега с силой взмахнул веником – с него на стену полетели брызги – двинулись к парной.

«Даже таким, как я, наверное, не вырастет», – продолжал думать я, пробираясь к двери и занимая место в нестройной, распадающейся очереди.

И однако возвышалась над мыслями уверенность в том, что все с этим мальчиком будет хорошо – и что не в том вообще-то счастье, чтобы быть таким, как Ерохины или мы с Серегой; казалось, что вот он, быть может, вырастет по-настоящему хорошим человеком – и уж точно жизнь его будет счастливой и светлой и какую-то огромную роль сыграет в этом счастье не только трогательная отцовская – и сыновья – любовь, но даже смешная банная шапка с петелькой на макушке.

В очереди у парной между тем нарастало недовольство, норовили дернуть дверь.

– Сейчас опять... – жаловался кто-то кому-то. – Не зайти будет.

Дверь приоткрылась, из-за нее высунулось красное квадратное лицо.

– Хорош ломиться, – сипло приказал Ерохин. – Нагреваем.

За ним виден был второй – размахивающий у печи черпаком.

Дверь закрылась.

Серега стоял со скупающим видом и выщипывал из веника тонкие голые веточки.

– Мой возьми, – предложил я. – Что ты с этой соломой...

Серега отмахнулся.

– Да нормально.

– Открывайте, сколько можно! – послышалось из-за спин. – Дергай дверь!

Сзади навалились, толпа стала тесниться. Мужики возмущались, стучали в дверь кулаками. Наконец, она скрипнула, отворилась – и у стоящих в первом ряду ресницы закрутились колечками: толпу обдало волной острого, какого-то, кажется, стеклянного жара. Мне вспомнилась школьная экскурсия на хрустальный завод – оранжевое, истекающее огненными каплями стекло, надуваемое на манер воздушного шара.

В ту же секунду толпа хлынула в парную – и мы с Серегой хлынули. В первое мгновение от резкой смены температуры у меня – как, наверное, и у всех – перехватило дыхание, я надвинул шапку на глаза, засопел, и мы с Серегой протиснулись к стене. Оправившись от первого замешательства, толпа взялась штурмовать полки – и первые смельчаки, прижав веники к груди, заспешили по ступеням. На самом верху – под лампой, где в прошлый раз сидели мы с Серегой, – восседали, как древнегреческие олимпийцы, Ерохины. Вокруг них изгибался и шел спиралями раскаленный воздух.

Мужики, опуская шапки, как забрала шлемов, карабкались, сжимались, прятали лица в веники, искали себе места на полке, а когда находили и садились, то замирали, глядя на остальных – и только гла-

зами сверкали. Два или три человека – включая вытянутого, точно жердь, старика со скребком – взошли на самый верх, сели вровень с Ерохиными.

Кто-то поднимался на несколько ступеней и останавливался, кто-то вообще не поднимался и стоял внизу, у перильца с черпаком. Серега рванул наверх, выставив перед собой локоть и точно отталкивая им жар, скользнул на ближайшую полку – нижнюю – кинул рядом веник, уперся в колени локтями и погрузил лицо в ладони. Но через пару минут сполз с полки и спустился на ступени – где стоял, упираясь макушкой в туго натянутый жар, я.

– Ничего, – прошипел он, раздувая ноздри. – Нормально.

Парная затихла и наполнилась сопением – все замерли, не шевелясь, и только пытались по мере возможности дышать.

Потом заскрипел по плечам и груди старик – звук был такой, словно по дереву проходились наждаком. Послышались первые робкие хлопки – жар заколыхался, заворочался в парной, расплескиваясь до самой двери. Мы с Серегой поднялись повыше – жар так яростно плеснул по плечам, что на мгновение я почувствовал на них неестественный, неприятный холодок. Я поднял дышащий огнем веник на уровень груди и хлопнул – раз, два.

В парной поднялся шум, мужики заработали вениками. Ерохинские мелькали так стремительно, словно у их обладателей было по четыре руки – и только старик сидел прямо и, как ни в чем не бывало, скреб себе грудь.

Стараясь не раскидывать руки, втянув головы в плечи, мы с Серегой кое-как попарились, ударили друг друга по спине, соскочили вниз и вместе со второй партией ретировавшихся вывалились из парной – алые, задыхающиеся и дымящиеся.

От плеч, спины и рук валит пар.

– Вот валит-то, – усмехался Серега, рассматривая плечи и подтягивая к красной груди простыню.

Я сидел, откинувшись к спинке, и смотрел перед собой, пар белесыми струйками плавал перед глазами, изгибался в такт дыханию.

– У тебя квас есть еще?

Я нащупал бутылку, протянул, не поворачивая головы.

Послышалось жадное бульканье.

– Ну, Ерохины! – звучало на других рядах. – Нельзя так! Это же фанатизм!

Оратора вяло поддерживали.

Я принял от Сереги бутылку, сделал несколько глотков, и мне показалось, что в животе у меня зашипело – с тем же шипением, с каким падает в печь вода из черпака.

Серега что-то пробормотал, но что именно – я не расслышал. А переспрашивать было лень. Я заблуждал медленным, невнимательным взглядом по креслам, по стене и наткнулся на окно.

Дрожали по-прежнему бледные липовые ветви, трясли редкой листвой.

Я вспомнил про степь, взялся представлять, нащупывать и ощущать – но мысли отказывались выстраиваться в нужном порядке, внимание рассеивалось, и степь то показывалась, то снова пропадала, баня проваливалась в черную космическую пустоту, плыла сквозь нее, рядом с ней плыла, боясь оставаться в одиночестве, липа.

Я бросил бесплодные попытки сконцентрироваться и оттащил взгляд от окна.

Мимо нас прошагал, переваливаясь, широкоплечий мужик – окутанный клубами пара – с грохотом приземлился на свое место, закрыл глаза и замер – только необъятная грудь продолжала вздыматься, толкая столб пара, как поршень.

Так мы и сидели молча, откисая – какое-то время. Я последовал примеру мужика и закрыл глаза – и сквозь густую темноту, по которой скользила едва заметная темно-красная рябь, слушал свое дыхание, сопение Сереги, шум воды из помывочной и споры на других рядах. Загремели издалека голоса Ерохиных, зашпешили, увеличиваясь в размерах, заполнили собой весь зал.

– Он на прошлой неделе был! – отвечали кому-то Ерохины. – На две подряд жена не пускает!

И – хохот.

Я сидел, прислушивался и ощущал, что понемногу остываю. Нашарил, не открывая глаз, бутылку отпил – и никакого шипения не показалось. Только взялся ставить на место – почувствовал, как ее тянет в свою сторону Серега.

«Значит, сидит с открытыми глазами, – догадался я. – Может, и мне пора?»

Но решил, что пока еще не пора.

А спустя какое-то время – когда я уже чувствовал себя совсем остывшим, когда невесомое прежде, похожее на облако, тело налилось тяжестью, но глаза открывать по-прежнему не хотелось – Серега завожился рядом, зашуршал простыней, кресло скрипнуло, и в темноту колоколом ударил Серегин бас:

– Покурим, что ли?

В моем случае это означало стоять рядом с курящим Серегой.

– Спишь?

Я с усилием открыл глаза, мягкая темнота разодралась надвое, словно ткань, и я увидел залитый светом ряд кресел, красного, темно-красного, свекольного какого-то мужика с широкими плечами, а перед собой – Серегу, закутанного в простыню на манер греческого философа.

Серега подбрасывал в ладони зажигалку и по-прежнему дымился.

– Не спи.

Я моргнул, снова моргнул – уперся ладонями в шершавые деревянные ручки и поднялся.

– Я сам чуть не залип, – сообщил Серега, подобрал поудобнее простыню и пошел к двери, чиркая на ходу зажигалкой.

Курили в изгибе небольшого, буквой Г, коридорчика между раздевальным залом и холлом. У стен стояли друг напротив друга деревянные креслица с откидывающимися сидушками, на подоконнике блестела в свете лампы банка, приспособленная под пепельницу.

Узкое окно было закрашено почти до самого верха, только форточка и небольшой сектор рядом с ней оставались прозрачными – в них смотрело темное небо.

Форточка была открыта, и по коридору гулял зябкий октябрьский ветерок – неспособный вытянуть или хотя бы приглушить впитавшийся в стены запах табака.

Сергея стал у окна, закурил. Дотянулся до форточки и раскрыл ее пошире. Я сел напротив него, в креслице, вытянул ноги и зевнул.

– Сам, говорю, чуть не залип, – ответил на зевок Сергей и выпустил струю дыма, целясь в лампочку.

Ветер подхватил дым и бросил в стену.

Сергея стоял, глядя в окошко, покачивался с пяток на носки. Потом шелкнул пальцами и повернулся ко мне.

– Штука эта. Что ты рассказал.

Я не понял.

– Ну, про внимание. Про ощущение, – раздраженно пояснил он.

Я кивнул.

Сергея затянулся поглубже, помолчал, покачал головой.

– Круто, – выдохнул наконец он. – Прямо как будто... Да.

Он посмотрел на меня.

– Круто, да.

Он опять затянулся, помолчал.

– Ты как рассказал, я это... Ну, в окно глянул и представил, как будто бы, – он взмахнул рукой, с сигареты на пол поплыла, кружась, искорка. – Как будто мы сейчас – ну как в горах.

Он хмыкнул, стряхнул пепел в банку, посмотрел на руки – все еще в пятнах.

– Ну, как бы вот баня наша – а стоит на горе, – он снова хмыкнул. – На уступе.

Он посмотрел в окно и рассмеялся.

– Прикинь, да? Наша баня – со всеми... башенками, лепниной... И стоит на горном уступе, над ущельем.

Он чиркнул зажигалкой.

– Да... И прямо – почувствовал, да. Горы вокруг, высота... Прямо горы. А из окон пар валит – Ерохины парятся!

И он рассмеялся.

– А липа? – спросил я.

– Какая липа?

– Которую в окно видно.

– А, – он махнул рукой, затушил сигарету и тут же прикурил вторую. – Да она как раз в тему.

Он посмотрел на меня, выставил вперед ладонь.

– Горный уступ. Баня. И у бани – липа растет. Одинокая. Горная, – он пожал плечами. – Вполне себе картина.

Стукнули двери раздевального зала, и мимо нас прошли через коридорчик отец с сыном – те самые. Теперь оба они были в джинсах, в джемперах на молнии. У отца на плече висела спортивная сумка, из нее выглядывали черенки веников. У мальчика за спиной болтался рюкзачок.

Щеки у обоих были красные, волосы крупными кудрями топорщились в разные стороны, глаза блестели. Поравнявшись с нами, отец коротко посмотрел на меня, на Сергея и кивнул – прощаясь.

– С легким паром, – ответил Сергей, но оба уже скрылись за дверями, в холле.

Я представил, как они забирают в гардеробе куртки, заматываются, стоя перед зеркалом, в шарфы, как отец натягивает на макушку сына шапку с помпоном – быть может, и сам надевает такую же, только размером побольше – толкают скрипучую дверь и уходят вдвоем сквозь бледную, шуршащую травой степь.

– Слушай, – позвал меня Серега, прикрывая форточку. – А погнали потом ко мне. Танька у матери – пива попьем, поужинать чего-нибудь захватим по пути.

Я посмотрел на него виновато.

– Извини, Серег, сегодня никак. Домой надо.

Он пожал плечами.

– Базара нет, – он затушил сигарету, затолкал окурочек в банку. – Ну, подвези хотя бы, коробочка-то...

Он поднял руки и точно сломал невидимую палку.

– Да, конечно.

И потом – после бани – Серега всю дорогу сидел угрюмый, постукивал пальцами по подлокотнику, хмурился и крутил ручку магнитолы, делая музыку то громче, то тише. Через сверкающий вывесками, сияющий фонарями и фарами, витринами и окнами город, мимо торговых центров и новостроек, арок и площадей мы проехали, перекинувшись всего парой слов.

СНЕГ ИДЕТ

И его окутало, закружило теплом, светом, праздничным шумом – когда гости собираются, рассаживаются, помогают заканчивать сервировку, перебрасываются короткими веселыми репликами, все вразнобой, отвлекаясь и прыгая с темы на тему, – а кто-то еще шуршит куртками в прихожей, обивает у порога налипший на ботинки снег, а кто-то еще в пути – и звонит с извинениями, просит не ждать.

– Заходите, заходите, что вы возитесь!

Он помог жене снять холодное, в блестящих каплях, пальто и пристроил его на вешалке рядом со своим. Жена стянула сапожки, оставила в углу, подхватила подарочные пакеты и упорхнула в комнату, а он сперва возился со шнурками, а потом нависал над зеркалом, приглаживая непослушный чуб и разглядывая гладко выбритый подбородок. Наконец он сдался, взъерошил волосы посильнее, чтобы они торчали во все стороны и чубу не было одиноко, потянул воротник рубашки за уголки, расправил плечи и шагнул в небольшую, чрезвычайно уютную гостиную, почти целиком занятую богато накрытым столом. Вокруг стола ходили и сидели родственники – и как только он вошел, все стали смотреть на него, здороваться, привставать и хлопать по плечам, а он жал горячие руки, кивал, глупо улыбаясь, отвечал что-то дежурное, чувствовал себя счастливым и искал глазами жену – а она уже хлопотала рядом с сервантом и помогала матери – своей матери, а его теще – с фужерами и графинами.

– После – в бильярд? – мотал головой двоюродный брат – двоюродный брат жены – студент, умница, будущий архитектор и всегдашний, чуть ли не с младенчества, пианист.

И он обещал, что да, в бильярд, обещал машинально, не вдумываясь, не успевая еще обрадоваться планам.

Что-то спрашивала теща; суетилась, передавая из кухни подносы, бабушка, дядя – дядя жены – со скрипом ввинчивал штопор в тугую пробку, дети ютились на узком диванчике и ощупывали хрустящие разноцветные свертки, которыми был уставлен комод, а дедушка – дедушка жены – седой, высокий, с неизменно смеющимися глазами и как-то по-старинному ровной спиной, сидел во главе стола, прислушивался к разговорам, давал комментарии, кивал удовлетворенно – и, увидев его, протянул для рукопожатия широкоую, сухую ладонь.

– Нет, мама, – говорила жена, раскладывая свертки под елкой – елка занимала целый угол, раскидывала во все стороны ветви и макушкой упиралась в потолок, моргала гирляндами и бросала на сервант пестрые блики, – мы на машине.

Теща обернулась к нему, посмотрела с укоризной – и весть о том, что они приехали на машине, что он за рулем и потому, понятно, пить будет только сок – или газировку, или минеральную воду, – весть эта в один миг облетела гостиную. Повисла пауза – а потом на него накинулись, стали шутливо упрекать, уговаривать и театрально сокрушаться, и больше всех сокрушался дедушка – качал седой головой, всплескивал руками и вздыхал, хотя глаза его при этом, конечно, не переставали смеяться.

И он сперва отшучивался, кивал на погоду, а потом вдруг сам пожалел, что сел за руль, и подумал, что хорошо бы сейчас было – с моро-за, с улицы – поднять бокал играющего пузырьками шампанского, или темно-рубинового вина, или рюмку чего покрепче – дедушка крутил в руках пузатую бутылку коньяка, дядя водил пальцем по мелко исписанной этикетке, что-то объяснял – и вспомнились ему уютные январские строчки, из Берестова:

И так подходит для пиров
И встреч любой из вечеров.

И жена сперва укоряла тещу и остальных, старалась говорить строго, а потом, видно, и сама пожалела и посмотрела на него вопросительно, как будто даже обиженно.

– Доедь ты до дома, – посоветовал авторитетно дядя. – Машину оставь и обратно – на такси. Ехать всего ничего.

Ехать и правда было всего ничего – и при желании туда-обратно можно было обернуться за пятнадцать минут.

К тому же не все еще прибыли – и команды садиться еще не звучало.

Идею подхватили, жена подумала и согласилась, дедушка развел руками – хозяин, мол, барин, – он прикинул, посмотрел на часы и вернулся в прихожую, стал одеваться.

– Только ты забегй домой, оденься потеплее, – говорила жена, поправляя ему воротник, – пальто легкое совсем.

Он поцеловал ее в пахнущую духами щеку и вынырнул в подъезд, а через минуту уже выехал с парковки, опустив стекла – чтобы лучше видеть, не едет ли по двору, наперерез ему, кто-нибудь еще – и щурился от заматаемого в салон снега.

Мело, не переставая, уже несколько дней, с самого Нового года – и мело весело, празднично, то тише, то шибче, так, как обычно метет только в фильмах да еще в стеклянных шарах с пенопластовой крошкой, если их потрясти. Город таял в белой пелене, и сквозь эту пелену протискивались огни гирлянд, витрин и фонарей. Солнце показывалось по утрам – тогда снег озарялся сиянием, искрился и горел ослепительно, – а потом скрывалось в облака и только угадывалось за ними по пятну холодного серебряного света. За утром шли короткие, сонные – точно с полудня начинало уже вечереть – дни, и их уже сменяли долгие, густые вечера с хрустящим снегом и лучистыми звездами, моргающими сквозь метель.

Он выехал из двора, со скрипом поднял стекла, стянул и бросил на сиденье шапку и пополз от перекрестка к перекрестку, от светофора к светофору. По дороге гуляли буранчики, заворачивались спиралями – и автомобили не рисковали разгоняться, тормозили загодя, густо дымили выхлопом и гудели. Он катился вместе со всеми, смотрел по сторонам,

вытягивая шею, почти упираясь чубом в лобовое стекло, осторожно поддавал газ – машина порывкивала, – видел, как за прыгающими туда-сюда дворниками показываются и пропадают в снегопаде горящие окна – их зажигали рано, несмотря на то что на улице еще было светло, – гирлянды и макушки елок, – и чувствовал, как его переполняет горячее, сбивающее дыхание веселье, и ему нравилось ехать в не успевшей остыть машине, нравилась попавшаяся случайно – но как будто не случайно – песня, нравились огни витрин и окон, нравился январь, и снегопад, и уютный, тускнеющий день, готовый упасть в дрожащие сумерки, и то, что его ждут и, по всей видимости, любят.

Он представил, как здорово будет идти после, почти уже ночью, в бильярд, как будет клубиться снег на фоне черного неба, как будут серебриться в лунном свете – и свете фонарей – сугробы, как брат жены будет рассказывать про учебу и про Москву, и как будет приятно ввалиться в шумную просторную бильярдную, пахнущую мелом и кухней, полную глухого перестука шаров и музыки.

Потом он стал вспоминать, какой была зима в прошлом году, а какая в позапрошлом – прошлая была слякотной и серой, «сиротской», а позапрошлая в памяти почти не осталась – потерялась в ремонте и подготовке к свадьбе. И он отметил, что давно не было такой снежной, такой настоящей зимы – только разве что в детстве, но в детских воспоминаниях не сохранился снегопад – как будто снег разом появлялся и оставался лежать до весны, а потом также внезапно исчезал, – и сохранились только затянутые ледяным узором окна, которые приятно скрести ногтем, и горячая батарея под подоконником.

Он срезал, прогромыхал по кочкам вдоль сквера – в сквере уже бледно светились сквозь ветви круглые фонари, – подмигнул угадывающейся за деревьями бильярдной, попетлял, выехал на перекресток, свернул и оказался в своем дворе. На удивление быстро обнаружил свободное место, точно его и ждавшее, припарковался – задом, пришлось приоткрывать дверь и высовываться, смотреть через плечо на низенькую оградку перед тротуаром, – натянул шапку и заспешил к подъезду, ладонью загребая с оградки снег.

День истончался – и снегопад был теперь не белым, а синевато-серым, пепельным, и ярче горели в нем прямоугольники окон, рассыпанные над головой, прямо, казалось, по низкому небу. С детской площадки доносился смех, повизгивания, скрипела тугая неуклюжая карусель, и в воздухе стоял особый зимний гул – почти неразличимый, низкий, тоже почему-то кажущийся уютным.

В один миг оказался он у лифта и, пока ехал, смотрел на себя в зеркало и видел, как горят у него глаза, как тает на плечах и на шапке снег, как играет на щеках – совсем как в детстве – румянец. Как вообще-то широки его плечи и как здорово сидит на нем пальто – и даже жаль будет менять его на дутый, бесформенный пуховик. На своем этаже он вышел – и лифт тут же пополз по шахте вверх, за следующим пассажиром, – пересек широкоую, пропахшую табаком, площадку, свернул и зазвенел ключами, открывая дверь.

Оказавшись в квартире, он скинул пальто, не разуваясь, раскачиваясь на пятках, шагнул к вешалке и снял с нее пуховик. И уже погрузил одну руку в плотный тяжелый рукав – но остановился и замер, а потом вернул пуховик на место, сунул влажную шапку в оттопыренный карман и медленно опустился на пуфик под вешалкой.

Горячее веселье, наполнявшее его, стало еще горячее, заметалось в груди, ударилось в живот. Он выпрямил спину, положил ладони на колени и прислушался.

Слышно было, как гудит, проползая мимо этажа, лифт – с пассажиром. Из кухни урчал холодильник, откуда-то – то ли из-под пола, то ли из-за потолка долетали глухие голоса соседей. В прихожей витал не успевший рассеяться аромат подаренных жене духов, пахло домом, кошачьим кормом, в открытую дверь комнаты видно было рассыпанные в беспорядке вещи – собирались наспех, боялись опоздать.

Он посидел немного, прислушиваясь к ощущениям, достал и повертел в руках телефон – но потом медленно, стараясь не шуметь, разулся, шагнул в кухню и зажег свет. Налил воды, выпил, открыл переставший урчать холодильник и оглядел полки, заставленные контейнерами. Потянулся за чем-то, но передумал и решил не портить аппетит – и только тогда подошел к окну и вызвал такси, а закончив разговор, остался стоять, отодвинув занавеску и глядя за окно.

За окном по-прежнему мело, пушистые хлопья катались по подоконнику с той стороны, липли на шершавые края откосов. Метель была серо-синяя, густая – и заметаемый ею двор был серо-синий, и автомобили – его стоял ровненько-ровненько, перпендикулярно заборчику, как по линейке, – и горки, по которым сновали дети, и плотные кроны невысоких, высаженных совсем недавно, рябин – все было серо-синее. Двор выгибался кольцом, сквозь снег моргали окна, переливались гирляндами. Там, где кольцо разрывалось и между двумя домами вставала широкая щель – с клумбами и выгибающимся тротуаром, – угадывалось белое полотно реки, но противоположный берег, обычно хорошо просматриваемый, высокий, усыпанный прямоугольниками крыш, исчезал в метели, и за рекой словно сразу начиналось небо – взмывало ввысь, разворачивалось шатром – и только светились неярко над рекой два робких, похожих на звезды, огонька.

Он смотрел на реку, на метель, на прижимающееся к домам небо, искал за огоньками горизонт и думал о том, что вот сейчас, вроде бы и недалеко, а кажется – на другом конце земли от него, трещит под весом подносов стол, над столом клубятся ошеломительные, дурманящие запахи, блестят в свете люстры бокалы, блюда и вазочки, а вокруг стола ходят и разговаривают, смотрят на пышную, в огнях и игрушках, елку, рассаживаются по местам – и одно из мест предназначено ему и ждет его. И о нем, быть может, говорят, и жена поглядывает на часы, прикидывая, как скоро он вернется. Думал о такси, о том, что сейчас спустится и будет трястись в жарком, запотевшем салоне, а потом его ждет долгий, наполненный разговорами и смехом, воспоминаниями и подарками вечер.

И так ему стало хорошо от этих мыслей, так трепетно-радостно, так тесно и приятно дышать, что ему подумалось: уйти и вернуться – лучше, чем вообще не уходить; что как же это прекрасно, что сперва они поехали на машине и что ему пришлось возвращаться домой и стоять сейчас в теплой, светлой кухне – тесной и родной – у окна, за которым метет метель и тает в белизне противоположный берег.

В кухню вошла – из комнаты, через прихожую – шурясь от яркого света, кошка, потерлась о ногу, мяукнула. Он наклонился, погладил тонкую, в блестящей шерсти, спину и тронул кончиком пальца прохладный нос. Потом выпрямился, посмотрел на часы, вернул занавеску на место – но идти вниз и ждать такси на крыльце не хотелось.

Хотелось растянуть оказавшееся в его руках мгновение – и он даже рад был, что такси не приехало сразу, как это обычно бывает, а задерживается – вероятно, из-за снегопада. Он прошелся по кухне, выпил еще воды, подвигал стоящие на плите сковородки, чтобы они стояли как можно ровнее, шагнул к деревянной полочке с книгами, висящей на стене, проскользил взглядом по корешкам и стянул купленный не то в конце ноября, не то в начале декабря сборник рождественских стихов – мягкий, праздничный, в снежно-голубой обложке. Раскрыл наугад в середине, прислонился плечом к дверному косяку и стал читать, шепотом, почти беззвучно шевеля губами.

К белым звездочкам в буране,
Тянутся цветы герани
За оконный переплет...

Стихи вытягивались столбиком по центру страницы, их с обеих сторон сжимали широкие, сероватые поля. Сборник был куплен совершенно случайно, взгляд сам упал на него, почему-то выделив яркий корешок из числа многочисленных соседей.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья...

Он осекся и поймал на себе внимательный взгляд желто-зеленых глаз. Кошка сидела на полу, вскинув маленькую треугольную голову, и смотрела на него.

– Ну? – спросил он, опуская руку с книгой. – Тебе тоже почитать?

Кошка мякнула – точно поняла.

– Проще простого!

Он подтянул к себе стул, сел и прочистил горло. Кошка помяла линолеум передними лапками, замерла.

– Снег идет, снег идет! – воскликнул он. – Словно падают не хлопья! А в заплатах салопа сходит наземь небосвод!

Молчал холодильник, не слышно было ни беспокойного лифта, ни соседей. Даже часы над дверью, казалось, то ли вовсе перестали тикать, то тикали куда осторожнее обычного.

– Снег идет, густой-густой! В ногу с ним, стопами теми!..

Он разошелся, то вскрикивал и басил, то возвращался к шепоту, растягивал слова, гнул интонацию – и сам радовался от того, как хорошо у него получается читать и как приятно его, наверное, сейчас слушать.

Кошка сидела неподвижно, смотрела загадочно – не то восхищенно, не то ошарашенно – и только пушистые бока плавно, чуть заметно ходили туда-сюда.

В кармане задрожал беззвучно телефон – он нащупал и сбросил.

– Снег идет, снег идет... Снег идет и все в смятеньи... - выдыхал он. – Убеленный пешеход. Удивленные растенья, – он выдержал паузу, прислушался к плотной, теплой тишине. – Перекрестка поворот...

Он закрыл книгу, поднялся со стула и отвесил кошке поклон. Потом присел на корточки, почесал благодарного слушателя за ухом – благодарный слушатель заурчал, потерся лбом о запястье, извернулся и засеменил к миске с кормом – подпрыгнул к окну и посмотрел вниз.

Перед подъездом тарахтело, вытянув лучи фар и уткнувшись ими в стену, такси. Водитель, навалившись на стекло, обивал дворники от снега.

Телефон снова задрожал, он прижал его плечом к уху, защелкал выключателями, вынырнул из кухни и плюхнулся на пуфик.

– Ты куда пропал? Садимся уже!

За голосом жены слышны были разговоры, позвякивание посуды. Он различил писк детей, дядин бас и негромкую, похожую на перезвон капели, музыку – умница-брат играл на пианино в дальней комнате.

Кошка выглянула из кухни, посмотрела с интересом, потом зевнула и прогарцевала в комнату.

– Бегу, бегу, – бормотал он в трубку, влезая в пуховик, вываливаясь в подъезд и звеня ключами. – Такси...

Он подбежал к лифту, ударил по кнопке, услышал, как где-то далеко загудело, как по шахте зазвучали эхом голоса, и решил не ждать – толкнул дверь, ведущую на лестницу, и помчался вниз, перепрыгивая через ступени.

– Снег идет, снег идет, – выдыхал он радостно, хватаясь для равновесия за перила и чувствуя, как успокоившееся было веселье снова закипает в нем.

И на каждом этаже, пролетая мимо узких, дышащих холодом подъездных окошек, он видел краем глаза, что снег действительно идет, что это уже не метель, а плотный, ровный снегопад, тяжелый и пушистый – но видел мельком, не видел даже, а только отмечал, не задумываясь и не всматриваясь, потому что мыслями уже сидел за горячим, шумным столом, держал за стеклянную ножку бокал и думал над тем, какой тост будет говорить, когда настанет его очередь.

Тимофей ЮРГЕЛОВ

Работал помощником прозектора, надсмотрщиком в зоне, учителем в школе, мясником в Ирландии, охранником.
Живёт в Омске.

BAD ENGLISH

Он сидел в углу зала, большой и угрюмый, один за столиком, с глазами ждущей собаки. Чтобы его не прогнали, заказал пакетик картофеля фри и кофе. Доставал по одной подрумяненные палочки, макал в кетчуп, откусывал маленькими кусочками и делал микроскопический глоток. Долговязый негр, в форменной зеленой куртке и красном колпаке с мигающей лампочкой в помпоне (по случаю скорого Рождества колпаки надели на весь штафф¹), похожий плавными движениями на рачка-бокoplава, вытирал столы и приближался к нему, поглядывая высокомерно на непритязательного клиента. Негр в Европе – это маленькое карнавальное шествие по случаю счастливого поворота в судьбе, глянцевитое, сияющее зубами и белками. Такие же жизнерадостные помпоны мигали за стойкой, с салатами и пирожными, над бледными, утомленными лицами русских.

– У него что, всегда такие глаза? – спросила у второго раздатчика морщинистая девушка, глядя на одинокого посетителя.

– Если бы ты третий месяц сидела без работы и проедала последние деньги, какие бы у тебя были глаза? – ответил напарник.

– Нет, с такими глазами он вряд ли чего-то добьется. – Девушка была приверженкой Дейла Карнеги и выставляла свои неровные зубы всем клиентам подряд, кроме, разумеется, угрюмого соотечественника.

– Нет – с таким английским вряд ли добьется, – возразил пожилой русский. Он улыбался через раз, в зависимости от посетителя, – даже не всем ирландцам, а только тем, кто мог, по его мнению, пожаловаться супервайзерше.

Ее-то Игорь и ждал и как завзятый неудачник, уже привыкший получать отовсюду отказ, не очень желал ее появления. Он даже не совсем понимал, зачем он здесь, – знать знал: чтобы устроиться на работу, а вот понять этого не мог. Как он тут оказался за этим столиком у окна фастфуда, окрашенного в национальные цвета, среди чужого, похожего

¹ Штаат (*англ.*).

на инопланетян народа, в далекой туманной стране, на зеленом острове в океане.

Через боковую дверь рядом со стойкой вышел в синем фартуке и красном колпаке Валера, его приятель еще по России, который и договорился о встрече с начальницей.

– Я же не смогу улыбаться, как они, – сказал Игорь, глядя на русских на раздаче.

– Тебе зачем улыбаться? – будешь работать на кухне. Только сейчас этой жирной свинье поулыбайся и все.

– И дурацкий колпак я не надену.

– У тебя что, есть выбор?

– Я что, буду, как этот баклажан, собирать объедки за этими уродами? – он кивнул, не глядя, в сторону негра. – Вчера еще жрал саранчу и облизывал миски ООН, сегодня уже сверху вниз смотрит на белого, закававшего маленький пакетик картошки.

– Да нет, я же тебе объяснял, будешь на мойке посуду мыть... Вот и она... Улибка, улыбка!.. Хау ё сингс, Рейчел! Зис ис Игорь ай толд ю эбауш...¹

В стеклянные двери вошла высокая толстуха, с распущенными волосами, в длинном вязаном кардигане, с двумя или тремя маленькими сумками и одной большой, стилизованной под ягдташ, – с резиновым лицом: все ирландцы представлялись Игорю с резиновыми лицами из-за их живой, комичной мимики. И эта состроила уморительную мину лживой доброжелательности. Села напротив, спиной к окну, положила ключ от машины и телефон на стол. Улыбнуться у него так и не получилось...

– Хи из нот гуд эт инглиш, бат... вери-вери хард-воркинг...² Давай!.. – подтолкнул его под столом Валера.

– Май нэйм из Игорь, ай эм соти-севен йез олд, ай эм вери хард-воркинг, ига ту экспириэнс энд лён нью скилс...³ – выдавил он далеко не всю длинную тираду, которой научил его Валера.

– What your expeience?⁴ – супервайзерша забавно нахмурилась.

Игорь не понимал процентов восемьдесят из того, что говорят ирландцы, для него это было сплошное мяуканье. Он напрягся – выражение его стало беспомощно глупым.

– What, what?...⁵ – переспросил растерянно.

Рейчел со снисходительным сожалением улыбнулась и расспрашивала дальше Валерия. Тот строчил по-английски почти без запинки.

– Окау... I'll connect you⁶, – сказала в заключение Рейчел, взглянув на Игоря, и оторвала свой огромный зад от стула. Это «I'll connect you» он, казалось, слышал уже стотысячный раз и знал ему цену.

Дома, в темной холодной «рум ту рент» на втором этаже георгианской халупы он залез под синтетическое одеяло и, стараясь согреться, сжался в комок. За комнату не было заплачено за два месяца, торфа не было, еды не было никакой. Денег оставалось пятнадцать юро, и это на все про все: на разезды в поисках работы (хотя он старался

¹ Как дела, Рейчел? Это Игорь, про которого я говорил... (искаж. англ.)

² Он не силен в английском, зато очень работающий...

³ Меня зовут Игорь, мне тридцать семь лет, я очень усердно работаю, стремлюсь испытать на опыте и освоить новые навыки...

⁴ Какой у вас опыт?

⁵ Что, что?..

⁶ Хорошо... Я свяжусь с вами.

передвигаться пешком: билет на городской бус стоил евро), на звонки из таксофона домой, и, конечно, на хлеб – сегодня он уже потратился на картошку и кофе. Все накопленные деньги он отослал жене, словно чувствовал, что не скоро еще удастся заработать на новый перевод. Работа требовалась срочно, сейчас, иначе во время рождественских каникул он уж точно ничего не найдет, останется без цента в кармане и – без крыши над головой: домовладелец сказал рассчитаться до праздника, иначе он его выселит.

С прежнего места Игорь ушел три месяца назад из-за – спагетти. Тогда он работал с Петерисом из Латвии. Чистили и резали овощи для салатов, причем Игорь чистил вручную, а Петерис спускал в овощерезку. Жили в одном аккомодейшне¹ и почти не разговаривали. Со своим единоплеменником, работавшим на упаковке, Петерис во время перерывов тарабанил без остановки, а вот Игорю отвечал односложно и не глядя. Иногда по-английски, а если на русском, то с сильным акцентом, хотя Игорь слышал от него вполне сносный рушен. «Да и черт с ним, фашистом проклятым», – махнул он рукой на соседа.

Как-то вечером Игорь варил спагетти на ужин. Петерис за столом пил кофе с газетой и бутербродом. Перед этим они поспорили из-за мусора. «Почему я выношу отходы, а ты нет?» – кинул предьяву Петерис. «Как не выношу? А кто на прошлой неделе выносил!» – возмутился Игорь. «Только на прошлой и выносил», – возразил на чистейшем русском обиженный камрад по соцлагерю.

Спагетти были уже готовы, когда Игорь вспомнил, что у него нет сливочного масла, а без масла они слипнутся и в рот не полезут. Он откинул лапшу на дуршлаг и спросил примирительно руммейта .

– Педерис... (Он называл его так не только про себя, но уже и во всеуслышание.) Дай масла. – Тот и ухом не повел. – Педерис, ты глухой?

– Ай дон`т андестенд...² – пробормотал прибалт.

– Дай масла для макарон, не кони...

– Ай дон`т андестенд. Спик инглиш...³

Внезапную вспышку ярости Игорь погасить не успел:

– Ах ты, сучка паршивая! Русский забыл!.. – И надел дуршлаг с макаронами на голову камрада. Петерис стал похож на капитана «Летучего голландца» из «Пиратов Карибского моря». Через секунду дюралевый головной убор с грохотом отлетел в угол, а сам корсар, стряхивая белые щупальца, с воем убежал в ванную – зашумела вода, а затем щелкнула задвижка. Там он просидел до приезда полиции.

В суде Игорю назначили бесплатного адвоката, румяного старичка с портфелем, в старомодном пальто и кепке. Тот попробовал побеседовать с Игорем, но, видимо, мало что вынес из разговора. Правда, очень подробно расспросил о семье и все записал, также взял фотографии детей.

На заседании Петерис появился в повязке и все время болезненно морщился, трогая голову. Старичок извлек из портфеля бумагу с печатью и зачитал ее – Игорь только понял, что это какая-то медицинская справка, – после чего камрад морщиться перестал.

Дедуля долго верещал, обращаясь к судье под гипсовой арфой, показал снимки, которые взял у Игоря, и положил перед ней на стол.

¹ Комната в аренду.

² Я не понимаю.

³ Я не понимаю. Говори по-английски.

Невзрачная женщина, с огромным бюстом под белым жабо, брала их по одному и рассматривала, слушая крючоктвора. Наконец все встали, она собрала бумаги и величественно удалилась. Игоря приговорили к штрафу в двадцать евро. «Лучше бы посадили и кормили в тюрьме», – думал он, находясь еще не в таком бедственном положении. В общем, он был доволен, что ему разрешили остаться в Ирландии: пёрмит¹ на трудоустройство не закончился. И вот уже третий месяц проводил в бесплодном поиске работы.

Его окно выходило на задний двор небольшого ресторанчика. (Вся улица, на которой он жил, состояла из кафе и пабов. В воздухе витал неистребимый дух съестного, это вызывало дикие спазмы в мозгу и в желудке.) Каждое утро он мог наблюдать, как какие-то смуглые личности роются в мусорных баках. «Черт, и здесь всех опередили», – думал с брезгливой завистью Игорь. Повар, в белой двубортной куртке, выносил им что-то в пластиковом ящике, чтобы не раздирали мешки с мусором. Они тут же окружали его и расходились с полными пакетами.

Однажды ночью Игорь оделся и, стараясь не шуметь, вышел через заднюю дверь во двор. Замер, вглядываясь в очертания помойки на фоне белых стен, – но услышал только сосущее урчание в животе. Двинулся в сторону баков, он уже ощущал кислый запах гнили. Подошел к переполненному контейнеру, приподнял крышку – и тут из щели посыпались крысы, он едва успел отпрыгнуть. Три или четыре черные торпеды хлопнулись об асфальт и скачками помчались в разные стороны. «Нет – всё, пора занять денег», – решил он, возвращаясь домой с ознобом в позвоночнике.

На следующий день Игорь позвонил Валере.

– Братан, я бы с удовольствием, но у меня принцип: друзьям не занимать, – услышал ставший вкрадчивым голос в трубке. – Приезжай в Атенрай, я тебе продуктами дам...

– Ладно, проехали, – кинул Игорь и отключил телефон.

Если бы ему было на что доехать до Атенрая, он бы лучше шницель в мясной лавке купил. И что за принцип такой: друзьям не занимать? Чтобы друзей не потерять? (Шел он и злился среди рождественского сияния гирлянд и елок: ничего нет унижительнее, когда ты просишь, а тебе отказывают дать в долг.) «А если друг погибается с голодухи – если он скоро совсем загнется, где ты тогда друзей возьмешь? Продуктами дам!.. Можно, конечно, доехать автостопом – но это же будет как тот повар выносит мигрантам... Нет уж: жрите сами – с волосами!...»

Игорь остановился перед окном с надписью rooms to let², постоял у двери, позвонил. Ждать пришлось довольно долго. Он собирался еще раз нажать кнопку, как дверь, с почтовой щелью и молоточком в виде подковы, приоткрылась. В узком проеме появилось голубоватое, словно из теста, рыхлое лицо, с подслеповатыми глазками, отвислыми носом и ушами.

– Привет, – сказал Игорь. – Можно?..

Он переступил порог и пожал такую же бледную подушку с ватными сосисками. Затем прошел за грустным слоненком, в полосатом халате, в ливинг и сел в указанное кресло. С Вадиком Игорь раза два встречался, да и то мельком. Это был чейнджер, дававший русским в

¹ Разрешение.

² Комнаты в аренду

долг под проценты. Сходство с хоботным ему придавал пух на лысой голове.

Потирая колени, он изложил свою просьбу развалившемуся на софе хозяину, рассказал, что ищет работу.

– Ты знаешь, что с тех, кто ищет работу, я беру сто процентов? – прищурился слоненок – его маленькие глазки совершенно исчезли.

– Ну че делать... я согласен, – сказал Игорь.

– Хау сун вил ю пэй бэк?¹ – спросил, выпустив когти зрачков, процентщик.

– Чо-чо ты?.. По-русски лучше... – растерялся слегка Игорь.

– Нет, не дам. Вот найдешь работу, тогда приходи. – Вадик хлопнул по ляжкам и поднялся.

Утром Игорь встал пораньше, приготовил пакет из супермаркета (сколько он уже не был в больших магазинах?) и сел перед окном в ожидании, когда набегут «кавказцы»... Несколько дней назад пришла мысль возвратиться в Россию, в тот раз он ее тут же отогнал. И вот она вернулась...

Родина манила своей бесконечностью, вытягивая из сердца нить тоски. Она представлялась ему огромным ткацким станом, который вплетал эту нить в поля, убогие избушки, облезлые высотки. Горло перехватывала нестерпимая истома и скатывалась сверлящей болью в сердце. Сердце ныло так, что хотелось его тут же вырвать из груди и выбросить в окно. Удерживало только воспоминание о детях, оно же не давало ему закопать все документы и сдать в полицию, чтобы отправили как нелегала домой бесплатно. Дети смотрели из сердца, словно галчата из гнезда. А у него не было червячка, чтобы бросить в их голодные рты. И тогда они начинали перетягивать тоску и наматывать ее снова на его сердце – и побеждали. Он увидел первого попрошайку – и отбросил малодушные мысли.

Сделал несколько вдохов, чтоб успокоиться, затолкал пакет поглубже в карман и вышел во двор. Там уже топтались три широкие, как терриконы, тетки в хиджабах да два молодца в джинсах и кожаных куртках. Чтобы согреться, последние подпрыгивали и наносили удары ногами и руками по воздуху, при этом громко смеялись и что-то выкрикивали на своем наречии. Гортанные крики отдавались в колодце двора. Тетки чинно беседовали, поглядывая свысока на помойку. При появлении Игоря они взглянули в его сторону, чтобы больше не смотреть.

На весь Голуэй пахло кофе и свежей выпечкой, был час первого завтрака, когда служащие перед работой пьют кофе с горячими булочками в бесчисленных кафе. Он остановился, засунув руки в задние карманы, как будто вышел подышать воздухом. Юнцы стали меньше подпрыгивать и больше смеяться, косясь на чужака. Вдруг вспыхнула обычная неприязнь. «Тоже, наверно, наши», – подумал Игорь и достал найденный вчера окурочок. Отвернулся, чтобы никто не увидел, что именно он прикуривает. Обжег, как в детстве, над зажигалкой фильтр. В этот момент за спиной раздался громкий гогот, он обернулся: хачики смотрели на него.

Вышел дородный, в очках, в белой куртке седой повар с добродушным лицом. Остановился на высоком пороге. Попрошайки устремились к нему, причем молодые обогнали хиджабок и забежали вперед. Повар заметил Игоря и кивнул поверх их голов, как знакомому, затем

¹ Когда вернешь деньги?

сдержанно что-то сказал юнцам. Но те не послушались – повар, по-видимому, продолжал держать ящик на весу и не давал разобрать бумажные пакеты. Из-за терриконов теток Игорь не видел, что происходит. Раздражение выросло до дрожи в коленях, он не сдержался и крикнул:

– Эй, чурканы, вам что, не ясно: сначала бабы – потом вы! – Те обернулись, раскрыли рты. «Нет, не наши».

И тут один из них, тот, что был пониже, выхватил пакет из лотка – повар хотел убрать остальное за спину, но второй вцепился в борт ящика и потянул на себя. Ирландцу пришлось сойти с приступка.

– What are you doing!..¹ – воскликнул он и тут же побагровел, гримаса боли исказила лицо, он согнулся, выпустил ящик, – видимо, получил ногой в пах от первого негодяя.

Арабы выскочили с ящиком из-за широких теток, пробежали пару метров и перешли на шаг, весело горланя и оглядываясь. Игорь почувствовал яростное спокойствие, говорившее о готовности действовать...

Кулак пришелся точно в челюсть ближнего воришки – он только успел отпрянуть, но это его не спасло: падая, выронил пакет с покотившимися пончиками. Второй отбежал, поставил ящик на землю, встал в стойку, сделал несколько скачков в направлении Игоря, но увидел, что тот двинулся к нему, развернулся и дал стрекача. Игорь пнул под ребро поверженного бедуина, тот испуганно пополз на спине, глядя на него шальными глазами, не понимающими еще, что произошло.

– Стэнд ап², сука! – Араб перевернулся и побежал на четвереньках, подгоняемый пинками. Хиджабки тем временем быстро разобрали все пакеты и бросились врассыпную. Повар, схватившись за стену, отдувался в дверях. Игорь прогнал молодчика, поднял пустой ящик и поставил к его ногам на попа.

– Thank you... – пробормотал повар, утирая пот со лба, он уже начал оправляться после удара.

– Not at all³, – сказал Игорь и повернулся, чтобы уйти.

– Sir... Wait... Please!⁴ – окликнул его ирландец. Игоря впервые назвали – «сэр». Вы не представляете, как приятно, когда вас называют не «товарищ», или «мужчина», или даже «молодой человек» – а вдруг незнакомец обратится к вам: «Сэр»... Здесь это не звучит так насмешливо-издевательски, как «господин» в России. Игорь остановился и выжидательно посмотрел на повара.

– Fucking bastards...⁵ – проговорил извиняющимся тоном ирландец, он уже распрямился и лишь опирался о косяк. – It was very kind of you to knock him out...⁶ – И, заметив, что Игорь не понимает, он нанес несколько коротких прямых по воздуху: – Boxing, boxing...

– Ноу – джуст тичинг...⁷ – извлек из каких-то тайников памяти Игорь и удивился сам себе, что так удачно пошутил по-английски.

– О-о... – взглянул внимательно из-за очков повар. – Let me invite you to have a snack in this café. It's on the house...⁸ – Но заметил, что

¹ Что творишь!

² Вставай.

³ Не стоит благодарности.

⁴ Сэр... Постойте... Пожалуйста!

⁵ Факанные убудки...

⁶ Это было очень любезно с вашей стороны вырубить его...

⁷ Нет, всего лишь обучение.

⁸ Можно пригласить вас перекусить в этом кафе. Это за счет заведения..

Игорь опять не понимает, стал гостеприимно махать перед собой рукой: – Come in, come on in... Absolutely free...¹

До Игоря дошло, что от него требуется. Он поднялся по бархату ступенек, прошел по темному коридору, рука ирландца из-за спины указывала путь. Игорь миновал череду стеклянных дверей с вензелями и вышел в зал, со стойкой и столиками. В полутемном ресторане сидело несколько белых воротничков за завтраком. Пахло капучино, беконом, горячими пончиками и сконами. Над мореными столами горели трубчатые светильники.

– Liam, – приложил повар к груди руку и указал на освещенный столик рядом с мерцающим бутылками баром. – I'm chef...² – Игорю слышалось, что новый знакомый назвался: Джефф.

– My name is Igor, – сказал Игорь, усаживаясь на тяжелый стул. – Nice to meet you³. – вспомнил, как учил представляться Валерик.

– Igor?

– Yes, Igor.

– Where are you from?⁴

– I am from Russia⁵.

– Russia (Руша)?! О! – удивился Лиам, повернув набок голову. – Well... I recommend this fish...⁶ – Раскрыл перед Игорем меню.

– OK, Jeff⁷. – Игорь так и пошел называть Лиам Джеффом. Тот подозвал официантку, посмотрел на Игоря: «Это мой друг Игорь», – девушка улыбнулась, как родному. И стал показывать ей что-то в меню.

– Beer? Beer?... – Лиам указал большим пальцем себе в рот. – Guinness, Smithwick's⁸

– Smithwick's, – был ответ.

– One pint... – Он снова окинул взглядом русского. – Two pints of «Smithwick's». OK, I have to leave you. Enjoy yourself...⁹

Лиам ушел, по всей видимости, на кухню – и не успел Игорь оглядеться, официантка принесла две огромные тарелки: одна с глазуньей, беконом, кровяной колбасой, картошкой и фасолью; вторая – с увесистым куском салмона, зеленью, грибами и неизменной картошкой фри. Затем она поставила перед ним несколько плоских с картофельным хлебом, глазированных пончиками и кленовым сиропом. Ушла за стойку, включила над ней свет, наполнила два высоких бокала. Игорь, чтобы не гонять девушку по кругу, забрал свой эль.

Он ел впервые за несколько дней и убеждал себя, что, если сейчас все съест, то получит заворот кишок. И все равно, стараясь не спешить, запихивал в рот полные вилки, запивая божественной прохладой. Вдруг его осенило: «Надо спросить Джеффа о работе, – наверно, он сможет помочь». Но как спросишь незнакомого человека, к тому же когда он на кухне, а ты в зале ресторана и уже воспользовался его добротой?

¹ Заходите, заходите... Абсолютно бесплатно...

² Лиам... Я шеф-повар...

³ Меня зовут Игорь. Приятно познакомиться.

⁴ Откуда вы?

⁵ Из России.

⁶ Ну что ж... Я рекомендую эту рыбу...

⁷ Хорошо, Джефф.

⁸ Пива? Пива? «Гиннес»? «Смитвикс»?

⁹ Одну пинту... Нет, две пинты Смитвикса. Окей, я должен уйти, получай удовольствие...

Игорь почувствовал, как радостный хмель наполняет голову и тело – решил сделать перерыв в трапезе и осмотреться вокруг. За столиками допивали кофе несколько клерков, в куртках и пуловерах, поглядывая на обильный ранний ланч «ВИП-персоны» возле стойки. Одна компания, наискосок, под героями Войны за независимость в рамках, привлекла его внимание – Лиам перед исчезновением подошел к ним и весело обменялся очередями шуток, из которых Игорь не понял ни слова. (Ну конечно, городок небольшой – все тут друг друга знают.) Надо сказать, это была весьма примечательная компания. Маленькая старушка в зеленой шляпке с цветами, сидевшая к нему вполоборота спиной, – точнее, старушка-лилипут, ей подставили барный стул с регулировкой высоты, чтобы она могла доставать до тарелки. Напротив нее верзила, с рыже-седой, стриженной лысиной, с простоватой прямоотой на грубом лице. Рядом юный толстяк, в жилетке, сорочке и бабочке, с очень живой мимикой. Все трое были увлечены каким-то важным разговором и заедали его ирландским завтраком с капучино. Лишь старушка пила белое вино в высоком бокале.

Из двери, через которую носили заказы две девушки, появился Лиам в полосатом фартуке. Его лицо снова было в испарине, как после удара ниже пояса, только на сей раз не искажено гримасой боли, а лучилось добродушием.

– Джефф, сори... Сенк ю вери мач... – Игорь показал растопыренными пальцами на стол. – Бат... бат...

Джефф-Лиам повернул голову, как филин на ветке, чтобы разглядеть что-то под деревом.

– Ай нид джоб. Хэв ю фо ми?¹ – Игорь долго готовил фразу, но произнес ее не так, как хотелось: не с пренебрежением, а с неуверенной надеждой.

– Let me see... – нахмурил брови повар, и вдруг его словно осенило: он поднял палец и воскликнул: – One second!²

Лиам снова направился к странной компании, зашел с противоположной стороны, где сидел лысый здоровяк. Оперся о стол и принялся что-то ему объяснять. Мужчина перестал есть и смотрел перед собой. До Игоря долетело несколько знакомых слов: «эребиан бастэдс», «Руша», «боксинг». Лиам нанес серию коротких боковых по воздуху. Вся троица с интересом слушала его: толстяк, пригнувшись к тарелке и глядя вверх, старушка – потягивая из бокала. Лысый посмотрел в сторону Игоря, их глаза встретились. Лиам поманил рукой:

– Igoг... – И когда Игорь подошел к их столу, он представил их друг другу: – This is Igoг... Ava... Connor... Dylan...³

Военный вытер салфеткой пальцы и встал, ростом он был не меньше Игоря.

– Найс ту мит ю, – пожал жесткую руку Игорь.

– Nice to meet you too? – расплылась Ава румяными от вина щечками. Плечистый Коннор произнес только «okeу», указал на свободный стул и сел сам. Игорь остался на ногах.

Коннор задал несколько вопросов, из которых Игорь сумел ответить только на один: How old are you?⁴ Не дождавись ответа на остальные, ирландец пробормотал: Bad English...⁵ Сердце облилось холодом.

¹ Мне нужна работа. У тебя есть для меня?

² Дай подумать... Одну секунду!

³ Это Игорь... Ава... Коннор... Дилан...

⁴ Сколько тебе лет?

⁵ Плохой английский.

– Окей! — расправил плечи Коннор и достал из внутреннего кармана бумажник, а из бумажника визитную карточку: – This address... Tomorrow morning... At nine o'clock...¹ – произносил он почти по слогам, словно имел опыт общения с плохо понимающими иностранцами. Игорь вернулся за свой стол в счастливой растерянности.

Провожая его до двери, Лиам рассказал главным образом с помощью жестов, – компания под фотографиями расплатилась и ушла через несколько минут после собеседования, – что Коннор – полковник в отставке, у него свое частное охранное агентство и он собирается испытать Игоря эс секьюрити офисэ. Пока на парт-тайм, а там как себя покажет (it depends of you²). «А где они? Я хотеть говорить им “благодарю тебя”». – «Коннор повез своего племянника и сестру, на концерт в Лэжэлэнд». – Он изобразил игру на скрипке и попрощался с Игорем, отдав ему кулек с недоеденным ланчем.

В сочельник Игорь дежурил на стройплощадке многоквартирного социального дома. Он уже вторую неделю работал на фирму Коннора, и его новые сослуживцы были на седьмом небе от счастья, что русский согласился посторожить в Кристмас – сутки через сутки. Босс тоже не возражал, заметив усердие, с которым Игорь взялся за выполнение возложенных на него обязанностей. Он со снисходительным вниманием присматривался к новому охраннику. Выдал ему куртку с нашивками, полицейский джемпер с погонами, рубашку и галстук. Ни оружия, ни спецсредств Игорю не полагалось, в случае чрезвычайной ситуации он должен был закрыться в своей секьюрити кабин³ и позвонить в гарда стэйшн⁴, номера телефонов лежали под стеклом на столе. Еще в кабинке были: удобное вертящееся кресло, мини-холодильник, микроволновка, чайник, умывальник (и здесь с раздельными кранами) – все новое, сверкающее, как и сама будка. Было в ней светло и уютно. Мелкий дождь засыпал большое, во всю стену, окно. Это был даже не дождь, а морось со снегом, слиш, как называют ее ирландцы: внутри каждой капли, сбегаящей по стеклу, таяла льдинка.

Тучи шли со стороны океана свисающими, будто падуги в театре, черно-дымными грядами, и такой небесный ландшафт простирался до самого горизонта. Между грядами, как между волнами, наплывали одинаковые более светлые ложбины. Когда над головой проходила такая впадина, в воздухе летела мокрая пыль. За ней следом надвигался черный забор, и брызгал холодный дождь. Несмотря на хмарь, на душе было радостно и спокойно: все неудачи позади и, хотя зарплата охранника меньше, чем у составителя салатов, при незначительной экономии он сможет высылать домой такую сумму, как прежде. Небольшое беспокорство все же не оставляло Игоря. Слова Лиама врезались в сердце: it depends of you. Каков все-таки его статус? Работал он полный день – но, может быть, только на время *крисмас холидейз*? Удастся ему потом удержаться на новом месте? И что нужно еще для этого, кроме готовности дежурить за других? Главное, не совершать ошибок, как с Петерисом, не давать воли своему характеру...

С такими мыслями он дождался, когда закончится очередной слиш, и вышел из будки в обход. Накинул на голову капюшон, достал сигареты, купленные на первую получку, взглянул на приближающуюся

¹ Этот адрес... Завтра утром... В девять часов...

² Это зависит от тебя.

³ Будка охраны.

⁴ Полицейский участок.

гряды и прикуруил. Сторожка находилась недалеко от въездных ворот, закрытых по случаю праздника. Стройплощадка пустовала. Похожий на сказочный теремок дом, из темного кирпича, уже под серой крышей, зиял в мареве дождя пустыми проемами окон и дверей. Водяная пыль облепила лицо, куртка мгновенно намокли. Он прятал сигарету в кулак. Паллеты кирпича и плитки в красочной упаковке, пирамиды окон и дверей, желтый погрузчик не слишком оживляли пейзаж. Нога подворачивалась на битом кирпиче: вся раскисшая земля была усеяна строительным мусором. Он зашел в биотуалет у центрального подъезда и продолжил путь.

За забором из сетки проходила пустынная дорога. Все-таки время от времени подкатывала к горлу тоска: грустно дежурить в праздник, пусть этот праздник чужой: где-то в городе веселье, радостные приготовления, ужин в кругу семьи... Он повернул за угол и – не поверил своим глазам: в сером мареве черная толпа, подобно спруту, переваливалась через ограждение: сначала один щупалец, потом второй – и дальше текучее тело. Чавы спрыгивали с забора и, сунув руки в карманы, семенили к ближайшему подъезду. Семь или восемь тингов, с хищными лицами, в темных куртках и худи, с пирсингом в бровях, у одного, опередившего всех, – наколка во всю щеку. С такими даже полиция остерегается связываться. Сейчас залезут в дом, нагадят там, нарисуют какую-нибудь дрянь на стенах, разобьют и разломают, что попадется под руку, – и всё, его карьера секьюрити на этом закончена. Галчата выпрыгнули из сердца и заорали невыносимыми, голодными голосами... Цепкие, алчные глаза малолеток уже загорелись радостью при виде оторопевшего охранника.

– Э, мля... Вы куда! – Небогатый английский вылетел из головы напрочь. – Стой, стрелять буду! Убью на хрен!..

Он схватил обломок кирпича и бросился вперед – теперь оторопь взяла свору ирландских гопников: они впервые видели такого странного сторожа. Очевидно, ждали, что он ретируется в свой кабинет или начнет пацифистские переговоры. Кирпич пролетел между головами – двое едва уклонились – и ударился в сетку забора. Дикое чудовище, замаскировавшееся под мирного секьюрити, с искаженной бешенством мордой, бежало на них, изрыгая ругательства на непонятном грохочущем языке, и швыряло камни. Второй булыжник угодил расписному главарю уже между лопаток – тины бросились к забору. Игорь на ходу хватал что попало – кирпичи, гравий, булыжники – и, матерясь, прицельно кидал в убегающую толпу. Перелетела через забор урла, как разбитая выстрелами стая куропадок. В это время по дороге в облаке брызг навстречу удирающим тинейджерам проезжала машина. Игорь заметил ее краем глаза и, только добежав до ограждения, осознал, что это приехал Коннор на своем «лендровере». Шайка чавов, не останавливаясь и не оглядываясь, скрылась за поворотом.

Ну всё, решил Игорь, теперь его точно уволят, за то что нарушил инструкцию, не проявил толерантности, бросался в подростков камнями. Удостоверившись, что чавы не собираются возвращаться, он обреченно побрел к воротам.

– Good man¹, – произнес босс, внимательно глядя через сетку на приближающегося Игоря. В руке у него был бумажный пакет из супермаркета. «Ну конечно, он стебется – сейчас пойдут сожаления о том, что я

¹ Молодец.

не подхожу им». Сегодня он, наверно, еще доработает и хоть какие-то деньги получит. Игорь отпер ворота и пропустил Коннора. В этот момент опять пошел слиш, они поспешили в кабин.

– Сорри, Коннор, – попробовал оправдаться Игорь. – Ай форгет ту ринг гарда...¹

Тот похлопал его по плечу:

– Good, good... It`s okay!

– Риали?...²

Коннор поднял большой палец:

– No joke! Seriously!³

В пакете оказался красочный «кристмас ив бокс» с куском сливового пудинга, жареным филе индейки и двумя банками «будвайзера».

– Mary Cristmas!⁴

– Mary Christmas... – отозвался пораженный Игорь. На прощание Коннор опять показал большой палец.

После Рождества Игорю повысили зарплату до уровня салатъе и перевели на охрану Лэжэленда. Галчата больше не кричали в сердце, только неугомонная родина вытягивала каждый день его жилы.

¹ Извини, Коннор. Я забываю позвонить в полицию.

² Правда?..

³ Без шуток! Seriously!

⁴ Счастливого Рождества!

Владимир КУЗИН

Родился в 1964 году. Образование среднее техническое (авиамеханический техникум) и незаконченное высшее (4 курса Ивановского государственного университета, филологический факультет). Работает в охране. Живет во Владимире.

ЧЕБУРАШКА

- Командир, тут баба поранена лежить!
- У свідомості?
- Неа, у відключці.
- Капитан подошёл и ударил женщину по щеке.
- Ти подивися, – сержант улыбнулся, – прочумалася.
- Зв'яжи її, щоб не брикалася.
- Зрозумів, – сержант осмотрелся и взял с вешалки ремень. Подошёл к раненой, перевернул её лицом в пол и скрутил ей руки за спиной.
- Сашко! – капитан крикнул в сторону входной двери.
- В блиндаж вбежал лейтенант.
- Доглянь за дівкою, – капитан кивнул на раненую, – Перев'яжи її і зроби укол знеболюючого. А то здохне завчасно. – Посмотрел на лейтенанта. – Усёк?
- Тот кивнул:
- Перевязать и обезболить.
- А главное?
- М-м... – тот замялся. – Стеречь.
- Вот именно. Государственный язык нужно знать как «Отче наш...».
- Михайло, – капитан обратился к солдату, стоявшему у двери. – Зв'яжися по рації з Гринєю-Хірургом. Треба, щоб його хлопці її забрали. У неї напевно важлива інформація є, а Гриня її говорити змусить. Тільки нехай вони поспішать. Повідом їм координати.
- Тот кивнул.
- Повернулся к сержанту:
- Ті двоє куди побігли?
- В березняк, – ответил тот, – у напрямку Горлівки.
- Скажи бійцям, щоб все за ними, – и все трое выбежали из блиндажа.
- Лейтенант подошёл к раненой, обхватил её и посадил на пол спиной к стене. Затем расстегнул ей куртку и оголил плечо. Вынул из своей

походной аптечки шприц и вколол его женщине. После чего наложил на рану пластырь и принялся её забинтовывать.

Она слегка приподняла голову и поморщилась.

– Терпи, – сказал лейтенант. – Хорошо ещё, навыйлет прошла.

Раненая некоторое время смотрела на него сквозь упавшие на лицо волосы... Затем усмехнулась:

– Вот значит как... А я всё думаю, откуда козлятиной прёт?

– В каком смысле? – лейтенант повернулся к ней спиной и стал укладывать бинт и ампулы в аптечку.

– В прямом. Видать, у тебя на морде Милкины сопли ещё не обсохли...

Он застыл... потом резко обернулся.

– А синяк-то на заднице прошёл? – женщина улыбнулась.

Лейтенант поднял её волосы с лица.

– Ольга? – Он отпрянул. – Это ты?

– А ты, Чебурашка, слепой?

Он сел на табуретку. С минуту оба молчали. Вдалеке слышались раскаты артиллерийских ударов. Да время от времени треск пулемётных очередей.

– Чебурашка, – он усмехнулся. – Ты ещё помнишь моё прозвище.

– Я всё помню, Саша... Я когда впервые увидела твоё круглое лицо и слегка оттопыренные уши, так сразу тебя и назвала – Чебурашка. Думала, ты обидишься, а ты ничего...

– Это на Светкиной даче, что ли?

– Ага. Помнишь, она нас пригласила к себе на свой день рождения... ну, там шампанское, шашлыки и прочее... Да и вообще пожить у неё недельку...

– Да, время тогда мы провели весело.

Оба засмеялись.

– Слушай, а с чего Милка на тебя тогда наехала?

– Сам не могу понять, – он пожал плечами. – Светка попросила нас с Мариком яблоню во дворе посадить. Я подошёл к сараю, нагнулся за лопатой... И вдруг эта коза меня бац рогами под зад. Потом своей мордой в мою щёку ткнулась. Я думал, она мне сейчас ухо откусит.

– Да уж, заорал ты во всё горло. Вскочил, бросился наутёк, а она за тобой... Еле потом со Светкой её оттащили...

– Меня после этого ребята в группе подкалывали. Ну как, спрашивали, первый поцелуй?... Да ты ещё... Пристала тогда ко мне – снимай да снимай брюки, нужно рану обработать.

– Я переживала... А ты краснел как малолетка...

– Я тебя в первый раз видел...

– Зато какой классный был вечер. Малиновый закат, тишина... А помнишь, как мы плавали с тобой в озере наперегонки?

– Я ещё удивлялся, почему ты всё время выигрываешь!

– Дорогуша, я с третьего класса в бассейне тренировалась...

– Мы с тобой каждое утро в лес ходили...

– Какой там был воздух!... И туманы... туманы...

– А как ты ложных опят набрала, помнишь? Хорошо, я в грибах разбираюсь.

– Ты мне тогда такой щелбан по лбу отвесил, что у меня неделю синяк не проходил.

– Так дело-то было серьёзное, могла сама отравиться и других отравить.

- Слушай, а помнишь нашего Кроху?
- Бельчонка?
- Да, на сосне в дупле жил. Мы ему с тобой семечки и орешки оставляли...
- Он почти каждое утро нас встречал.
- Однажды у меня даже из руки кусочек хлеба взял...
- Помню... Ты тогда от восторга даже взвизгнула...
- А место наше не забыл?
- У косо́й берёзы?
- Она кивнула.
- Однажды мы с тобой сидели там на берегу и смотрели на уплывающие вдаль облака... О чём-то без умолку болтали... Я поёжилась, и ты снял с себя ветровку и накинул её мне на плечи. А потом впервые меня чмокнул в щёку.
- Веришь, я тогда дрожал как осиновый лист.
- Да я сразу поняла, что ты был нецелованный.
- Зато ты меня так к себе прижала... Я аж обалдел...
- Во сколько же мы с тобой вернулись?
- Где-то полшестого, уже светало... Светка с Мари́ком почти не спали, волновались за нас. Отругали...
- После мы каждое лето туда ездили. – Она вздохнула. – Хорошая у нас была компа́шка. Вгиковцы. Я со Светкой с актёрского, ты с режиссёрского, Марк – будущий сценарист. Все увлечённые, с горячими сердцами.
- А планы какие были... Ты, помнится, грезила Достоевским. Мечтала о роли Сони Мармеладовой. Удивлялась, как в этом персонаже одновременно уживаются и страдание, и жалость; и обида, и прощение. Кстати, Надежда Степановна, педагог по актёрскому мастерству, тебя хвалила. Говорила, что у тебя большое будущее. Да и ребята на твои этюды толпами ломались.
- А ты был увлечён Тарковским. Всё таскал меня на его фильмы и пытался мне рассказать о его методе создания на экране сновидений и грёз... Восхищался, с какой силой его образы проникают в сердце. Например, наклоняющийся на фоне солнца могильный крест.
- Это из «Иванова детства»... Мы с Мари́ком хотели создать нечто подобное, даже сценарий написали...
- Интересно, где сейчас наш многообещающий драматург?
- Мари́к? В Израиле. Что-то там пытается опубликовать. Пишет, что ни фи́га его замыслы никому не нужны... А твоя подруга? Со своим ангельским голосом.
- Светка поёт в ночном баре. В Норвегии...
- Ясно. Свою любимую Клеопатру так и не получила...
- Да какой там... У неё муж на пособии и дочь. Только о бабках и мысли...
- Опять кровь пошла. Ну-ка...
- Он подсел к раненой и наложил на повязку дополнительный слой бинта.
- Некоторое время оба сидели молча.
- Ты куда после ВГИКа пропал? Говорил, что уедешь ненадолго, а сам... Я тебя ждала...
- Мне предложили снимать рекламу в одной частной киностудии. В Киеве. Посулили приличные деньги. Тогда время было тяжёлое, я готов был за любые съёмки взяться. Думал, сначала встану на ноги, а

уже после продолжу, как говорил, дело Тарковского. Обязательно буду снимать тебя... Но потом затянуло, ничего другого в перспективе не оказалось... А дальше случился Майдан. Я начал снимать ролики про него... закрутилось, завертелось. Подружился с боевыми хлопцами... Ну, а ты что?

– Я потыкалась туда-сюда, снялась в эпизодах у нескольких режиссёров, но чего-то серьёзного так и не случилось. Всё какую-то пошлятину предлагали. Плюнула на всё и уехала в свой родной Донецк, работала в Музыкально-драматическом театре. А когда случился четырнадцатый год, поняла, что сейчас не до сцены. Окончила курсы связистов и теперь занимаюсь отнюдь не актёрством...

Он встал и заходил из угла в угол. Взял со стола чайник, отхлебнул из него, поставил на место.

– Служишь террористам? – Резко к ней подсел. – Ты хоть раз видела, как их ракеты и бомбы убивают наших ребят в окопах?

– А ты хоть раз за восемь лет задумался о том, что ваши снаряды превращали Донбасс в развалины? Когда ты жрал в ресторанах и кувыркался с бабами в постели, ты думал о том, что в этот самый миг эти ваши залпы отрывают ручки и ножки нашим детишкам? Ты знаешь об Аллее ангелов в Донецке? Это полторы сотни детских могил! У тебя не мелькала мысль, что именно об этом нужно было снимать кино? Если бы люди вовремя узнали правду, может, всё бы сложилось иначе...

– Мы били по городу, захваченному сепаратистами. Это территория Украины; и только Украина вправе решать, что на её земле делать.

– Это в первую очередь земля дончан. Здесь наши дома и могилы наших предков. И на каком языке общаться и какие отмечать праздники, решать должны мы. А не те, кто засел в Киеве. Это не мы к вам пришли, чтобы вам своё навязать. А наоборот, вы к нам. С пушками и танками. Если в семье одного из супругов что-то не устраивает, то всё должно решаться кулаками? Целовать или нет портреты Бандеры? Говорить ли на языке Достоевского и Чехова?

– Ну, Бандера мне до лампочки. Я защищаю свою землю от таких сепаров, как ты, которые хотят оттяпать от неё кусок. И меня в этом не переубедить. Я здесь родился, и это моя родина.

– Насколько я помню, ты коренной киевлянин. А вот я родилась на Донбассе. И защищаю именно свою родину. И меня в этом тоже не переубедить.

Он наклонился к её лицу.

– А для москалей это тоже Родина? Или как?

И глаза его блеснули.

– А какой кровный брат не защитит свою сестру от издевательств её бешеного супруга? Или как?

И её глаза блеснули в ответ.

– И что тебе твой брат даст? – Он кивнул на восток. – Идеологию «совка» с её уравниловкой и запретом на собственное мнение? Власть посредственностей, гнобящих неординарные личности и таланты? Как в своё время Тарковского.

– А тебе твои кукловоды? – Она кивнула в сторону запада. – Идеи волчьей конкуренции как норму отношений? Бесконечного кайфа как смысла жизни? Это для того ты натовскую каску на себя напялил?

– Эти, как ты говоришь, кукловоды несут людям свободу и цивилизацию. И мы желаем стать её частью.

– Частью того, где мужик с мужиком, а баба с бабой? Где ежегодно беснуются, нарядившись в чертей и ведьм? А марихуана становится нормой? Тогда флаг тебе в руки. Вот только я не хочу, чтобы моя Родина превращалась в Содом и Гоморру.

– Фанатичка, – он отошёл в сторону и снова сел на табуретку.

Некоторое время оба молчали.

– Чёрт, – он опустил голову, – до чего же всё-таки не туда жизнь пошла, до чего же не туда. Андрей Арсеньевич как-то сказал, что человек рождён, чтобы оставить после себя произведения искусства, а не руины после катастрофы... Похоже, что всё пошло по второму варианту. – Он вздохнул. – Значит, мы с тобой так и не найдём общего языка.

– Не найдём. Отдай меня Грине, и на этом всё.

– Кому?

– Командир твой сказал же, что сейчас за мной приедут от Грини. Ты что, не в курсе, кто это?

– Я не особо понимаю украинский... Наверное, кто-то из СБУ. Скорее всего, попадёшь в обменный фонд. У вас наших пленных тоже много. Обменяют, и вернёшься в свой Донецк.

– Не угадал, Саша. Гриня-Хирург не эсбэушник. А из правосеков. И у нас он хорошо известен. Например, тем, что отрезает сначала пальцы, а потом уши. А у женщин, кроме того... Ну, подробности тебе знать необязательно. Но в живых он из своих клиентов не оставляет никого. Боится свидетелей среди наших. И мести...

Он медленно поднялся с табуретки. Несколько мгновений стоял как вкопанный.

– Ты что же молчала? – Его голос задрожал. – Почему сразу мне не сказала?

– А что это для тебя меняет? Я ведь сепар.

Он быстро подошёл к ней, схватил её за подмышки и поставил на ноги.

– Идти можешь? Сейчас доведу тебя до оврага, там внизу будет ручей. Пойдёшь прямо по его течению и к рассвету дойдёшь до своих. Давай развяжу...

Она отпрянула и села на пол.

Он наклонился к ней.

– Что не так?

– Ты глупый? А как ты своим объяснишь, что я, раненая и связанная, от тебя убежала? Они вмиг всё поймут. И тогда к Грине уже повезут тебя!..

– Да я... скажу, живот схватило, понос. Отошёл в лес, а после не смог тебя найти, вон заросли какие...

Она усмехнулась.

– Ты себя слышишь? Кто в эту чушь поверит?

– Зато ты уже будешь далеко.

Она посмотрела ему в глаза.

– Ты, видно, тогда у косо́й берёзы так ничего и не понял. – Опустила голову и тихо произнесла: – Если с тобой из-за меня что-то случится, я себе этого никогда не прощу.

– И что теперь?

– Я должна остаться...

– Только не это...

Он отошёл к столу. Внезапно обернулся.

– А если откупиться? Скажешь нашим, что за тебя хорошо заплатят. Тогда они тебя не тронут.

– У нас сотни детей и стариков в разрушенных домах живут, без хлеба и воды, а я буду на свою шкуру деньги клянчить?

Он опять подскочил к ней:

– Да речь не о хлебе, а о твоей жизни! – Он тяжело задышал.

Каноида резко усилилась. Пол и стены блиндажа задрожали.

– Русская арта. Сейчас попрут в атаку... – Он опять сел на табуретку. – Чёрт, как всё глупо. Прямо тупик какой-то...

– Почему, – тихо проговорила она, – выход есть.

– Ну... – он с волнением вскинул голову.

Она посмотрела на него странно изменившимся взглядом.

– Расстегни свою кобуру.

– Зачем?

– Это единственное, что ты можешь для меня сделать... Потом застегнёшь на мне куртку, и рану никто не увидит. Да и некогда им разбираться, нужно будет ноги уносить. А ты скажешь, что, мол, кончилась из-за большой потери крови. От этого, – кивнула на простреленное плечо. – Ты понял? – Она посмотрела ему в глаза.

– Спятила? – Он вскочил с места. – Нет, ты явно ненормальная!

– Саша, я видела изуродованные трупы, оставленные правосеками Грини. Медики сказали, что их мутозили как минимум сутки. Если ты желаешь мне такой участи – ну что ж, так тому и быть.

– И ты предлагаешь это сделать мне? – Он дико на неё взглянул.

– А ты желаешь, чтобы это сделал Гриня? Медленно и с расстановками?

Он подскочил к ней и схватился за ремень, которым были связаны её руки, пытаясь развязать узел:

– Сейчас же чтобы духу твоего здесь не было! А я со своими сам разберусь.

Она ударила его головой в грудь. Он отскочил, держась за ушибленное место. Снова кинулся к ней, но она ударом ноги отбросила его к столу. Чайник и кружка с грохотом повалились на пол.

– Я никуда отсюда не уйду! – Она тяжело задышала. – Буду зубами тебя грызть, но не дамся!..

– Что ты делаешь? – Он закрыл руками лицо. – Что же ты со мной делаешь?..

Вдалеке послышался шум мотора. Он вынул из футляра бинокль и выбежал из блиндажа... Через некоторое время вернулся:

– БТР. С красно-чёрными полосками. Где-то в километре отсюда.

– Они.

На её лице выступила испарина.

Он заметался взад-вперёд по блиндажу. Обернулся к ней:

– Умоляю тебя, беги!..

Она замотала головой.

– Тогда встречай гостей, ты сама это выбрала.

– Это и твой выбор тоже.

Он глянул на неё как испуганный младенец.

А она посмотрела на него умоляющим взглядом.

Он внезапно побледнел. Медленно подошёл к ней, вынул из кобуры пистолет и приставил его к её груди.

– Это неправильно... – усталился в пол и забормотал как в бреду. – Вообще всё неправильно. Тебе нужно жить, сниматься. Ты талант.

Она прислонилась спиной к стене.

– У меня в боковом кармане куртки мамин адрес. Черкани ей, когда сможешь. Чтобы больше не ждала. Только без подробностей.

Он заревел.

– Оля, как же так. Ведь ты самый дорогой для меня человек. Мы же с тобой мечтали идти по жизни вместе. Что же мы с тобой натворили?

– Возьми чуть левее...

– Что? – не понял он.

– Дуло немного влево... Вот сюда... Так будет наверняка...

Он продолжал всхлипывать.

– Ну-ну, Чебурашка, смелее. Это нужно нам обоим... И утрись потом...

Его затрясло.

– Не смогу...

– Ого, да ты прямо как тогда, при первом поцелуе...

Он уткнулся в её растрёпанные по плечам волосы.

А она прижалась лбом к его щеке и тихо проговорила:

– Как это было у него в «Сталкере»?

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло.
Только этого мало.

Он подхватил, и они продолжили вместе:

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало...

Он с силой зажмурился и нажал на спуск...

Ирина ДРУЖАЕВА

Родилась в лесном посёлке Рустай, на севере Нижегородского края, на реке Керженец. Окончила Горьковский сельскохозяйственный институт и аспирантуру. Работала в почвенной экспедиции НИИ Гипрозем и ассистентом в ГСХИ. Директор художественного выставочного зала «Галерея на Троицкой» в городе Городце Нижегородской области.

Публиковалась в газетах «Литературная газета», «Современная литература», «Литературный Кавказ», журнале «Вертикаль. XXI век», альманахе «Земляки» и других изданиях. Лауреат Международного конкурса детской и юношеской литературы имени Алексея Толстого, конкурса сценариев Московского международного кинофестиваля «Лучезарный ангел», литературной премии «Золотое перо Руси», премии города Нижнего Новгорода. Лонг-лист премии «Ясная Поляна».

Член Союза писателей России. Живет в Городце.

ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ

На левом берегу Волги прямо напротив Балахны раскинулось село Николо-Погост. Святая земля, по древности и с Городцом может поспорить.

История села ещё до монголо-татарского нашествия началась.

Пережил Погост страшные годы ига, притеснения и расправы от опричников Грозного царя.

Сколько ног ступало по этой земле за долгие века! Сколько тел упокоились в ней! Много тайн хранит это место. И сколько новых событий продолжают творить историю и рождать новые тайны.

Известное место Николо-Погоста – Шихан, поляна на высоком месте надпойменной террасы, хранит следы старины глубокой. Именно на Шихане находилось «лобное место».

Ещё монголо-татары устраивали здесь виселицы для своих противников, и молодцы Ивана Грозного именно на этом месте жестоко расправились с жителями Заузоля, выступившими против засилья дворян-опричников. Позднее, при Екатерине II, встретили здесь свой конец и беглые ссыльные «балахонцы» с балахнинских соляных варниц. Стала гора Шихан, заросшая соснами, местом казни для преступников и неугодных людей на долгие века. И везли сюда этих обречённых со всего Заузоля, с Городца и Балахны.

Только в Николо-Погосте был штатный палач.

Что заставляет человека палачом стать? Ужасающая крайняя нищета? Природная склонность? Отбывание повинности за собственные

преступления? История первого погостинского палача погребена вековыми песками, а вот последний долго был на слуху в лесном Заволжье.

Звали его Никодим Палач. И был он потомственным мастером заплечных дел. И дед, и отец Никодима палачами были. По роду они звались Дюжевы, да фамилия из памяти людей давно стёрлась. Родом Дюжевы были с деревни Щёкино, в Николо-Погост перебрался ещё прадед Никодима.

Отец, Емельян, с первого удара кнутом говорить заставлял. Приходилось и палачу Никодиму, как предкам его, не только головы рубить, но и кнутом полосовать при дознании и наказании.

Жил палач в старой отцовской избе, стоявшей особняком на краю обрыва над волжской долиной. Может, случайно, а может, и нет, но никто рядом хором не настроил. И неважно людям во все времена, какими людьми были мужики Дюжевы. Старались от них подальше держаться. Так что кем стать перед Никодимом вопроса не стояло. Если тебя с детства изгоем, нелюдимым да отшельником ремесло дедовское и отцовское сделало. И в наследство досталось.

Ко всему прочему природа наделила Никодима огромной силой и пугающей внешностью. Если на кусок сахара день за днём глядеть да говорить, что он редька, то и сахар горчить начнёт. Если на человека с младенчества глядеть с испугом да стороной обходить, красоты у него не прибавится.

Да и не в кого было Никодиму красивым родиться. Жён Дюжевы веками брали не из красавиц, а из последних в округе невест, тех, кого не берёт никто. Не всякая женщина сможет жить наособицу, когда люди стороной обходят, а в избе мужниной на стене огромный топор висит. Старинный, с широким лезвием, топор, орудие казни, передавалось из поколения в поколение. И для Дюжевых расположение его на парадной стене казалось привычным и естественным.

Никодим о женитьбе задумался, когда родителей лишился. Затосковал от одиночества.

Огромный, сутулый, с длиннющими руками и лошадиным лицом, молчаливый парень казался односельчанам страшным, суровым, недобрый человек.

Сваха перекрестилась да руками развела, когда Никодима на пороге увидела. Но работу свою она знала, убедилась за долгие годы, что на всякий товар свой покупатель найдётся. Не сразу, а нашла для парня суженную – Настасью, из дальней лесной деревни Обмелюхино.

Не красавица, скромная и работающая, Настасья с родителями жила богато, со двора покато. Чего ни хватись, за всем в люди покатись! А как осиротела, совсем тяжко стало, жизнь – не сахар. Часом – с квасом, а порой и с водой. Потому от предложения Никодима не отказалась, перебралась из убогой отцовской избы в дом Палача. Поначалу со страхом, потом с удивлением смотрела Настасья на мужа своего Никодима.

Как не глядеть со страхом, когда молва людская Палача злодеем прославила, а на стене в доме этакая страсть висит. Но и месяца не прошло, увидела Никодима другими глазами, душу его ранимую и чистую разглядела.

– Настенька! Работа мне такая от отца досталась. Я другого и не умею ничего. Платят мне много. Кому-то надо и такое дело делать. Но без этой надобности я не только человека, но и букашки не обижу. А тебя тем более.

Никодим и впрямь оказался человеком добрым и жалостливым, ветки зазря не сломает, животинку любую приветит. И на людей обиды не держит, зла не таит.

Настасья, как только это поняла, перестала уродство мужнино замечать. А потом и полюбила его за незлобивость, за заботу и ласку. А когда в семье лад да любовь – и душе теплей, и в избе светлей. И стали жить да радоваться, пусть не в богатстве, но в достатке и в добром согласии. Ребёнка ждали. Но недолгое счастье выпало Никодиму Палачу. То ли трудное голодное детство сказалось, то ли по судьбе так выпало, но заболела Настасья. Родила Никодиму дочку и умерла.

Очень убивался по любимой жене безутешный Палач. Но горе горем, а надо жить, хотя бы ради дочки. Потому как ребёнок у необычного отца тоже странный появился. Повитуха, как дитё приняла, начала Настасью спасать. И только поняв, что матери уже не помочь, ребёнком занялась. Бабка повивальная много чего повидала на своём веку, приходилось ей видеть младенцев, родившихся с волосами на голове, иногда и на теле. Но дочка Палача испугала повитуху своим видом. Она была покрыта рыжевато-бурыми волосами с головы до ног. Только часть лица оставалась чистой. Позвоночник заканчивался отростком, похожим на хвостик. А ушки были острые и длинные.

– Свят, свят, свят! – бормотала повитуха, пеленая необычного ребёнка.

Слух о том, что у палача родился уродец, разнёсся по округе. За спиной у него люди шептались, что это божья кара за ремесло страшное. Никодиму с большим трудом удалось найти кормилицу для дочки на несколько недель, лишь немалые деньги решили дело. А с полутора месяцев Дюжев сам кормил дочку – на козьем молоке выросла. И что удивительно – без проблем и хворей.

Никодим назвал девочку Марысей. Он не понимал, что в ней так пугало суеверных соседей, принимал её такой как есть. Священник, которому палач показал ребёнка, крестить девочку не решился, уж очень непонятным существом она ему показалась. Никодим на это плечами пожал и перестал в храме показываться.

Всё своё время он теперь дочке посвящал. Одета в сарафан, укутанная платком, девочка издали выглядела вполне обычно. А близко к ней подойти теперь отец не давал. Жили замкнуто, никого в свою жизнь не впуская.

Людское любопытство донимало палача с Марысей лишь поначалу. Потом все свыклись, интерес потеряли. Да и страх перед палачом заставлял односельчан обходить стороной его дом.

Палач с дочкой на шесть лет словно исчезли для всех, жили своей неведомой жизнью, почти не соприкасаясь с соседями.

А Никодиму ни до кого больше дела не было, кроме Марыси. С наступлением лета, с раннего утра отец и дочь уходили в заповедные луга и реликтовые рощи волжской поймы к озёрам и старицам, полным рыбы. И там, в буйстве зелени, происходило чудо. Девочка, как тяжёлые оковы, сбрасывала ненавистный сарафан и становилась иным существом, единым с этим лугом, с этим лесом, частью чего-то древнего, ушедшего, волшебного.

Тело Марыси было полностью покрыто пятнистой рыжевато-бурой гладкой блестящей шерстью. Чистым оставалось только прекрасное лицо, обрамлённое густыми волнистыми огненно-рыжими волосами.

Пушистые острые ушки заканчивались забавными кисточками. А глаза! Нечеловеческие. Невероятные большие изумрудного цвета с золотистыми искрами глаза излучали тёплый свет, зрачок то становился огромным и круглым, то вдруг сужался до вертикально линии. Девочка-кошка, прекрасная, ласковая и грациозная.

Она то бежала в луга, стремительная и гибкая, как стрела, пытаюсь перегнать ветер, то забиралась на деревья-исполины, исчезая среди ветвей.

Никодим не мог наглядеться на эту пушистую красоту, на грациозные движения, на невероятные переменчивые глаза Маруси. И лишь иногда пугался, когда она забиралась слишком высоко.

– Марысь, спускайся! Марысь! Марысь! – звал её отец.

И над лугом разносилось: «Арысь, арысь, арысь!»

Палач в глубине сознания понимал, что происходит что-то невероятное. Но отказывался об этом думать. Человек ли, рысь ли Марыся, или девочка-оборотень, или вовсе существо волшебное, она его дочь. Единственная и любимая.

Набегавшись, Марыся становилась милым ребёнком, ластилась к отцу, что-то лепетала и напевала, помогала ему ловить рыбу, собирала грибы и ароматные ягоды. А Никодим светился от радости и любви, любуясь ею. Всё его существо, каждая клеточка наполнялись счастьем.

Но счастье что волк – покажется да в лес уйдёт. А чужое счастье людям глаза колет.

Пока настоящие владельцы села в Москве жили, полноправным хозяином Николо-Погоста был управляющий Ефим Буйнов. В народе его барином звали. Жил он в двухэтажном деревянном доме с мезонином возле пруда и барского парка. Ефим был человеком жадным, злым, хитрым и скользким, как уж. Такого бойкого – в ступе пестом не изловишь.

В подручных у него были приказчик да конторщик. Тоже жулики первостатейные, под стать хозяину.

На беду, увидел один из приказчиков Марысю на озере, рассказал о странной девочке Ефиму.

Но управляющего мало что интересовало, если с того дохода не видел. Да и некогда было об этом думать, уезжал он в Москву, с казной и докладом для хозяев.

Вот там и случилось ему с карточными шулерами столкнуться. Уж на что жулик, а попал как кур во щи. На всякого хитреца другой хитрец найдётся. Лишился Ефим барских денег. Призадумался, что делать. То ли в бега пускаться, то ли в тюрьму садиться. Не хочется после барской жизни.

А тут на глаза ему цирк попался. Необычный – «цирк уродов». А представления там показывали люди с невероятными особенностями, физическими отклонениями.

Вот тогда и вспомнил Буйнов о разговоре с приказчиком своим, про девочку волосатую. Поговорил Ефим с владельцем цирка. Тот ему за дочь палача такую цену предложил, что Ефим вздохнул свободно. Все его проблемы решались. Он даже не сомневался, что сможет ребёнка украсть и в Москве продать.

Примчался управляющий в Погост, сразу подельников двоих созвал. Придумали план злодейский. Чтобы девочку забрать, палача из дома выманили, в контору вызвали к дознавателю, работу свою выполнять.

Сунулись приказчик и конторщик в дом палача, девочку схватили. Марыся со злом не сталкивалась. Но испугалась, поняла, что не до-

брые люди рядом, вдруг покусала и поцарапала напавших. Не девочка, а рысь! Пришлось одному из них по голове её ударить. Руки Марысе тряпицей связали, бросили её в тарантас и погнали в долину, к волжской переправе.

А Никодим в конторе не застал никого, удивился. А сердце вешее беду чует. Помчался в дом – а Марыси нет. На дороге следы от колёс увидал. Как зверь, почувствовал палач, куда кони ускакали. И побежал, нечеловеческими прыжками помчался следом.

А Марыся в повозке от удара очнулась. Вот тут и поняли похитители, что зря её не связали покрепче. Освободилась она от пут и превратилась в дикого зверя. Чуть не загрызла возницу. Выскочили все из тарантаса, а арысь-поле не убегает, рычит и к прыжку готовится. От страха оба злодея ни закричать, ни убежать не могут. Но конторщик про пистолет вспомнил, достал из-за пазухи и выстрелил.

Упала девочка-рысь как подкошенная, без единого звука. Но рядом вдруг такой рёв нечеловеческий, звериный раздался, что злодей пистолет выронил. Увидели похитители бегущего к ним гиганта-палача, вскочили в тарантас и помчались прочь.

А Никодиму не до них. Он к дочке бросился, обнял тёплое мягкое тельце. И задохнулся от горя. Горе, как и счастье, может заполнить душу и тело без остатка, даже для вдоха места не оставив.

Белым днём солнца не стало, оно закатилось, как прекрасные глаза Марыси. Густая темнота встала стеной. Звуки умерли, утонули в вязкой горькой тишине. Ветер остановился на лету. Остановилось время.

Палач гладил шёлковые волосы и пушистые ушки, раскачивался и тихо шептал что-то хриплым голосом, то ли молитву, то ли колыбельную. Он не знал, сколько просидел у дороги, укачивая дочку. Пока тело Марыси не застыло у него в руках.

Никодим отнёс девочку-рысь к их любимому месту у озера и похоронил её возле большого валуна. Взошла холодная круглая луна. И палач завыл. Громко, страшно, по-звериному. До утра слушало большое село этот первобытный, жуткий, леденящий душу вой. И если страшно было всем от мала до велика, то каково было злодеям-похитителям, причинившим такую боль?

К утру вой прекратился. Новый день наполнил село слухами один страшнее другого. Все с ужасом ждали ночи. Но вой не повторился. Было тихо и безветренно. Даже слишком тихо.

Но утро принесло ещё больший ужас. Всё село содрогнулось от него. На Шихане, на лобном месте нашли приказчика управляющего. Тело его лежало в траве, а аккуратно отрубленная голова красовалась на пне.

Управляющий с конторщиком в страхе заперлись по избам. Из Городца вызвали дознавателя. Все недоумевали, кто и за что убил приказчика.

Управляющий потребовал себе охрану, но объяснить почему – не мог. Или не хотел, только дрожал как осиновый лист.

Полицейский дознаватель пытался оставить на ночь охрану у лобного места. Но никто не захотел провести ночь на этой страшной поляне ни за какие деньги.

Замки и запоры не помогли и второму похитителю Марыси. Нашли конторщика на следующее утро всё там же, на лобном месте. Палач хотел показать, что это именно казнь, а не случайная гибель.

Спал ли крепче управляющий Ефим с охраной у дверей, нам неизвестно. Но когда проснулся, рядом с собой в кровати топор нашёл,

огромный грязный колун. Как он в кровать попал? Работник и кухарка клялись и божились, что топора этого сроду не видали.

Управляющий после этого совсем не в себе сделался. Трясётся весь, заговаривается. Но про палача дознавателю намекнул.

В доме Никодима полицейские не нашли, но от деревенских про любимое озеро палача узнали. Там и застали Никодима у большого валуна. Подошли к нему, а он топор поднял. От страха дознаватель в палача выстрелил. Упал Никодим, обняв холмик свежей земли у валуна.

Вот так закончил жизнь внук палача, сын палача, последний палач Заволжья. Всё село приходило смотреть на мёртвого Никодима и его окровавленный топор, даже трясущийся управляющий, чтобы убедиться, что опасность никому больше не угрожает. Про странную дочку палача никто и не вспомнил, никому до неё дела не было.

Управляющему, однако, легче не стало. Стал он то тут, то там призрака палача с топором видеть. И ночью, и среди белого дня. Совсем извёлся мужик. А тут ещё недостача денежная никуда не делась, висит над ним, как топор палача. Откуда деньги такие взять?

В воскресенье уговорила его жена в храм сходить в надежде, что мужу полегче станет.

А на Базарной площади у храма торговля бойкая идёт. Подошёл Ефим к скобяному ряду, где косами торгуют. А одна коса вдруг из крепления деревянного выскочила и со свистом упала на шею управляющего. Тело Ефима ещё двигалось вперёд, а отсечённая острой косой голова уже катилась под ноги жены.

Не стало злодеев, убивших девочку-рысь. А вот призрак палача не исчез. Видно, не может оставить это место не простившая и не прощённая душа. Видели его люди и у озера, и на лобном месте. А потом слух прошёл, что призрак помогает всем несправедливо обиженным, оболганным иль ограбленным, что прийти на встречу с палачом надо непременно ночью при полной луне.

Так что не заросла тропа к страшному месту на Шихане. Потянулись туда ночные посетители справедливости искать. Помощи просить у последнего палача. Кто-то её получал, если действительно был обижен незаслуженно иль ограблен злодеями.

Но всегда ли мы честны и справедливы даже перед самим собой? И то, что нам кажется несправедливым, всегда ли является таковым в глазах окружающих? Не зря же говорят: у каждого своя правда.

А палач – судия холодный, беспристрастный. Он не слова слушает и не бумаги смотрит, а души человеческие читает.

Прежде чем у неведомых сил помощи просить, в себя загляните. Так ли чисты ваши помыслы, бескорыстны намерения и честны дела? Не судите, да не судимы будете.

ЛАРИОНОВА ОБИТЕЛЬ

Поддужные колокольчики почтовой тройки брнчали нервно и вразнобой. Ухабистая грунтовка петляла меж старых замшелых елей и сосен, почерневших от старости необъятных берёз с корявыми кряжистыми ветвями, вплотную подступавших к дороге.

Старый кондовый лес, густо заросший по низу колючими кустарниками и молодой порослью, укутанный в густые зелёные мхи и разноцветные лишайники, окружал старый Семёновский тракт плотной, тёмной, таинственной стеной. Этот веками проторённый путь вёл от Бора вдоль Линды в Семёнов и дальше, в керженские дебри.

У каждой развилки старой скитской дороги безмолвно встречали путников строгие староверские кресты да мелькали порой среди пожелтевших берёз деревянные безглазые голбцы.

Дорога становилась порой такой узкой, что сердитые колючие еловые лапы пытались достать и возницу, и его пассажира, словно грозя нарушителям границ и спокойствия этого древнего мира.

– Вот ведь, дорожина! На тихом ходу не задремлешь! Жуткое место! Добраться бы до станции до темноты!

Ямщик боязливо озирался, вглядываясь в мрачноватые заросли, со всех сторон обступившие тарантас.

Его пассажир, служащий почтовой службы Алексей Колчин, молча перекрестился и потрогал лежащую рядом саблю и кожаную сумку с пистолетом. Вместе с почтальоном в скрипучем тарантасе подпрыгивал на кочках, плыл над глубокими лужами грунтовки кованный сундук с деньгами и почтой, желанная добыча для лихих людей.

Служба почтовая опасна и сродни солдатской, ни днём ни ночью покоя нет.

Тяжёлые дороги, то жара, то стужа, вечно замёрзшие и затёкшие от неудобной позы ноги. Из повозки выберешься – ещё долго звенят в ушах колокольчики и качает то назад, то вперёд.

А придётся ночью на почтовой станции заночевать, хоть и накормят почтальона бесплатно, и лежанку дадут, но сон у него тревожный, – вполглаза, сундук под голову, пистолет в руку.

А платили почтальонской шушере, как и ямщицкой черни, сушие копейки. Трудная работа у тех и других, а малооплачиваемая. А вот цели разные. Почтальону надо доехать поскорее, а ямщику главное – лошадей побережь, где можно, шагком пустить.

Но на Семёновском тракте и ямщик не против быстрой езды, в страхе от тёмного леса и разбойников, которым эти дебри – дом родной. Да не разгонишься на ямах и ухабах.

Остаются русский авось и молитва. Да оберег всех перевозчиков и путешественников – иконка Святого Христофора на груди.

На службу почтовую Алексея нужда привела. От родителей остался ему маленький домишко возле Почаинского оврага в Нижнем, а больше ничего. Большой силой и смекалкой парня природа не наделила, худой, шуплый и не очень удачливый, в других местах оказался не к месту. Лучшей работы не нашёл, в почтальоны приткнулся, тут и остался. Пока один жил, всё было неплохо. Но как женился пять лет назад, трудностей прибавилось. Дочка Анютка родилась хорошенькой и здоровой, но и тут не повезло. Напугалась девчонка огромной соседской собаки. Да так, что перестала разговаривать и при любом испуге падать начала и в припадках биться.

Алексей от жалости к дочке места себе не находил. А чем поможешь? Всё, что накопили с женой, на докторов потратили, да всё без толку. Только и осталось отцу, что побаловать чем можно Анюту. И в этот раз он пустился в опасную дорогу, считать полосатые вёрсты, ради Анютки, в надежде на хорошее вознаграждение.

При мысли о дочери Колчин тяжело вздохнул. И поёжился от студёного воздуха. Начало октября выдалось сырым и холодным.

После утреннего дождя осталась в воздухе взвесь мелких капель, скрывающая очертания деревьев. В такое ненастье сглаживалось понятие времени суток. Без ветра и солнца уже с обеда длились унылые серые сумерки.

Перед почтальоном маячила, покачиваясь, широкая спина толстого ямщика с кожаным номерком на тулупе. Почтальон задремал на миг, но очнулся от неясной тревоги.

Где-то рядом гукнул сыч, одиноко и угрюмо. Лес стоял вдоль дороги плотными чёрными стенами, из него словно исходила тьма.

Алексей вдруг почувствовал страх и инстинктивно достал из сумки пистолет.

Тишину дебрей разрезал, словно острый нож масло, звонкий свист. От этого звука и ямщик, и почтальон вздрогнули и покрылись холодным потом.

– Гони! – в ужасе прокричал Алексей.

Но испуганно фыркающих коней уже хватили под уздцы смутные тени мужиков. Алексей, словно оцепенев, увидел, как топор разбойника опустился на голову ямщика, капли горячей крови упали на лицо и руки Колчина.

И тут перед ним выскочила из тумана гнусно улыбающаяся бородастая рожа. В голове мелькнуло лицо дочери, Колчин очнулся от сковавшего его страха и выстрелил прямо в ощерившийся беззубый рот. Алексей выскочил из тарантаса, держа в руке бесполезный теперь однорядный пистолет. Один из лиходеев успел ударить его ножом по руке. Другой разбойник уже занёс над почтальоном топор.

И тут произошло то, что не укладывалось в голове в рамки возможного.

Раздались крики ужаса перепуганных разбойников. Алексей успел увидеть, как мелькнула рядом неясная тень собаки, как бросилась она на мужика, ранившего его, и то ли отгрызла, то ли разом откусила голову злодея, и она покатилась к ногам остолбеневшего на миг Колчина. А собака вдруг поднялась на задние лапы. Не то пёс, не то человек взглянул на Алексея и исчез из вида вдогонку за грабителем.

У почтальона волосы встали дыбом, он бросился бежать без оглядки, не разбирая дороги, боясь страшной погони. И непонятно было, что страшнее – разбойники-убийцы или то непонятное и неведомое суще-

ство, которое с ними расправилось. Он бежал и повторял одно лишь слово.

– Свят! Свят! Свят!

Алексей не помнил, как проскочил колючие заросли, как метался между стволами шершавых сосен, как перескакивал поваленные деревья.

Колчин бежал, сколько мог. А потом упал возле корней берёзы. Поначалу он слышал лишь бешеный стук сердца и своё частое дыхание. А когда успокоился, стали слышны непонятные шорохи леса. Хрустели, ломаясь, сухие ветки, шуршала опавшая листва, и казалось, что рядом кто-то вздыхает. В полутьме со всех сторон словно подкрадывалось нечто незримое и непонятное.

Алексей схватился за раненое левое предплечье. Рана была глубокая, и весь рукав форменной шинели пропитался кровью. Она стекала по руке, капала с пальцев в траву. У почтальона закружилась голова.

– Вот и всё! Прости меня, дочка! Не привезу я тебе подарков...

Колчин увидел над собой смутный силуэт человека с собачьей головой, и сознание его помутилось.

Алексей очнулся и, не открывая глаз, прислушался к звукам. Он помнил всё, что с ним случилось, и просто боялся увидеть что-то ужасное рядом. Но воздух был тёплым, пахло кашей и лампадным маслом, а старческий голос монотонно шептал знакомую молитву.

По щеке почтальона скатилась слеза, он погладил старинный крест и образок на груди здоровой рукой, открыл глаза и перекрестился.

– Слава тебе, Господи...

Колчин лежал в избе с низким потолком на покрытой овчинным тулупом широкой лавке. Из угла, освещённого трепетным пламенем лампады и свечей, с древних икон сурово смотрели лики святых. А перед иконами на коленях стоял человек в чёрном одеянии.

Раненый пошевелился и застонал от боли. Рука была кем-то умело перевязана, но сильно болела.

Старик поднялся и подошёл к Алексею.

– Очнулся, мил человек? Вот и славно! Свезло тебе, такой лютой смерти избежал! Как только таких супостатов земля носит!

Голос у старца был ласковый и спокойный. Алексей облегчённо вздохнул.

– Где я? Кто вы?

Старик подоткнул под бок раненого старое лоскутное одеяло и погладил образок святого на груди Алексея.

– У добрых людей. Отец Иоанн я. Лежи спокойно, рану не разбереди. А образок хороший носишь. Потому и помощь вовремя получил.

Алексей с благодарностью увидел рядом свои постиранные вещи. Даже перепачканную кровью шинель кто-то заботливо вычистил и аккуратно заштопал.

Рана оказалась тяжёлой. Колчин медленно шёл на поправку с помощью монахов маленького староверского скита и с интересом приглядывался к месту, в котором оказался.

В обители было человек тридцать мужиков разного возраста. Были и глубокие старцы. Колчина никто не чурался, отдельной посуды не предлагал. Значит, к поморскому согласию они не относились. А к какому толку старой веры относилась здешняя братия, почтальон не выводывал. Никто не запрещал Алексею ходить где хочет. Но и без пригляда не оставляли. У него всегда было чувство, что кто-то наблюдает за ним.

Несколько старых деревянных домов, в которых жили монахи, с моленной комнатой в одном из них, соединялись меж собой крытыми переходами. Позади располагались скотный двор, конюшня с лошадьми, сарай, огород, вспаханное поле.

Скитские строения располагались на берегу неширокой, но глубокой речушки с быстрым течением. На ней даже виднелась небольшая мельница. А вокруг частоколом стоял дремучий лес, словно отделяя и охраняя скит от остального мира.

Алексей походил по краю чащи. Но наезженной дороги нигде не обнаружил.

– А как вы добираетесь сюда без дорог?

На этот простой вопрос монахи ответили столь же просто.

– А никак. Зачем? Всё, что надо, у нас есть. Лес, река да огород кормят. Слава Богу, урожай нынче хороший. Всё уже в закрома прибрали. И лес здесь благодатный. И речка, хоть невеличка, а рыбой богата.

Кормили гостя просто, но сытно. А ещё поили отварами трав и ягод. Отец Иоанн делал Алексею перевязки с ароматной мазью.

Чем лучше становилось Колчину, тем больше вопросов теснились в его голове.

Почтальон думал о том страшном вечере в лесу. Кого он видел в тумане? И как он сам попал в скит? И отпустят ли его восвояси или отсюда нет исхода обратно в мир?

Монахи вставали на рассвете, проводили время в труде и молитве. Раненного гостя никто не принуждал к строгому распорядку. В поисках отца Иоанна Колчин заглянул в моленную.

В комнате, наполненной старинными образами, всегда теплились лампы. Алексей впервые с интересом разглядывал иконы древнего письма. И застыл возле одной из них. По спине поползла струйка холодного пота.

– Что это?

Колчин вздрогнул от прикосновения. Отец Иоанн подошёл совсем неслышно и внимательно смотрел на гостя.

– Чего испугался-то?

Алексей не мог отвести взгляд от странной иконы. Она была в почерневшем от времени, но местами до блеска отполированном, серебряном окладе и занимала самое центральное место иконостаса. Икону явно выделяли и особо почитали. И чаще других образов прикладывались к ней. С чёрной закопчённой доски строго смотрел на Алексея человек с головой то ли собаки, то ли другого неведомого существа со звериным оскалом.

Существа, с которым почтальон столкнулся на Семёновском тракте. Алексей не сомневался, что это именно так. Неизвестный художник явно видел это существо своими глазами, так как оно было слегка похоже на собаку, но отличалось от неё.

– Кто это? – Колчин спросил почему-то шёпотом.

– Святой Христофор. Аль не узнал? У тебя на груди иконка его висит, такая же старинная видать! Ныне пишут его иначе, с человеческим ликом. А этой иконе несколько веков. Мы здесь почитаем его особо.

– Так образок крошечный, толком и разобрать уже, кто на нём. А тут...

Иоанн указал на лавку.

– Присядем. Ты, вижу, давно поговорить о чём-то хочешь.

Алексей рассказал Иоанну всё, что произошло с ним и ямщиком на дороге. И о странном страшном существе, расправившемся с разбойниками.

– Выглядело оно точь-в-точь, как этот святой на иконе. Как такое может быть? И почему этот пёс-человек не разорвал на куски меня, когда я упал от слабости?

Отец Иоанн покачал головой.

– Раз хочешь знать, расскажу. Не знаю, отпустит он тебя или нет. Не мне решать. Но только поклянись самым дорогим, что сохранишь чужую тайну. Подумай, прежде чем ответить. Это совсем не так просто, как кажется. Искушений много будет...

– Клянусь, батюшка! Самым дорогим, что есть – дочкой клянусь, никому слова не скажу.

– Что ж. Слушай. Скит этот на реке, почитай, два века стоит.

Трудные были времена. То гонения, казни, ссылки всем, кто старую веру исповедует. То послабление ненадолго. И опять разорение монастырям и скитам, добрым людям испытания да мытарство.

А про нашу Ларионову обитель никто слыхом не слыхивал, видом её не видывал. Ни царские, ни церковные власти к нам не наведывались. Никто не проверял, не разгонял, не притеснял. Вот и смекай, почему? Потому, что у монастыря защитник есть. Никто сюда без его разрешения не войдёт и не выйдет. А появился он в стародавние времена, при первом настоятеле, старце Ларионе. Старец сюда, в дебри лесные, с севера пришёл вместе с несколькими братьями соловецкими. Тут и обоживались, обжились...

Отец Иоанн рассказывал, а Алексей слушал затаив дыхание.

Недалеко от скита охотник-отшельник жил. Нелюдимый да жестокий. И зверью, и новым поселенцам-соседям житья не давал. По всему лесу вокруг капканов наставил. И вокруг обители тоже, да прикроет так – не увидеть.

В такую ловушку и попал по весне маленький щенок. Нашёл его сам старец Ларион. Никто не верил, что выживет пёс. Уж очень серьёзны были раны. Братья монастырские щенка разглядывали, дивились на вид его странный: вроде пёс, а вроде и нет. Не пойми кто. Уговаривали настоятеля животину утопить, чтоб не мучилась. Ларион не позволил:

– Всё Богово. И это создание тоже. Судьба ему выжить – пусть живёт с нами. А вот с охотником поговорить надо. За ограду страшно выйти – любой может в капкан попасть.

Пошли к нелюдимому соседу три самых сильных монаха. Кто его знает, что этому отшельнику в голову взбредёт? То, что они увидели возле избушки охотника, перепугало братию до смерти. Возле крыльца трава была залита кровью, повсюду разбросаны останки человека. Голова охотника лежала на крыльце, огрызенная неведомым зверем.

Ни оружия, ни капканов нигде не нашли.

Зверья в девственных таёжных лесах Заволжья много было. Решили, что волки задрали отшельника. Хоть сомнение многим затылок холодило. Не слыхивал никто, чтоб об эту пору волки на человека нападали.

Похоронили охотника по православному обычаю рядом со скитом на песчаном холме, положив начало скитскому погосту. Молились после этого иноки истовой, чем прежде.

Старец Ларион костоправом был и травником. Выходил щенка. Поначалу щенком считали, похож был на собаку. А когда пёс подрос, удивил

всех несказанно. Вовсе не собакой оказался. Человеком. Только с головой, на собачью похожей.

Псоглавец . Люди и слово это забыли уже. А племена такие жили в старину во многих местах. Оказалось, что среди здешних лесов и болот тоже обитали.

Теперь монахи по лесу с опаской ходили. И многим казалось, что наблюдает за ними кто-то в чаще. Но не показывается. Пришлось инокам с этим смириться. Без даров леса тут не прожить. Он и кормит, и греет.

Старец псоглавцу имя дал по дню наречения – Виссарион. Братия поначалу с отношением к новому члену общины не определилась. Одно дело – щенка приютить. И совсем другое – существо непонятное и пугающее. Но все споры затихали, когда рядом Виса оказывался. Всех псоглавец очаровал. Ласковый, а глаза такие удивительные – огромные карие с золотистыми искрами, свет излучающие.

Окончательно примирила монахов с присутствием Висы древняя икона святого Христофора с пёсьей головой. Большая икона в серебряном окладе, одна из немногих, которые удалось старцу принести с Севера.

Пока думали да спорили, рос Виссарион не по дням, а по часам. Ходит на двух ногах, одежду ему справили, слова понимает. И что совсем чудно, его тоже все понимать стали, без слов. Словно мысленно разговор ведёт. А потом и говорить начал – невнятно, но разобрать можно. Как – неисповедимо.

Поздней осенью в скиту переполох случился. Из леса инок грибник прибежал, криками всю братию собрал. Руками машет, на опушку чащи показывает. А там... На краю леса псоглавцы стоят. Сколько, со страху не разобрали. Много.

Виса увидел их, закружился волчком, на четыре лапы встал и убежал к лесу. Все псоглавцы вдруг поклонились в сторону скита и мгновенно пропали из вида. Не было Висы три дня. Три дня монахи от страха тряслись, выйти из изб боялись. А как взаперти усидишь? Хозяйство, скотина внимания требуют.

Но никто настоятеля не попрекал, что приютил существо странное. Все к Виссариону привязались.

На четвёртый день вернулся Виса. Один. Без одежды. Долго с Ларионом в келье разговаривал.

Когда все на вечерню в моленной собрались, Виса, уже в штанах и рубахе, монахам поклонился и заговорил. Где вслух, а где без голоса, сразу в голову проникая, рассказал свою историю.

Псоглавцы жили в этих местах до того, как сюда пришли люди.

Сначала немногочисленное племя мари поселилось в девственных лесах Заволжья, потом появились русские поселения. Псоглавцы, обладая способностями предвидеть, предчувствовать и понимать без слов другие существа, своё присутствие особо не показывали, но и не прятались. Много вокруг Линды да Керженца было и есть глухих и недоступных мест. Они наблюдали за происходящим. До поры. Пока не встретились с неоправданной злобой, жестокостью и агрессией.

Убить псоглавца не так просто, он провидец, обладает невероятной силой, скоростью, острейшим зрением, различает запахи на многие километры вокруг. А ещё... Наделён зубами, прочными и острыми, как лезвие бритвы. И отсутствием неоправданной агрессии. В племени псоглавцев не было придумано оружия.

Но вид псоглавцев был так неприятен, странен и пугающ для многих людей, что побуждал желание уничтожить неведомое существо. Есть

люди, от природы наделённые звериной сутью убийцы, а есть такие, кто от страха зверем становится, столкнувшись с непривычным и непонятным, а потому – страшным.

Пришлось племени необычных людей применять для защиты себя самое страшное, что у них есть – острые и прочные зубы. Так что не только вид, но и упоминание о псоглавцах стало внушать ужас другим племенам, населявшим Заволжье.

Шли века, людей в крае становилось всё больше, а вот псоглавцев всё меньше, хоть и жили они гораздо дольше людей, многие и до трёх столетий дотягивали. По неведомой причине детей у племени рождалось очень мало, а выживало ещё меньше. Каждый малыш становился событием, и берегли его всем племенем, скрывающемся среди топких болот и непроходимых дебрей.

Старец Ларион и братья сильно рисковали, приняв в скит Вису. Любителя капканов, от которых пострадал ребёнок, безжалостно и без нужды убивавшего всё живое, жестоко уничтожили. Монахи и не догадывались, что соплеменники Висы всё это время были рядом денно и ночью, наблюдая за малышом.

У псоглавцев было острое чувство справедливости, свои понятия о добре и зле, о милосердии и благодарности. Порой отличные от привычных людских. И способы наказания и расправы тоже до дрожи жёсткие и нечеловеческие. И, как оказалось, способы вознаграждения тоже невероятные.

Псоглавцы знали, чувствовали, что малыш смог выжить только благодаря целительскому дару старца и доброму отношению всей братии. И не пугали монахов все эти долгие месяцы, не пытались показываться или выкрасть Вису. Просто общались с ним всё это время так, как дано им с рождения, – на расстоянии, мысленно.

Но места здешние, глухие по меркам людским, стали слишком суetyными для псоглавцев. Этой осенью удивительное племя уходило в другие края, отдалённые и безлюдные. Вот тогда и пришли они попроситься с монахами и Висой, хоть раз обнять его. Подросший псоглавец принял уже своё решение. И был понят своим племенем. Он оставался.

Лучшие предсказатели увидели будущее края, новые гонения и мучения ревнителям старой веры, убийственные костры, ямы и кандалы. И Висе не препятствовали из благодарности к спасителям стать хранителем, защитником и оберегом обители. Наоборот, поручили ему эту службу от лица племени.

Алексей впервые прервал рассказчика.

– Так это был он? Со мной, в лесу?

Старец кивнул.

– Да. Он живёт так, как хочет. У Виссариона есть своя келья с отдельным входом. Когда он здесь, одевается, в трапезной питается с нами. Много читает, книги священные изучает. Но когда у него случаются видения, может исчезнуть на несколько дней. Несёт свою службу. Два с лишним века уже несёт.

Никто враждебный к скиту и близко не подходил.

Без его разрешения мы новых насельников не принимаем. Висе стоит в глаза человеку посмотреть, он сразу скажет, по судьбе ли ему тут быть. Почитай больше половины братии он от разных напастей спас или от лютой смерти. И всем им тут дом родной. Вот и твою судьбу ему решать. За всё время моё тут один случай был, что разрешил он уход из скита.

Про псоглавца в лесах все местные знают. Легенды разные ходят. Никому и в голову не приходит встречи с ним искать. Причину ты своими глазами видел.

Не любит Виссарион воров, убийц, разбойников разных. А их в эти края как магнитом тянет. Но по этой части тракта лихие люди с опущенной головой и на полусогнутых идут, все молитвы вспомнят, пока минуют.

Те, что на тебя напали, не здешние. Впервые решили на керженских зимницах побывать. Туда путь держали. Да не там лиходействовать стали. Не потерпел защитник такой наглости, в его владениях добрых людей губить. За одного доброго человека спасённого он без жалости всех и положил. Тут я бессилен Вису переделать. Такое у него врождённое чувство справедливости. А нам лишь молиться за него остаётся.

Думаю, что теперь ты готов к встрече с ним. Да не трясись. Если любовь твоя к дочери велика, собери все силы для этого разговора. О ней думай.

А уж я помогу чем могу. У нас в скиту всегда целители были. Вот и мне умение передали.

Старец Иоанн поднялся с лавки.

– Иди за мной, он зовёт.

У Алексея вдруг закружилась голова, а ноги словно свинцом налились. Он боялся упасть в обморок и всё испортить.

Но едва переступил порог кельи, страх исчез без следа. И странное обличье двухметрового Виссариона не напугало. Псоглавец пристально посмотрел в глаза Колчина.

– Видел твой образок. Откуда он у тебя?

– От деда достался.

– Деда Иваном звали?

Колчин с удивлением смотрел на Виссариона.

– Да, Иваном.

– Знаком мне этот образок. Сам Ивану передал. А слово данное дед твой сдержал. Никому не рассказал про тайны здешние.

– Так он был здесь, дед Иван?

– Хорошим человеком он был. Ты послабее, Алексей. Тяжело тебе будет тайну нашу хранить. А придётся. Ладно, некогда нам разговоры вести.

Псоглавец взял со стола маленький образок и протянул Алексею.

– Идти ты уже можешь. Торопиться надо, а то беда случится. Вот для дочки образок. Пока он при ней – всё будет хорошо. Я сам тебя провожу.

После неспешных, спокойных дней, проведённых в обители, за которые он залечил рану, отдохнул и отъелся, отрешился от забот и проблем, всё изменилось за несколько минут.

Алексей смутно помнил потом суетливые и быстрые проводы. Иоанн передал ему травы и настойку для дочки, монахи собрали узелки с едой и проводили к воротам. Когда Колчин увидел осёдланного коня, чуть не заплакал от досады.

– Так ведь я никогда верхом не скакал.

– Ничего, и одной рукой удержишься за меня, – Виссарион вскочил в седло, монахи помогли Колчину устроиться за ним.

Алексей обнял Вису правой рукой, со всей силы вцепившись в его одежду. И конь тронулся.

Псоглавец гнал коня сквозь чашу, ветки безжалостно хлестали почтальона по голове и спине, лицо он прятал за спиной Висы.

Скакали порой по тракту, порой по лесу, а порой едва пробирались сквозь валежник. Виса выбирал дорогу, чтобы никто не попался на пути.

И лишь когда Алексей совсем обессилел и стал терять сознание от неудобной позы, Виссарион остановил коня и помог спуститься Колчину.

– Всё. Отдохни малость. А дальше – пешком. Что людям сказать, тебя Иоанн научил. Не увидимся больше. Встреч с нами не ищи.

Псоглавец вскочил на коня и исчез из виду, словно и не было никого.

Почтальон сидел на холодной обочине и как околдованный слушал многоголосую тишину леса. Она неуловимо звенела и состояла из множества чуть слышных и совсем почти неслышимых приятных уху звуков. К ним добавилось что-то совсем другое, приближающееся и звонкое.

– Колокольчик! – обрадовался Колчин.

Удивлённый ямщик притормозил коней возле человека в форме почтальона.

Алексей вздохнул полной грудью. Он возвращался из другого мира в прежнюю жизнь, полную забот и тревог, но такую желанную сейчас.

Дома было столько радости! Ведь Алексея считали убитым двадцать дней! Долгих и чёрных, как ночь без луны.

Первое, что сделал Алексей, попав домой, – повесил на шею Анютке иконку, подаренную Виссарионом. Псоглавец не зря торопил Колчина, дочке несколько раз становилось очень плохо в эти дни. Травы от Иоанна и образок сделали чудо, в которое он поверил ещё в скиту. Девочка не испугалась изображения Христофора-псоглавца на образке, наоборот, гладила иконку и ласково шептала:

– Собачка! Хорошая!

Анютка быстро поправилась. Перестала заикаться и падать. Приступы больше не повторялись. И, на удивление всей улице, вдруг полюбила собак. Без страха подходила и к маленьким шумным собачонкам, и к огромным сторожевым псам. И они никогда на неё не лаяли, а наоборот, ласкались и защищали.

На службе удивления было тоже немало. Алексей узнал, что следом за ним в Семёнов по служебной надобности мчались на почтовых судебные следователи из Нижнего. Они и застали на дороге страшную картину: возле тревожно храпящих коней – зарубленного ямщика, одного застреленного разбойника и ещё трёх, загрызенных неведомым зверем. Как всегда, списали это на волков, надо же хоть как-то объяснить непонятное происшествие. Нашли брошенный почтальоном пистолет, нетронутый сундук с деньгами в тарантасе. Почтальона долго искали, прочёсывали лес, но без результата.

Алексей объяснил своё исчезновение тем, что убежал со страху от погони с тяжёлой раной, потом долго был в беспамятстве, что выходил его старый охотник на займке в лесу.

Следователи и доктор, осмотрев раненую руку Колчина, долго удивлялись и качали головами.

– Удивительно! До кости разрублена, а уже и рана затянулась, и рука действует! Вы счастличик, батенька!

Так что почтальона за полученное ранение и сохранённые казённые деньги повысили в звании и наградили деньгами.

Жизнь налаживалась. Происшествие на Семёновском тракте уходило в прошлое, но не забывалось. Да и глубокий шрам на руке напоминал

о нём то и дело. Только теперь понял Алексей, о чём предупреждал старец Иоанн. Молчать о случившемся и впрямь было тяжело. Испышание, испытание непростое. Но выдержал Колчин. Сдержал свою клятву. Никому не проболтался про скит, его обитателей и хранителя.

На следующее лето привели Алексея дела служебные в Городец, потом в село Сухарёнки. Время позволяло, зашёл он в Егорьевский храм. И замер возле иконостаса. Нигде, кроме скита, и крошечных образков, доставшихся от Висы, не видел он такой иконы святого Христофора. С образа глядел на почтальона Виссарион, как с натуры списанный. Колчин решил, что это знак. Раз в скит ему дороги нет, сюда будет приезжать. С тех пор раза два-три в год приезжал Колчин с семейством на службу в Сухарёнки, у иконы Псоглавца Христофора молился, благодарил за чудесное спасение своё и дочери, иногда просил или спрашивал псоглавца о чём-то важном для себя.

И казалось Алексею, что он слышит ответ в своей голове. А может, и не казалось вовсе?

Он прислушивался к этому мысленному совету.

И чудеса продолжали случаться, принося удачу и радость. Ведь чудеса противоречат не природе, а нашим знаниям о ней. Чудо случается, если в него верят.

Поэзия

Марина ТАРАСОВА

Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Москве. Окончила Московский полиграфический институт, редакторское отделение. Работала библиографом в иностранном отделе Ленинской библиотеки, редактором в АПН (в редакции стран Латинской Америки), редактором в издательстве «Современник».

Автор десятка книг поэзии и прозы, многочисленных публикаций в журналах и антологиях. Живет в Москве.

...А В АНАМНЕЗЕ ТОЛЬКО СТИХИ

Баллада об аномальной зоне

Ю. Б.

Мы с тобой аномальная зона,
там, где выдох, там пламенный вздох,
из глазниц золотого бизона
выпьем влагу ушедших эпох.

Обитаем в расщелине мира...
отдыхает кудрявый Язон;
караваны с планеты Нибиру
источали предательский звон,

чтоб рассечь слитки нашего света –
то ли весть, то ли сладкая месть –
обобратить малолетку-планету
и домой золотишко увезть.

Надо мною огромные шершни
совершают угрюмый полет,
тянут лапы в космической шерсти
все мутанты родимых болот.

В камышах незаметный кузнечик,
хакер в хаки – он код отыскал!
Что ведет в главный Банк, в Бесконечность,
ну а проще – в Начало Начал.

Да, мы точно с тобой аномалы,
но коллекции нужен засов –

ледяным изваяньям Ямала
и горынычам пермских лесов.

А душа превращается в купол
в ледяных сквозняках декабря,
разрастается в снежную купу
древа зла и крутого добра.

Шелестящие годы как травы,
как сводила мне скулы любовь!
Разоренные годы как травмы,
злая сырость холодных углов...

Не жила по-людски, и в расплате
захлебнется моя голова.
Всё стучит по стволу серый дятел,
а в анамнезе только слова.

Будет некому сжечь мое тело,
не считайте чужие грехи!
А в душе только ласточка пела,
а в анамнезе только стихи.

Лыков лес

Порубали парубки утром Лыков лес,
что вонзился елками в решето небес;
не укроет парочку – как же не укрыть?
Исхлестает ветками, может зашибить,
обрушая дерево на головы им,
обдувая молодость ветром ледяным.
Что за наказание этот Лыков лес,
пусть бы весь он выгорел, хоть бы он исчез!
Как же грешны люди, доля их лиха,
но и на природе тоже тень греха.
Будто бы не видят в горести своей
черное, косматое в глубине ветвей:
глазовина круглая, черная, как ноль,
там одно отчаянье, там любовь и боль.
С этим неприкаянным духом темноты
невозможно бражку пить или быть «на ты»,
длинными лопатами руки у него,
и не могут парубки сделать ничего.

Ковернино

Ю. У.

Мне уже не быть в Ковернино,
не залезешь к прошлому в карман,
в памяти не вырубешь окно,
до небес дотянется бурьян.

А какой в Ковернино рассвет,
словно лики розовых икон,
дышит полной грудью бересклет,
где упавшей звездочки пеон,
белый, сахарный, такой ручной,
как яичко, россыпь птичьих снов,
там омыто все живой водой,
благодатным таинством лесов.
Как он был похож на вольный храм,
деревенский город на холмах,
там на курьих сказочных ногах
для тоски и горести шлагбаум.
Как они теперь – твои друзья?
В скудных буднях растеряли пыл?
Ни один не выбился в князья,
так и тянут лямку до могил.
Разбежится синяя река,
на ракиту сядет богомол,
жизнь, она порою и сладка,
только грубый у нее помол.
Темный норов и крутой замес,
ей бы все сломать, перекроить!
Туча камнем падает на лес,
надо жить, но как же трудно жить...
Мне уже не быть в Ковернино,
далеко, да и не хватит сил.
В памяти не вырубешь окно,
как царь Петр в Европу прорубил.
Было мне привольно и светло
и не страшно собственных шагов;
задержи в своих руках весло,
мы опять плывем без берегов.
Может, потому сбывались сны,
что приснились слюдяной сове?
Под зеленой маковкой луны
голова приникла к голове.

* * *

Только плавники и крылья
и лишающая сна,
в белой соли, словно в мыле,
одичавшая волна.

Только глиняные боги
с детской правдой на губах,
те жемчужные дороги,
что петляют в облаках.

В даль веков плыла бы с ними
на фелюге расписной,
с вечной нимфой, с ярким нимбом,
с нежной арфой под рукой.

* * *

Я орхидею посадил...

Ли Бо

Невозможно орхидею посадить на пустыре,
невозможно брадобрею прокатиться на ковре –

на волшебном самолете, чьи движенья так легки,
испокон на нем летали гении и дураки.

О цветок с прохладной плотью, ты скорей похож на плод,
теплый дождь тебя питает, а еще – большой уход.

Ты похож на иероглиф тонкой вязью лепестков,
на жемчужные наитья недописанных стихов.

Влажный ветер колыхает вертолетиком осу,
пьет Ли Бо вино из кубка, из цветка он пьет росу.

* * *

О. Хлебникову

Мы долго набирали спелость
и перезрели в пойме лет,
а ценят не любовь и смелость,
а безлимитный Интернет.

Теперь не жду, что по старинке
друзья заявятся гурьбой,
теперь все чаще на поминках
душа встречается с душой.

Еще немного, и о лете
напомнит дождик проливной,
нелепа, как суфлер в балете,
смотрю на шарик надувной.

Нельзя уже мечтать о многом,
о том, чего не напишу,
и попрошайкой быть у Бога,
но что-нибудь да попрошу.

* * *

Весенние ночи с холодным поддувом,
недвижны дома, как большие лари,
себя ощущаешь коричневым дубом
среди молодой неокрепшей листвы.

...Кот ходит под дубом, как песнь о солдате,
горит его шерсть от витка до витка,

и стрелки усов на лице-циферблате
с трудом отмеряют года и века.

Он ходит среди желудей прошлогодних
и сам ненароком слагает стихи,
кровит его шея кошачьим исподним,
где светятся золотом звенья строки.

Смерть

Скорей! Разминуться б со «Скорой» –
зачем ей встречаться с врачом?
Она ведь оставила споры
в подъезде и лифте чужом.

В какой-то немислимой шляпе –
в прихожей взяла на бегу –
и губы, забытые кляпом,
как в клипе, в летящем снегу.

От снега несет валидолом,
ей тесно в пространстве пустом.
Но что это? Кажется, школа.
Ну, школу пока обойдем.

Пробраться б за все эти шторы,
там сонмище заспанных лиц.
Рассвет петушиную шпору
ей тычет в провалы глазниц.

В нелепой панаме с помпоном,
раздав леденящий свой пыл...

– Ты что так торопишься, клоун? –
Мальчишка-прогульщик спросил.

Любовь

И ты опять встречаешь электричку,
в холодный вечер вышел налегке,
так терпеливо ожидали бричку
с кудлатым кучером на облучке.

И нет обиды в пустоте осенней,
и гнева нет за ложь и неприезд,
лишь бешеный аккорд сердцебиенья,
летающий поезду наперерез.

Пейзаж с ангелом

...где проступает новый век
в язычестве лесов и свалок,

где каждый так велик и жалок,
как может только человек,
где в углублениях асфальт
похожий на древесный уголь,
где ангел, потерявший альт,
как золотой небесный рубль.

Русский декаданс

Эта леди в брючном костюме
с папиросой черной у губ
промелькнет в Пассаже и в ЦУМе,
отражаясь в трюме, как в трюме
под неслышную музыку труб.

В том подвале просторного века,
из которого трудно уйти,
где танцует скрипичная дека
нагишом, де-каданс во плоти.

Эта дама хранит в ридикюле
портсигар и серебряный шприц,
у подъезда ее караулит
на цепочку привязанный шпиц.

И когда подойдет к изголовью
в ореоле своей красоты,
не почувствуешь страха и боли
у последней кромешной черты.

Под холеной, холодной рукою
все утихнет, исчезнет, пройдет.
жизнь покажется дымной рекою,
уходящей под меркнувший лед.

Русская танка

Белая строка
засветилась на стекле
нитью жемчуга.

Новая Ахматова
этим утром родилась.

Никита БРАГИН

Родился в 1956 году в Москве. Окончил геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института РАН (Москва).

Автор одиннадцати сборников стихов, лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина (2018), Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» (2019), конкурса «Преодоление» МГО СП России (2020).

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

...И ВЕЧНЫЙ ВЗОР ИЗ КРАСНОГО УГЛА

Высокий штиль

Не в моде в наши дни «высокий штиль»,
его клещами рвут, болгаркой режут,
его усердно топчут по-медвежьи,
и, раздробив, перетирают в пыль.

Взамен – перелицованный утиль,
шансон убогий да жаргон несвежий,
бесстыжий рэп и клиповая нежить,
и замурённый стиль для простофиль.

Как хочется ответить на такое
без гнева и без криков наобум
негромкой, но уверенной строкою,

где был бы чист и ненавязчив ум
и тихий дух высокого покоя
звучал слышнее, чем базарный шум.

В деревне

И все-таки, что делать нам в деревне?
Ходить в соседний двор за молоком,
по солнцу жить, расстаться со звонком,
дожди и холод принимать душевно?

Прийти к доярке в поисках царевны
и притвориться, что давно знаком,
по стопке выпить с каждым стариком,
премудростью обогащаясь древней?

Вещать и просвещать, вживаясь в роль?
В согласии с передовым ученьем
поверить, что ругательство – пароль
и шибболет бесспорного значенья?

Нет. Просто вспомнить вековую боль
и поклониться, попросив прощенья.

Песок

Обычный сахар назови песком
и жизнь свою представь струей сыпучей,
где малая крупинка – целый случай,
а целый год – как ложка над мешком.

Вкус времени так дорог, так знаком,
как память детства, как подарок лучший
на день рожденья, как звезда над тучей,
как яхонт, берегомый под замком.

Я пью из родника воспоминаний
одну печаль, но с первого глотка
она всё мягче, холодней, туманней.

Так лёгкий снег припорошит слегка
безмолвие полей на зорьке ранней,
и дремлет даль, светла и высока.

* * *

Как вода ключевая
сочится сквозь льдистые трещины,
чтобы к свету дневному
из чёрной взойти глубины;
как сквозь сумраки лет
вспоминаешь любимую женщину,
чтобы знать, что навеки
мы рядом и мы влюблены.

Как бескрайность дорог
и томит, и взывает, и грезится,
чтобы душу обнять
и к пустыням тебя увести;
как смирения путь
к небесам поднимается лестницей,
чтобы отдан был долг
и проснулось простое «прости».

Как мелодию неба
рождает разбуженный колокол,
чтобы слышал родное
забывший гармонию слух;

как рассветная тишь
обливается кровью и золотом,
чтобы солнце будил
на плетень залетевший петух.

Как сквозь хаос идёшь,
сквозь пустых пересудов сумятицу,
чтобы крепость креста
воздвигать на скрещеньях дорог;
как из стройных стволов
выбираешь надёжную матицу,
чтобы храма шатёр
лихолетие выстоять мог.

Как тропинку домой
узнаёшь по листьям подорожника,
чтобы тихо пройти
к стародавним сосновым венцам;
как в глуши городской
продолжаешь искать невозможное,
чтобы мыслью лететь
между рек молока и свинца.

И как ветром с полей
долетает дыхание колоса,
чтобы сердца коснуться,
вверяя любовь и покой,
так и слово живёт,
и всегда воплощается голосом –
от набатного грома
до песни простой.

* * *

Угасание дня,
увядание солнечных листьев,
бескорыстная щедрость
златых и румяных деревьев,
а по небу летят
облаков серебристые кисти,
и склоняется солнце,
ладони зари обогрев.

Вот бы в дальнюю даль
улететь, ускользя от мрака
на крылах у зари,
в алых перьях, медовом пуху...
Там слова самородны,
и каждая строчка – оракул,
и цветы под ногами,
и синие звёзды – вверху!

Замечтаешься так –
и внезапно ни света, ни звука,
лишь чернильная ночь
неподвижно стоит под окном.
Лампа, столик, тетрадь,
философия, вера, наука,
и любовь, и печаль,
и анапеста метроном.

Метельным вечером

Лизнул огонь трескучие поленья,
кирпичным жаром задышала печь,
узор на стёклах начал слёзно течь,
и законный мир открылся зрению.

И были долгие часы творенья
в медовом свете трепетавших свеч,
и выправило золотую речь
молитвенное тихое терпенье.

И полетев, гармония взяла
к себе на крылья самое простое –
платочек, соскользнувший со стола,

пилёный сахар, блюдечко пустое
и вечный взор из красного угла,
наполненный любовью и покоем.

Дарья КНЯЗЕВА

Родилась в Воронеже. Окончила физический факультет Воронежского государственного университета, кандидат физико-математических наук, актриса «Театра равных».

Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Юность», «Подъем», Финалист (2021) и полуфиналист (2022) всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест», призер III международной поэтической премии «Фонарь» (2021), дипломант I степени конкурса «Мгинские мосты» (2022), участник различных литературных фестивалей.

Живет в Воронеже.

ВСЕ КАЧАЕТСЯ, ЗНАЕШЬ, ОТ ЗНАМЕНИ ДО КРЕСТА...

Обнуляемся

Обнуляемся.

Серая морось пылит в окно.

Снега в этом году не допросишься у зимы.

Оттого на дворе небеленое полотно,
безузорные лужи глянцево и темны...

но погодный режим не важен.

Обнуляемся.

Стрелка очертит финальный круг,

оглушают бокалы и очередь римских свеч.

Вдоль экранов остервенело поют и пьют –
пять минут –

замирая, врастают в чужую речь,

отливая чернильным блеском зрачковых скважин.

Обнуляемся

роотно под неизменный «Бом-м-м-м»...

Ворожит огонь, пузырьки поднимают взвесь.

Принимая время авансовым платежом,

уповаем на то, что запас на кредиты есть.

На неделю переходим на черепаший.

Обнуляемся.

Диво – уже удлинился день –

оползает сумрак раньше на сто секунд.

Открывая глаза в новорожденном январе,

с замиранием кроткие тихого чуда ждут.

Затухают помалу гирлянды многоэтажек.

* * *

Вечер клубится в неоновой паутине,
 Струи симфоний вплетая в бульварный гул.
 Скучная геометрия строгих линий,
 Тихая странность зловещих оконных дул...
 Город, сигналивший, громкогудящий, здравствуй!
 Свет, попадая на кожу, кипит шипя.
 Я ощущаю тебя подреберной частью
 и завещаю распутицу февраля
 каждому, кто, выходя под густое небо,
 голову запрокинув, врезался в мглу
 и, отпружинив трогательно нелепо,
 падал обратно.
 Роздано по рублю,
 и по серьгам сестрам – без суда и спроса
 это наследство. Размазано по шоссе.
 Фуры его в заповедную даль увозят,
 в лоно проселков, где вечер исконно сер.
 Мы же стоим посреди выхлопного чада,
 люменами реклам опалив глаза,
 нам ничего не надо,
 только стоянье рядом
 и смотровой площадки
 взлетная полоса.

* * *

Все качается, знаешь, от знамени до креста.
 Все кончается даже у тех, кто живет до ста.
 От сухого куста не останется и листа...
 Растекаются лица, расплзается пустота
 ядовитым газом.
 Превращаются планы в тонкий свечной дымок.
 Ни терпенья, ни мужества не заготовить впрок –
 пусть в конечном итоге каждый не одинок
 оказался бы по желанию, если б смог,
 узелок развязан.
 И последний развязан, и прежние все узлы.
 Расставания преждевременные тяжелы.
 Но по пеплу мостов разбросанные угли
 указуют отчетливо сухо – не сберегли.
 Да и поздно плакать.
 Между тем по проталинам бесится детвора,
 утомительно неиссякаема и пестра,
 посылает безоговорочное «ура»
 в сердцевину седого облачного нутра,
 в кучевую мякоть.
 Посмотри на этих зверенышей, посмотри!
 Не сокрыто от них ни одной потайной двери,
 их куда-то уносят юни и декабри,
 чтоб в измотанных клонов по кальке перекрыть
 и огня не стало.

Где-то должен быть камень шлифованный, путевой,
у которого время натянуто тетивой,
чтоб в обратную сторону к станции нулевой,
заглушая считалкой густой энтропийный вой,
увистать в начало.

Звездолет

февраля назойливые мухи
мельтешат в окружье фонаря
коченеют руки тонут звуки
расплетая гомон по ролям
нехотя вращается Земля
кажется совсем заледенела
и замедлив новый оборот
равнодушно в космосе плывет
распыляя споры взвеси белой
безымянный сонный звездолет

вихри галактической поземки
Млечный путь растянут за рукав
пышный ворох невесомой крошки
вечность вырезает на трудах
и на смуглых слюдяный окошках
вьет миров спиральные узоры

незаметно катятся века
лед расколот прорубь глубока
в толще беспредельного пространства
если сквозь нее перенырнуть
отыскать другой Кисельный путь
с холодом возможно распрощаться
но ведет планету снежный дрейф
мы на ней посажены на клей
бегство непосильная затея
скроемся в квартирах щелкнем газ
перепало каждому из нас
жалкое наследство Прометея
а когда истает этот сон
мы опять окажемся вдвоем
и глаза отвыкшие от солнца
несинхронно станем протирать
и закрыв февральскую тетрадь
небо акварелью разойдется

Первый

1

пока он выходил на свой невозможный взлет,
женщины где-то развешивали белье,

в звонкую синь, наполненную до краев,
 из-под руки глядели.
 ничто не предвещало ни радости ни беды
 посреди недели.
 и никто не думал о нем,
 не знал о нем.
 а когда возвратившись из мертвенной темноты,
 полубогом ступил на твердь литосферной плиты,
 две нездешние сапфировые звезды
 из-под смуглого лба горели.
 и его, сопричастного чуду и высоте,
 принимали в объятья ликующие сыны
 по широкой суше раскинувшейся страны
 и всей планеты.
 он был первым.
 навсегда первым
 измочаленным вымпелом веры в великий ход
 за пределы озоновой толщи, сквозь вышний свод
 к никому не доступной, но сокровенной цели.
 а сам он всего-то еще раз хотел туда,
 где лаковый бок затягивает вода,
 а черный проем заполняет густая россыпь –
 в его космос.

2

звездным принцем чеканно вошел в историю,
 молодостью на бессмертие опечатанный.
 от мечты об изнанке неба навек оторванный,
 в последнем рывке отчаянном
 похоронен под грудями каменно-
 металлической памяти.

Вода

1. изнутри

мы проникаем в толщу языка
 в грунтовое впадая пол(н)оводье
 простывшая могучая река
 притоки распускает не по моде –
 местоимения без места и родства
 и каждое коверкает слова
 и не имеет очевидной цели
 и всяко неимение болит
 и текстом истекает текстолит
 слоеного лексического тела
 мы простуаем солью из-под век
 по капиллярам тянемся наверх
 и через все что ведомо природе
 так длится несвященная война
 за голос за печатные тома

за дырами отделанный карман
за краткий вдох живого кислорода
твоя вода растапливает снег
моя вода уходит по весне
иной свое течение скрывает
но водных вен больная худоба
пронзительно и остро голуба
и торный путь и топкая тропа
над нами зарастают письменами

2. снаружи

гуляют безмятежно по воде
в упругой полукруглой темноте
где тени отсекаются от тел
счастливые и тихие не те
не те кто разбивается о быт
не те кто неоправданно забыт
и колокол по ним не зазвонит
поскольку возле колоколен нет
поскольку выбирая тишину
они держали норму на кону
подкову не пытались разогнуть
и не велись на гиблую блесну
не веря ни в одну из редких птиц
кормили осязаемых синиц
с руки в мороз снимая рукавицы
не думая о холоде ничуть
покуда многочисленные те
дома растили строили детей
стреляли журавлей искали цель
срывая одиночество с петель
не тем почти не оставалось тем
и закатав повыше рукава
не расточая смыслы на слова
житейские вращая жернова
встречали неминуемый предел
исконная вела их тишина
без ропота без рокота без дна
исконная объяла их вода
и ласковая темная волна
укрыла уравнила вознесла

Арсений ГОНЧУКОВ

Родился в 1979 году в Горьком. Окончил Нижегородский университет по специальности «филология» и Школу кино при Высшей школе экономики (мастерская игрового кино А. Фенченко) в Москве.

Работал водителем, дворником, фотокорреспондентом; репортером, ведущим новостей, автором и шеф-редактором телепрограмм, замдиректора отдела новостей на телевидении (ТК «Волга», ГТРК «Русь»); вторым режиссером многосерийного художественного фильма «Синдром дракона» («Первый канал»); корреспондентом в горячих точках. Автор сценариев, режиссер-постановщик и продюсер полнометражных художественных фильмов, а также первого в России веб-сериала «Район тьмы». Лауреат сценарных и драматургических конкурсов.

Рассказы, стихи, пьесы и эссе публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Воздух», «Новый берег», «Искусство кино», «Современная драматургия», в «Литературной газете» и других изданиях. Автор двух книг: «Как снять кино без денег» (Эксмо, 2019), выдержавшей два тиража, и поэтического сборника «Отчаянное рождество» (2003). обладатель специального приза литературной премии «MyPrize». Живет в Москве.

СМОТРИТЕ, ЭТО УХАНЬ

Смотрите, это Ухань. Город в центре Китая. Ничего особенного, город как город, в меру красивый, в меру богатый. Густонаселенный, здесь живут двенадцать миллионов человек, как в Москве. Ухань, конечно, не столица, но все здесь есть. И достопримечательности: похожая на сложенные штабелями индейские лодки Башня белого журавля. И озера с мутноватой, под малахит, светло-зеленой водой, поросшие по краям водных залысин редкой стыдливой травкой. Небоскребы есть, отливающие, как солнечные очки, синей сталью слепых многосерийных окон. Бедные районы тоже имеются: там обшарпанные столбы, о которые трутся машины, там тротуары составлены из кусочков, как из ломаного печенья, там плесень на отсыревших подпалинах стен домов, там летает мусор, пакеты, драные вафельные коробки, цепляясь за колеса пыльных ящеров-мопедов, а если свернуть в переулок, где небо перетянута многожильными лианами черных, толстых и тонких проводов, то чтобы пропустить велосипедиста – не растеряйтесь – там нужно повернуться боком.

В центре города, неподалеку от вокзала Ханькоу, раскинулся продуктовый рынок, и запах обозначает его лучше любой геолокации. Снару-

жи ничего интересного: синий забор с голубыми столбами, синий же козырек у стены двухэтажного здания грязно-бежевого цвета, где внутри когда-то лентами убегали в перспективу пестрые наклонные лотки с настолько разнообразной снедью – еще недавно летавшей, бегавшей, ползавшей, плававшей – что, если задаться целью выяснить поименно всех живых существ, продающихся здесь, придется взять с собой полную энциклопедию животного мира. Конечно, никто так утруждаться не станет, а потому не исключено, что в недрах рынка прячутся один-два неизвестных науке вида. Впрочем, сейчас рынок закрыт.

Из центра Ухани движемся на окраину. У широкой трассы, прямо как в некоторых местах на МКАДе в Москве, сидят люди в ожидании работы. Видимо, сюда приезжают рекрутеры набирать бригады, но кого, куда? На желтых, зеленых, бело-синих ведерках из-под строительных смесей, красок и мастик сидят по большей части среднего возраста женщины в джинсах, пестрых трикотажных штанах, в белых, черных, красных, лиловых футболках. Кто-то сидит в телефоне, кто-то смотрит на тех, кто сидит в телефоне. На балконе в доме за ними развешаны огромные белые, наверное стариковские, штаны, бледно-зеленое покрывало, верх которого уже подсох, но вода скопилась по нижнему краю. Под домом на неряшливой придорожной витрине человеческих услуг в разных позах сидят мужчины. Они будто спрятались за женщинами, их меньше, но они заметны: вот у одного скрещенные руки удобно лежат на животе, а на голове красным клювом торчит бейсболка, другой сидит на ведерке, как огромное насекомое расставив в стороны худые в серых трико ноги, а рядом, свернув набок круглый нос колеса, стоит его гордость – глубокого рубинового цвета забрызганный грязью мопед с набитой разноцветными тряпками балкончиком-корзинкой на руле.

Центральные дороги в Ухани хороши даже в плохих районах: желтая разметка, почему-то кажущаяся американизмом, жирное крупное зерно асфальта, напоминающее покрытие в Москве. Велосипедов на улицах действительно много, их насекомая, хрупкая, остро блестящая мелочь сверкает на солнце, грудится металлической путаницей вдоль дорог. Это Азия. Мопедно-велосипедный мир. Забавно, что почти весь легкий транспорт одних и тех же цветов – небесно-голубого, почти бирюзового, сочного желтого, кукурузного, красный, синий и белый тоже встречаются, но реже. Замечаю, что излюбленный цвет зданий, не небоскребов, а жилых оштукатуренных домов, а также балконов, заборов, административных построек – как бы его точнее схватить – грязно-бежевый, светло-коричневый, глинистый с легчайшим оттенком красного. Возможно, как в Советском Союзе все подряд красили в зеленое, потому что краску такую для оборонки выпускали с запасом, так и тут, как вариант, в окрестностях много глины, краска выходит дешевой, и вот, город имеет собственный цвет. Который, к слову, глазу приятен.

Покидаем быстро бегущий, стремительный широкий центр и теряемся в одном из уютных кармашков безразмерного города. Здесь, на тенистых под пышными шапками листьев улочках янтарно-призывно светятся забегаловки с огромными жирными цветками иероглифов на вывесках, одинаковых для незнающего языка. Разноцветные иероглифы, как жуки разных видов, сидят рядком на лбах кафешек, а внизу застыли змеи пестрых очередей и внимательные китайцы стоят за лапшой, погруженной в темный бульон, из которого торчат бело-зеленые спинки побегов молодого лука. Впрочем, чего только не выловишь гимнастками-палочками из болотца соевого бульона или, если это удон,

чего только не раскопаешь в морепродуктах и овощах, густо покрытых, как карамелью, ароматным соусом терияки.

Запах мяса и пряностей. Здесь и остановимся. Тем более вечерет. Четыре освещенных кафешки в ряд. Первая слева, к нам ближе всего, без дверей, с широким проходом внутрь, где стоят баки и котлы и, наверное, плита с открытым огнем для вока. Прямо же перед нами, на переднем плане, на широком темно-сером тротуаре, несколько разноцветных (коричневый, голубой, белый) столиков для тех, кто хочет поужинать тут же, сесть с друзьями, глотнуть пива под горячую щекочущую лапшичку или пристроиться рядом с незнакомым человеком, улыбнувшись, поздоровавшись и затем стараясь не смотреть в его тарелку. На столах круглые одноразовые супницы с красными боками и желтыми кляксами иероглифов или белые с синими надписями, зеленые башенки рисового пива, лимонад, приодетый во что-то стеклянное, желтое, – кафешек несколько, все берут разное. Около столов зеленые и красные, штампованные, по форме – четырехгранные усеченные конусы – табуретки, на которых сидеть низко, но на перекус сгодится. Тут же лежат какие-то рюкзаки и сумки, и ближе к дороге стоят мопеды, понунив безобидные рога с циклопами белесыми глазами спидометров между ними.

Бросается в глаза, что полных людей за столами немного, ну разве что вот этот мужчина, сидящий ко мне боком, в бело-фиолетовой в мелкую горизонтальную полоску футболке, он прямо держит перед собой руку, доставая сомкнутыми палочками пук лапши из тарелки, и сейчас отправит это захваченное горячее калорийное в объемистый бочонок живота, перетянутый снизу ремнем, от которого к вечеру на коже остается лиловый следок. Лицо мужика закрыто лаптем зеркала мопеда, стоящего между нами, и в зеркале отражается припаркованный у дороги справа белый бок чисто вымытого кроссовера.

Слышу, как вьется над столиками неспешная, юркая, переливчатая, как блестящая ленточка на ветру, мелодичная китайская речь: мяу-тау-цау-яу-мяу-хау – и так до бесконечности. То ли звук старого радио, когда ищут нужную частоту, то ли музыка извивающейся пилы, то ли дерганье маленькой, никак не рвущейся резинки – не поймешь, и когда впервые слышишь китайский язык, не веришь, что им можно передавать информацию.

Напротив полного полосатого с зеркалом вместо лица парня, тянущего палочками из болотца травяную кочку лапши, уселся, выпятив зад и уткнув локоть в колено, мужчина лет тридцати. Он в белой футболке и в белых, как будто снежных, с заметными на свету неровностями джинсах. Он тоже держит в руке палочки и, судя по всему, жует, но мы этого не видим: он отвернулся, и вместо затылка у него глухое черное пятно, сливающееся со стойкой кухни кафе на заднем плане. Теперь посмотрим на соседний столик, чуть правее по кадру и глубже по перспективе, за ним сидят четверо – резко обернувшаяся к дороге, вскинувшая от неожиданности брови и приоткрывшая рот молодая круглолицая женщина в черном платье с открытыми пухлыми плечами, по ее спине диагонально тянется лямка сумки, видимо, лежащей на коленях. В глубине, слева от нее, лысый с шарообразной головой мужчина в небесно-голубой футболке, он смотрит на затылок отвернувшейся женщины, одновременно, судя по искривленному рту, напряженно вытаскивая языком застрявшую в зубах пищу. Справа, боком и спиной к нам, сидит высокий и потому неудобно сложенный и тоже уткнувшийся в колено локоть мужчина с темной густой шевелюрой, рядом с которым, по квадра-

ту стола, значит, напротив женщины, – притулился маленький пожилой человечек в очках с толстой нынче модной черной оправой (как роговая оправа в Советах шестидесятых), у него тоже густые черные волосы, но на макушке, еле заметно с такого расстояния, притаился и поблескивает тонкий островок проплешинки. Чуть правее и глубже за ними еще один стол, из-за которого тюленем торчит и смотрит в нашу сторону одинокий полноватый очкастый мужчина в широкой оранжевой майке. Он поджал губы, как будто мы стоим у доски, а он, строгий учитель, видит, что уравнение решено неправильно. Рядом с ним и за ним справа стоит новенький мотороллер, бело-бежевый, гордый, изящный, как водоплавающая птица с сильной и гладкой шеей. За ним, за оранжевым, еще один столик, где уселась зрелая пара – мужчина в желтом, женщина в черном, а между ними, кажется, девушка с ребенком на руках. Их уже плохо видно с нашей точки, вдалеке люди превращаются в месиво красок и тел, в пестрое нагромождение цветных комьев. Дальше кафе и кафе, очереди, тротуары, столики, люди – ты это не столько видишь, сколько знаешь, а видишь совсем неразборчивый винегрет.

Желтый золотистый огонь кафешек горит, пышет, стекает с потолков, разливаясь по асфальту, все ярче с наступлением вечера окрашивая стволы караулящих у дороги деревьев. Вечер заостряет краски, проливает фиолетовыми тенями углы, бордюры, отсыревшие стены кафе... А наверху все сильнее отпечатываются в воздухе иероглифы горящих вывесок, и у меня даже предположений нет, какие могут быть у этих кафе названия.

Смотрите, это Ухань. Здесь зародился, отсюда вышел вирус, охвативший всю планету. Вирус, от которого умерли миллионы... А сколько еще умрет... Я все утро сижу перед ноутбуком и смотрю на случайную фотографию, сделанную на неизвестной улочке города Ухань, и все вглядываюсь, вглядываюсь, рассматриваю...

Мне то и дело кажется, что я напрягусь и вот-вот увижу человека, который начал все это – эпидемию, заражение всей планеты. Не знаю, поймал и убил ту самую злополучную летучую мышь, или купил и отведать ее на рынке, или, чего тоже никто на данный момент не исключает, уронил пробирку в секретной лаборатории по разработке биологического оружия. Хотя, говорят, для заражения там хватает, даже если человек просто снял от усталости маску и один раз вдохнул... Кто он? Где он? Как его зовут, как он выглядит, этот человек, нулевой пациент, губитель мира, этот, простите, самый массовый убийца после Гитлера?

Может быть, он умер. А может, стоит вон там, в очереди, перед чанами и сковородками. Или сидит за столиком, и это наш фиолетовый мужик с животиком. А может быть, напротив него, в белом? Или лысый в голубом? Или рослый, или плешивый за столиком с женщиной... Или женщина, что обернулась к дороге и приоткрыла рот. Может, она боится чего-то, подозревает? Или оранжевый тюлень с требовательно поджатой губой. Или он где-то за ним, вон там, на аллее чуть дальше, покупает мороженое...

Или, может быть, этот первый начавший катастрофу, нажавший опаснейшую скрытую кнопку мира, ударивший молоточком в ту самую точку концентрации напряжений, которая, как говорят, есть у любого самого прочного стекла, и оно разлетелось вдребезги – может быть, он сидит за рулем белой, отразившейся в зеркале-лице фиолетового толстяка, машины?

Или, может быть, он держит фотоаппарат и делает это фото.

Павел ТУЖИЛКИН

Родился в 1953 году в селе Плюхине Горьковской области. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт. Работал инспектором отдела гражданской обороны, военным руководителем в школе, секретарем городского комитета ВЛКСМ, начальником отдела администрации города Сарова.

Публиковался в журналах «Роман-журнал XXI век», «Крокодил», «Нижний Новгород», ряде других изданий. Автор сборников стихов и прозы.

Лауреат национальной премии Союза писателей России «Имперская культура» за роман-предположение «Пламенный» о жизни Серафима Саровского (2011). Награжден золотой медалью «Василий Шукшин» (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Сарове.

УМНИК

Выехали, как всегда, затемно. «Нива»-трехдверка шустро катила по заснеженной, но хорошо очищенной дороге. Зимние рыбаки Федор и Яков были бодры и радостно возбуждены. Предстоящая рыбалка манила их своими щедрыми ожиданиями и приятными предчувствиями. Сколько их было, таких рыбалок! И даже если несколько предыдущих поездок были пустыми, каждый раз мужики надеялись на чудо: уж вот сегодня будет клев – ого-го! Езды было около часа, рыбаки оживленно болтали о предстоящей рыбалке.

– На этот раз давай в Ольгином омуте попробуем, – басил Федор, крепко держа огромными лапищами руль потрепанного рыбацкого автомобиля. – Там, говорят, судак на зимовку спрятался.

Федор был отставным полковником, крепким, могучим, с квадратной головой и брежневскими бровями. Его командирский голос не давал собеседнику шансов возражать: если полковник сказал – так и будет.

Но не таким был Яков, чтобы подчиняться каким-то там отставным воякам. Он был щуплым, щедушным, с яйцевидной небольшой головой и белесыми ресницами, но гонору в нем было не меньше, чем в генерале. Всю жизнь он работал преподавателем логики. Сначала в вечернем университете марксизма-ленинизма, потом, когда марксизм-ленинизм был признан лженаукой, преподавал в институте. Логика – она и в Африке логика. Без нее никуда. У Якова наблюдалось высокое самомнение. Поэтому он зачастую возражал просто из принципа.

– Нет, – пренебрежительно махнул он рукой, – на Ольгином омуте делать нечего. Там по осени, говорят, с электроудочками местные прошлись, так что просидим весь день впустую. Давай на Глухую заводь, там плотва с реки зашла – во какая! – по полкило. Мне знакомый рассказывал.

– Ну, на заводь так на заводь, – неожиданно легко согласился полковник.

В непринципиальных вопросах он уступал без серьезных возражений, чего зря воздух сотрясать. А если приятель окажется неправым и вместо жирной плотвы им на крючок попадет только пара сопливых ершишек, так будет лишний повод ехидно попрекнуть самоуверенного предсказателя. Главное в рыбалке все равно процесс! Целый день на свежем воздухе, приличные физические нагрузки, интересные беседа с приятным человеком, положительные эмоции – это все продлевает жизнь, которая неумолимо покатила к печальному концу.

Подъехать прямо к реке даже и в начале зимы всегда проблематично: снегу уже навалило много. Поэтому «Ниву» обычно оставляли в деревеньке, отстоящей от реки на полкилометра. В деревню въехали, когда небо уже посерело, убогие скворечники деревянных домишек явно выступали из сугробов, похожих на горы хлопка, какие Федор видел во время службы в Узбекистане. Водитель добавил газку: надо торопиться, пока доберешься до заводи, пока пробуришься – совсем рассветает.

– Гляди – горит! – вдруг выкрикнул Яков и указал вправо, где среди заснеженных огородов проглядывался проулок.

И точно – в конце проулка стоявшая на отшибе кривенькая избенка выбрасывала в зимние небеса клубы черного дыма. Огня не было видно, но сомнений не оставалось – пожар!

Федор резко свернул в проулок и поддал газу. Привычная к бездорожью «Нива» виляла по едва очищенной дороге, но упорно везла рыбаков к цели.

Выскочив из машины, мужики бросились к дому по узенькой тропинке, увязая в снегу и падая от своей торопливости. Тропинка их вывела к ветхому крыльцу, что скрывался за домом. На крыльце стояла старушка в серой кофте и валенках, хлопала себя по бокам, словно всполошенная курица, и тоненьким голоском причитала:

– Господи, за что мне это? Господи, помоги... Господи, помилуй!

– Бабка, кто в доме остался? – крикнул решительный и готовый к действиям полковник.

– Васька, – плаксиво откликнулась бабка.

– Кто это? – резко спросил Федор. – Муж, сын, внук?

– Ко-от, – ответила погорелица и залилась слезами.

– Тьфу ты! – чертыхнулся Федор. – Я-то думал...

– Миленкий, спаси ты мне Ваську-то, как же я без него? – жалобно попросила бабка.

Федор перешагнул через сугроб, подошел к окну и ударил локтем по стеклу. Полетели осколки, бабка ахнула, из дома, словно рыжий дракон, вымахнуло пламя. Огонь, получивший доступ к воздуху, мгновенно охватил всю избу. Федор схватил старушку в охапку и побежал от дома. За ними, прикрываясь локтем от жаркого пламени, спешил Яков.

Вызвав пожарных и передав погорелицу на попечение соседей, рыбаки продолжили свой путь, живо обсуждая событие, участником которого они оказались.

– Зря ты окно разбил, – сказал Яков. – Доступ к кислороду только открыл, вот и польхнуло сразу.

– А ты что бы сделал? – сердито ответил полковник. – В избу за котом без противогаса полез? Так лез бы, сейчас бы в своем царствии небесном уже райский нектар из пивных кружекпил.

Про царствие небесное Федор сказал неслучайно. В последнее время Яков заделался верующим, что сильно раздражало полковника. Он не упустил случая, чтобы подколоть приятеля.

– Вот ты мне скажи, – спрашивал он ехидно. – Рождество Христово – это рождение человека или Бога?

– Богочеловека, – уклончиво отвечал Яков.

– Ты не финти, бог-то ведь уже был до этого?

– Был.

– Значит, родился человек?

– Ну человек, но потом он стал Богом.

– Постой, так Бог-то уже был. Их что – два стало?

– Нет, их стало трое.

– Во как! А третий-то кто же?

– Дух святой.

– Ты хоть сам-то понимаешь, что это такое?

– Нет, – честно отвечал Яков. – Но могу себе логически это объяснить.

– Это тебя твоя логика верить в Бога научила?

– Логика, конечно. Четвертый закон мышления гласит: «Мы все должны мыслить на достаточном основании». И я это основание нашел. Ты, Федя, послушай и тогда сам поймешь, что все логично.

– Ну, давай, Спиноза.

– Вот для чего атомы нужны?

– Атомы?

– Ну да, атомы. Ты чего, глухой, что ли?

– И вовсе я не глухой.

– Тогда соображай поскорее – для чего нужны атомы?

– А черт его знает.

– А нужны они, чтобы образовать молекулы. А для чего нужны молекулы?

– Для чего?

– Чтобы образовать вещество. А для чего нужно вещество?

– Вот пристал.

– А вещество нужно, чтобы образовывать космические объекты: планеты, звезды...

– А для чего нужны планеты и звезды? – включился в игру полковник.

– А для того, чтобы образовывать галактики.

– А галактики?

– Для того чтобы образовать Вселенную.

– И что?

– Так вот вопрос – а кому нужна Вселенная?

– Кому?

– Творцу! Больше никому. Вот я тебе и доказал, что Бог есть!

– Вон как выкрутил. Мудрено, но неубедительно.

Такие перепалки были частыми между друзьями.

Вот и сейчас полковник, крутя баранку, подкалывал приятеля.

– Ну, что скажешь теперь про Бога-то?

– А что я должен сказать?

– Вот за что он бабку наказал и дом у нее спалил?

– Может, она грешила много.

– Так она все грехи в церкви уж давно отмолила, поди. А он ее все равно наказал. И ведь просила она его – помоги, говорит, спаси меня, Господи. А он ей огоньку под крышу. Вон как пылало.

– Федя, у тебя в мозгах сплошной мрак, как у негра... в Африке.

– А ты не увиливай. Объясняй мне все по порядку. Я, может, тоже, как и ты, в царствие небесное хочу попасть.

– Да чего тебе объяснять-то?

– Да про все. Вот про то же царствие небесное. Ты всерьез веришь, что тебя после смерти на небесах ангелочки встретят и в рай на крыльшках отнесут?

– А почему бы мне и не верить?

– Да врешь ты все.

– Федь, ты все время все упрощаешь. Религия – это сложная субстанция.

– Сам ты станция, Яша. Скажи просто – веришь в загробную жизнь или нет!

– Верю! Но только думаю, что она гораздо сложнее, чем про нее говорят попы.

– Не любишь попов-то?

– А за что их любить-то?

– Так они же с Богом того... вась-вась... То бишь друганы. Подмажешь им – и они перед Богом за тебя словечко замолвят. Глядишь – скорородку побольше приготовит.

Федор заржал.

– А ты не боишься, что ты ошибаешься? – спросил Яков.

– В чем?

– Ну, в отношении к вере.

– Я ничего не боюсь.

– Врешь ты все. Все чего-то боятся. Верующие боятся, что жизнь после смерти есть и придется отвечать за свои земные грехи, а атеисты боятся, что там ничего нет.

– Эх, загнул.

– Тормози давай. Деревня кончилась. Дальше не проедем.

После того как запыхавшиеся рыбаки выбрались из сугробов на ровное белое покрывало заводи и пробурились под кусточком у самого берега, разговор их продолжился.

– Яш.

– Ну.

– А чего это ты на попов-то злой?

– Да... говорить не хочется.

– Ну мне-то можно сказать.

– Да ты опять ерничать начнешь.

– Да не буду я. Честное пионерское.

– Ну, слушай. Вот когда я понял, что есть в мире Творец, что именно он все это создал, и мало того – контролирует все, я начал много читать. Простудировал всю Библию, почитал всякие разъяснения и понял, что мало просто верить, надо еще участвовать в процессе этой веры: молитвы читать, креститься, причащаться, исповедоваться. Молитвы я выучил, к тому же вспомнил, что мать говорила мне о моем крещении, значит, можно было идти в церковь. Ну я и пошел. Честно отстоял всю службу, правда, не понял ничего, ну, думаю, потом привыкну, стану понимать больше. Все встали в очередь к попу, и я встал.

Он всех крестит и дает из ложечки кагор для причастия. Двигаюсь потихоньку. По сторонам посматриваю – неплохо все устроено, чистенько, приятненько, иконы там, свечи, одежды нарядные... Подхожу к попу, разеваю рот, как все, чтобы он, значит, причастил меня, «кровью Христовой». Тот уж совсем наладился мне в глотку кагорчику налить, как помощник его, подпопок, и говорит: «А этот не исповедался. Ему нельзя к причастию». Поп поглядел на меня сурово и спрашивает: «А что же ты, сын мой, не исповедался?» Ну, я как-то засмутился, что они застучали меня за этим позорным деянием: попыткой причаститься без исповедания. Я видел, конечно, что во время службы в одном углу храма все на коленях подпопку про что-то нашептывали. А тот их крестил и руку целовать давал. Я догадался, что это прихожане исповедовались, то есть о грехах своих говорили. Но я как-то не решился туда к нему сходить – чего это я чужому человеку про свои безобразия буду рассказывать, мало ли я за свою жизнь поганого натворил. Нет уж, увольте. Если бы Богу напрямую, я бы во всем признался. Тем более что он и сам все знает. А так пацану какому-то с жиденькой бородашкой душу выворачивать несолидно как-то для кандидата наук. Ну, думаю, ладно. Стерплю. «Я готов исповедоваться, батюшка, прямо сейчас», – говорю главному попу. А он мне: «А ты знаешь, что такое причастие?» Я-то, конечно, подковался к тому времени неплохо, но экзамена не сдавал никому. Помню, что причащаясь, человек как бы соединяется с Христом, выпивая его кровь и съедая частичку его тела...

– Ужас! – передернулся, Федор. – Людоедство какое-то.

– А ты не перебивай, – рассердился Яков. – Слушай дальше. Ну вот, я вроде знаю по это таинство, но мало ли что у них там на самом деле. Может, я понял что не так. Ну и говорю на всякий случай, что не знаю я сути причастия. Думаю, вот он мне сейчас все объяснит, раз батюшкой моим назвался, а меня сыном называет, и я после его разъяснения, просветленный и одухотворенный, причащусь. А потом в своей вере дальше пойду.

– А он тебя выгнал поганой метлой, – догадался Федор.

– Почти. Он мне и говорит: «Ничего про веру не знаешь, а в храм приперся. Лезут и лезут всякие. Иди Библию почитай». Вот я и ушел. И больше к попам не хожу.

Федор свалился с ящика в снег и захохотал так, что окуни подо льдом в панике порскнули кто куда. Яков не обиделся. Он понимал, что ситуация, в какую он попал, была дурацкая. Даже сам хохотнул. Над собой иногда невредно посмеяться.

Рыбалка на этот раз удалась. Плотва шла действительно крупная, жирная, увесистая. Таковую поймать одну и то большое удовольствие, а тут не менее чем по десятку оба на лед покидали. Ох, и азартная это вещь – рыбалка. Вот приподняла плотвичка кивочек удочки, а потом вниз – дерг! Рраз! Подсечка – и живая, трепещущая тяжесть натянула леску, поволокла ее в глубину. Врешь, подруга, не уйдешь. Тянет рыбак тонюсенькую лесочку между пальцев, осторожненько, мягко: коли рыбок почувял – чуть ослабил лесочку. Она между пальцев скользит, плотва выбирает длину, уходит вниз. А ослабила давление – рыбак опять подтягивает потихоньку, полегоньку, не торопясь. Вот уж в лунке балахтается красавица. Оп! – и на льду скачет, толстыми боками на солнышке поблескивает. Красота!

Но клев быстро кончается – то ли стайка маленькая подошла и ее всю выловили, то ли спугнули суетой да топаньем. Все – как в ванне,

не берет ничего. Начинают шарахаться рыбаки туда-сюда. Там пробурятся, тут пять лунок сделают – без толку. Ушла рыба.

Яков решил сходить за поворот – на чистую реку, может, там повезет. А Федор упорствует – в самый угол заводи забился, счастье рыбацкое у камышей ищет. Ага, дернул кто-то. Оп! – окунишка с мизинец, что рыбаки «матросиком», называют. Ну, хоть такая рыбка клюет, и то развлечение. Сидит Федор, «матросиков» дергает и жизнь свою вспоминает. А она у него ого-го какая бурная была. Деревенское босоное детство, раннее приобщение к тяжелому крестьянскому труду, учеба в училище, распределение в Узбекистан. А потом – и Дальний Восток, и Урал, и Подмосковье. И горячие точки не миновали. Куда только не кидала государева служба. И везде честно и добросовестно служил воин, до полковника дослужился. А вышел на пенсию – без дела тоже не сидел, в гражданскую оборону устроился, знания военные и там пригодились. Сидит, улыбается отставник – историю смешную вспомнил. Солдатик один, первогодок, водителем на бронетранспортере был. Поехали они как-то на стрельбище из части. А по пути – речка с мостом. Вот солдатик разогнался, а Федор и хлопни его по плечу – потише, мол, куда гонишь, препятствие все-таки. Солдатик обернулся – как же, командир зовет. Ну и направились они с моста, сломав ограждение. Грохнулись боком на лед, пробили его, но утонуть не утонули, мелко там оказалось, все выбрались через верхний люк благополучно. Синяков, правда, нахватали, но серьезных травм не было. Потому и наказали нестрого – свалили все на первогодка, а с него что возьмешь? А будь бы под мостом поглубже, могли бы и потонуть. И не стало бы на белом свете отставного полковника Федора Ивановича Неверина. Черт... Что-то давно Яшки не видно. На большую реку ушел, а там возле двух островов течение быстрое. Как бы в полынью не угодил...

Яков провалился сразу же, как вышел на ледяное поле реки, даже пробуриться не успел. Стремнина между островами подмыла лед, пургой припорошило прорубь, в нее и угодил горе-рыбак. Выбраться самостоятельно у Якова не хватило сил. Куртка и сапоги намокли, тянули вниз, будто сказочный водяной повис на ногах. Поначалу рыбак держался руками, потом они окоченели и перестали цепляться за скользкие края проруби. Яков впился в лед зубами, и это дало ему непродолжительную отсрочку.

Надежда была только на Творца. Господи, молил, Яков, если ты есть, то спаси меня от неминуемой гибели. Ну зачем я тебе на том свете нужен? Мне и здесь пока хорошо. Дай мне возможность полюбоваться золотым солнышком, голубым небушком, насладиться пением пташек и запахом клеверов. Неужели уж у тебя там, в раю, лучше, чем у нас?

А может, и нет никакого рая? – закралось вдруг сомнение. Может, придумали все попы да подпопики? А есть только тяжелая мерзлая земля могилы и вечная темнота. Как хорошо тем, кто без всяких сомнений верит в существование загробной жизни. Им легче умирать. А ты вроде и веришь, а вроде и сомневаешься. А что если я обманывал себя своей логикой? Нет никакого райского сада. Чушь это все. Господи, как я жить-то хочу! А ведь, наверно, и нет на свете по-настоящему верующих. Все смерти боятся. И очень боятся. И попы тоже. То есть они вроде и веруют, что их царствие небесное ждет, а тут же сомневаются. Потому и умирать не хотят, потому и берегут свою жизнь как зеницу ока. Жить! Жить! Жить!

Яков вдруг понял, что жить ему осталось не больше пяти минут – силы были на исходе. Боже мой... Всего пять минут – и его, Якова, умного и образованного человека, интеллектуала и философа, не станет на белом свете. Позади была дорога длиною в жизнь, а впереди – каких-то крошечных пять минут. Как это страшно – понять, что жизнь твоя завершилась. По привычке, приобретенной в активной и бурной молодости, а может, еще и раньше – в тягучем и слабо меняющемся детстве он надеялся на будущее. Вот-вот наступит это – и ты станешь взрослым, умным, заслуженным, уважаемым, достигнешь того или сего, завоюешь новые высоты. А для чего? Все ведь уже кончилось. Пять минут... А точнее, уже четыре с половиной. Как с этим примириться? Яков задергал руками, пытаясь опереться об лед, зацепиться за скользкие края. Без толку. Замершие ладони едва царапали мокрый снег на краю проруби, не оставляя никакой надежды на спасение.

Боже! Я не хочу на тот свет! Я хочу побыть на этом!

Яков вдруг понял, что не будет никакого того света. Холодная вода в легких, удушье, бессильное барахтанье – и всё. Темнота. Мрак. Конец суетливой, бурной и в общем-то бестолковой жизни, потраченной на добывание хлеба насущного и места под солнцем. Как же он обманулся с этой верой в царствие небесное? Он так надеялся, что даже в смерти его будет какой-то смысл. По его логике мудрые предки лучше современников владели таинством жизни, больше понимали в тонкостях существования души во вселенной. Им кто-то дал это знание, и они хранили его, передавая из поколение в поколение. И он, Яков, поверил в их мудрость, утешил себя царствием небесным, подчинил свою логику чужой сказке о бессмертии души, а теперь вот ему осталось несколько минут (три? две?) бесценной жизни, которую он не умел беречь и которой так бездарно распорядился ради килограмма «матросиков», которые никому и не нужны. Это ведь не на амбразуру, чтобы защитить Родину, не в пламя, чтобы вытащить ребенка, не в схватку с бандитами, чтобы спасти семью... Просто так... Он прерывал свою драгоценную и единственную жизнь, чтобы лично проверить ложную и абсурдную идею райской загробной жизни. Шла последняя минута, и он уже чувствовал тьму, которая подкатывала под сердце и застилала глаза.

Господи! Помоги! Господи! Помилуй! Яков закрыл глаза и застонал тоненько и страшно – шли последние секунды...

Федор вывернул из-за камышей и сразу же увидел, что стряслась беда. Он бросился вперед, на ходу соображая, как будет вытаскивать друга. Топор в машине остался, лесину нечем срубить. Ножом долго проковыряешься. Веревка... Да, в ящике моток крепкой бечевки на всякий случай всегда лежит... Держись, Яшка!

Полковник ввернул бур наполовину в лед, привязал к нему бечевку и, разматывая ее, пополз к проруби. Приблизившись, он понял, что схватиться за свободный конец бечевки Яков не сможет, ладони его, хотя и лежали на кромке льда, но были бессильно скрючены. Придется ползти до самого края. Только бы самому не провалиться. «Ничего, если и провалюсь, сил хватит, чтобы выбраться, держась за бечевку», – бормотал под нос полковник. Годы воинской закалки не прошли даром – Федор был уверен в своих силах. Подобравшись к краю проруби, полковник ухватил друга за шиворот и резко потянул на себя, одновременно подтягиваясь на туго натянутой бечевке. Яшка, хотя и отяжелел от намокшей одежды, но рывок, который сделал Федор, был

настолько силен, что тело рыбака сразу перевалило через край. Все так же подтягиваясь на бечевке, Федор волок приятеля к острову. Потом ташил его, обессиленного и почти неживого, по снегу до деревни, потом, переодев во все сухое, гнал на пределе возможности старенькой «Нивы» в город.

Яков больше не ездил на рыбалку. Потрясение было таким сильным, что он даже слышать не хотел ни о каких «матросиках». Встречаться с другом он стал в общественной бане. Там было уютно, тепло и безопасно. Сидя в буфете и потягивая пиво, они по привычке лениво препирались.

– Ну что, Яша, помог тебе твой Бог? – насмешливо спрашивал Федор.

– Помог. Я помолился – вот он меня и спас, – не очень уверенно отвечал Яков, раздирая сушеную плотвичку.

– Ха! – возмущался не очень энергично отставник. – Так это же я тебя спас, а не он. Ты что – забыл?

– Если бы не он – ты бы не успел, – задумчиво отвечал Яков.

– То есть ты хочешь сказать, что это он меня надоумил посмотреть, где ты и почему долго не возвращаешься?

– Конечно.

– Ну ты даешь! Никто меня не надоумливал, понял? Я сам забеспокоился о своем друге. Так что ты тут мистику свою не разводи.

– Это не мистика, Федя, а реальность. Бог есть, и все тут. Жаль вот только, что верую я неправильно.

– Как это?

– Ну не от души, а от разума. Вот потому и сомнения меня гложут. Вот раньше как было – отец мать веруют и дети тоже. Для них вера – как дыхание было. У них никогда сомнений не было: верить или не верить...

– Да были, Яша, были сомнения-то. И ты это превосходно знаешь. Вспомни, как после революции церкви взрывали и попов расстреливали. Так что и от души вера не очень крепкая было. Да и у тебя она тоже некрепкая. Врешь ты все.

– Почему это я вру? – обиделся Яков.

– А посуды. Жить тебе хотелось, когда ты в проруби за лед зубами держался?

– Очень хотелось, – согласился Яков.

– А почему?

– Как почему? Это же естественно.

– Нет, для тебя это неестественно. Ты же в царствие небесное веришь. Вот бы и плыл туда. Там бы тебя апостол Петр чин чинном встретил. Глядишь, сейчас бы в раю апельсины кушал да слушал ангельское пение.

– Вот тут ты, может быть, и прав. Я понял, что нет никакого царствия небесного, иначе бы я так не испугался.

– Логика твоя хваленая помогла такую простую вещь понять или с небес сигнал подали?

– Ага, логика. Один великий русский философ, будучи глубоко верующим человеком, отрицал существование ада. Бог есть любовь. Если Бог милостив, он не может такое учинить для человека. Но если нет ада, значит, нет и рая. Они друг без друга не смогут существовать.

– А что тогда есть?

– Не знаю. И никто этого не знает. Свидетелей нет. А все, что по этому поводу говорят, все выдумки.

– А Библия?

– А что Библия? Может, там под раем что-то другое подразумевалось.

– Как это?

– Библия – это глубоко зашифрованный источник древнего знания. Есть такой замечательный поэт – Николай Рачков. Вот как он пишет о своем детстве: «Я был в раю, но я не знал об этом». Может, и в Библии этот рай имелся в виду? Детство – это рай. А как только ты познаешь плотские утехи и вкушаешь плод с древа познания, то тебя за шкуру в зрелую жизнь выбрасывают. Человек хочет заполнить информационную пустоту и придумывает сказки.

– Бог – тоже сказки?

– Нет. Творец – источник всего сущего. Из ничего нельзя сотвориться ничему.

– А рая нет?

– Нет.

– Тоже логика подсказала?

– Она.

Подумав немного и запив раздумье добрым глотком пива, Федор сказал:

– Фиговая у тебя логика.

– Почему? – удивился приятель.

– Ты, Яшка, сейчас как будто ты у меня что-то дорогое отнял. Я уж было в этот твой рай понемногу верить начинал. А ты взял и обломал. Умник.

Валерий МОРОЗОВ

Родился в 1944 году в Шадринске Курганской области. Окончил Высшую профсоюзную школу культуры (СПб), дополнительно обучался на сценарном факультете ВГИКа (Москва).

Публиковался в журналах «Москва», «Сибирские огни», «Север», «Московский журнал», «Свет столицы», «Русский дом». Автор сборников прозы и поэзии.

Член Союза писателей России. Живет в Ногинске Московской области.

БАТАЛИЯ

Столяр-краснодеревщик Степан Кочуров, жилистый и угрюмый парень лет о тридцати, прогулял на производстве три дня. Ни с того ни с сего взял да и уехал в город, ни у кого не спросившись. Вернулся в добром расположении духа и, как обычно, к семи утра пришёл в лес-промхозовскую контору на наряд. Обстучал от снега сапоги, молча пересёк махорочный смог предбанника и чуть не столкнулся нос к носу со старым бухгалтером и нарядчиком Груздевым, изустно звавшимся коротко – Фокич.

Тот, поверх круглых очков, криво сидящих на кончике бугристого носа, гневно смерил Степанову долговязую фигуру и адресовался к мужикам:

– Смотри-ка на него, народ честной! Явился! Явился, даж не запылился! Ту-рист... – Последнее было произнесено с интонацией, содержащей явную издёвку. – А вот ты погоди-ка у меня, мил человек! – погрозил он узловатым пальцем. – Стой здесь!

Степан шумно слотнул. Работяги, собравшиеся на наряд, поутихли. Фокич вернулся в канцелярию, пошелестел на столе залежами бумаг и, размеренно ступая, вынес на вытянутой руке машинописный лист. Мужики, видя этакую торжественность, едва ли не вытянулись во фронт. На доске приказов с пожелтевшими прошлогодними графиками поставок древесины, листок выделился белизной и чёткостью формулировок.

Степан подошёл и прочитал: «За нарушение трудовой... недопустимости и во избежание... Кочурова С. П... на нижеоплачиваемую... сроком... Подпись. Печать».

Складировал на пилораме хвойную обрезь. День. Другой. Потом плюнул. «Да шли бы вы все куда положено!» – буркнул он самому себе и, зашвырнув дырявые рукавицы за штабель, подался к магазину.

Дня три Степану никто не мешал. Загул у мужиков на Руси сродни простуде – та же немочь трёхдневная. Чего уж такого необычного, перебесится да и отойдет. С любым может статья, не впервой. Но спустя неделю среди земляков пошёл ропот – положенные сроки вышли, и дело, как скажет Ефрем Рожин, начинает пахнуть авиационным керосином. Встретится, к примеру, Иван Батурин с Семёном Нефедовым да и посетует:

– Степку сейчас видал, опять в лоскуты пьяный, паразит.

– Да что ты? Вот ведь беда-то, – озаботится Семён. – Я, парень, считаю, это все от холостого положения. Пригляду за ним нет, вот и гарцует, как Савраска без узды. Может, нам собраться да поговорить с ним по-мужски! Жалко парня, золотой ведь работник.

– Как по-мужски? По башке ему настучать? Нет, надо с директором, он мужик правильный. Пусть включается, все мы здесь свои да наши, чего тогда скрывать и сторониться.

Директор мужиков выслушал и сказал, что непременно Степана вызовет и побеседует. А вот о чём они говорили с ним, оставалось тайной. К директору снова подходить неудобно, а Степан, по обыкновению, молчал. Но, говорят, нет ничего тайного...

И вот что я скажу!

Если бы вы, предположим, приехав к нам, в Дивную Пожню в гости, встали рано-рано и, стряхнув дремоту, отважно вышли на свет Божий, открылись бы вам, без преувеличения, картины сказочные.

Об эту пору, на едва различимой границе ночи и рассвета, ещё не встречаются прохожие, не сигналият лесовозы и не надо шарахаться от саней. Солнце где-то там, за краем земли, только-только начнет размышлять с исподу предутренний край ночи, а фиолетовая сумеречь станет понемногу сползать с небосвода, уплывая за горизонт. Хорошо, если ночью падёт легкий снежок, а день займётся безоблачный и ясный.

И вот трогаются вы неспешно по главной улице, испытывая чувство удивительное и отдалённо знакомое. Словно очутились в необычном этнографическом музее под открытым небом. И экспонаты здесь не совсем обычные. Не прялки расписные, не дуги и лубки, не одежда и орудия труда, и даже не крестьянская изба в разрезе, но сказочные теремки, украшенные деревянной кружевной резьбой. И как в настоящем музее трудно найти повторяющиеся экспонаты, так и нет в Дивной Пожне повторов в замысловатой домовой резьбе.

Правда, иногда наткнулся бы ваш взгляд на плоские белые стены казённых домов. Новоделами здесь контора, продуктовый магазин и крупноблочное двухэтажное общежитие леспромхоза. Ну а куда от этого денешься? Москва и та не избежала болезненной утраты своего исторического облика.

Здания эти, посёлку, конечно, необходимы, построены были бывшим директором скоренько, выражаясь строительной терминологией, «привязаны» умненько и общей картины не портят. Хорошо также, что пошёл тот директор куда-то там на повышение.

Моду эту, украшать дома резьбой, притащил с далеких северов дед Ефрема Рожина Артемий. По каким причинам он там обрелся, не нашего ума дело, а вот рассказы его помнятся.

В своё время выбирался парнишка домой из самой, вы не поверите, Норвегии да поиздержался весь чуть ни до нательного креста. Но, по оказии, был подобран бригадой плотников, что подрядились перебраться избу смотрителю Кижского погоста на суровом озере Онежском. Ар-

тёмку для порядка прощупали на предмет пригодности к плотницкому делу и решили, правда, без особой радости, взять. Подсобником.

А потому, как сами были в деревянном ремесле завидные мастера – с удалого размаха, из-за плеча топором! зачинивали карандаш. О как инструментом владели! Да и топоров таких сыскать было непросто! Кованые по старинной секретной методе, с малозаметным скосом лезвия к обрабатываемой поверхности. С тщательно выведенным жалом, берегаемым в кожаной кобуре. С берёзовым, изошрённой геометрии, топорищем под хозяйскую руку, смягчающим отдачу при работе.

Такой топор привычной цены не имел, поскольку являлся и кормильцем, и оружием и, если хотите, другом, в надёжности которого нет нужды сомневаться. Он неотлучно странствовал с хозяином, уютно примостившись сзади за поясным ремнём.

С дедовой подачи и наострился Ефрем приёмам резьбы по дереву, да так, что и деда, и батьку в этом деле превзошёл.

«Кизи, – рассказывал дед Артемий, пока ещё был живой, – одно из чудес свету белого. На острове посреди моря Онежского высятся сказочные храмы – терема.

Сработаны из твердого, что твоё железо, северного леса, триста с лишним лет назад. И храмы те не медью листовой покрыты, но деревянной резной чешуей. А куполов таких на главном храме аж двадцать два!

Красота, скажу я вам, неземная!

Сказывали местные лопари, что, когда строительство храмов (без единого причём гвоздя) было закончено, вся артель плотницкая зашвырнула свои волшебные топоры в озеро, а сами мастера разъехались по разным сторонам. Чтобы, мол, нигде больше такой красоты никто повторить не смог.

Но только эти басни, что без единого гвоздя, полная чепушня! А я вам объясняю: основной четверик, да, не спору, срублен идеально, как положено, в полдерева. И прирубы тоже. А кровля-то чешуйная на куполах – вся на гвоздях как миленькая! Своими глазами видел, своими руками щупал».

Может, и привирал чего старый Артемий, а может, и правду говорил, откуда нам знать? Мы там не были. За что купили, за то и продаём.

Ну, стало быть, дальше.

Идете вы и любуетесь. Верно, нельзя не залюбоваться! Много раз приходилось взбегать по различным крылечкам, а вот по такому хочется взойти неторопливо. Сами широкие ступени путь удлиняют и располагают к беспешности. А столбчатые опоры винтового точения хочется огладить ладонями. Подумаешь да и станешь ли говорить в этом доме по пустякам?

Или вот. В другой избе это чердачное слуховое окно, а тут – чуть ли не мезонин. Даже балкончик есть. И что, хоть на него и ступить нельзя, а в мезонине одни веники сохнут? Зато какой вид снаружи!

Сможете ли представить себе вот эту кружевную ставню болтающейся на одной петле и скрипящей заунывно? Или, взявшись за дверную ручку в форме лошадиной головы с гордо выгнутой шеей и отворив массивную филёнчатую дверь, посмеете ли войти, не сняв шапки?

А замысловатой вязи карнизы? Коньки? Флюгеры? А тематические орнаментальные фризы? Кружевные церковные врата? Резной иконостас? Безграничное раздолье для неуёмной фантазии остро заточенных резцов!

И когда истаивающая дымка раннего утра, изорвавшись об игольчатый иней уйдёт вослед за ночью, когда лёгкий снежок, павший на каждый завиток наличника, на каждую фасочку конька, на каждую прорезь, выемку, выборку перил, на фигурные рамы, карнизы, на гладкие, шлифованные округлости балясин и даже на острия палисадников. Когда это холодное, белое кружево заискрит голубыми огоньками от первых солнечных лучей, выживая из узора холодные рассветные тени, тогда...

тогда даже ждёшь какого-то чуда!

Словно вот-вот полыхнёт сказочное поселенье дробным голубым пламенем и, скрутившись в лёгкий, как взмах платка, дымок, растает в алеющей заревой вышине.

И будет яркое солнце, и обыкновенные избы с резными наличниками, и вороньё, и торная дорога с расклеванным по ней конским навозом. Но это будет уже потом, когда солнце встанет в полный рост.

А пока может стать, что как раз в этот рассветный час, человек, дивившийся на творение рук своих, впервые добавил к имени родной своей Пожни, выдох восхищения – Дивная...

В один из дней Степан, виновато кособочась, пришёл в столярку, поздоровался, сел на край верстака и закурил, подставив под сигарку ладонь. Ему молча разрешили, хотя такие поблажки были не в ходу. Степан поискал глазами среди мужиков и сказал глуховато:

– Ты, что ль, Ефрем, на детском саду трудишься?

– Я что ль, – в тон ему ответил Ефрем и улыбнулся. – Напарником?

– Точно так. Куда я без тебя? – Степан слез с верстака и тоже просветлел лицом.

– Ну вот, ядрён корень, наконец-то, – с назиданием в голосе проговорил Ефрем и протянул руку. – Отгулял, значит? А то, понимаешь, никуда ведь дело не годится. Связался черт с младенцем. Всю её, эту заразу, как не упирайся, не выпьешь. Сам ведь знаешь, что нету молодца побороть винца!

– Да, хватит уже, Ефрем, – оборвали его мужики, загалдев. – Легко тебе морали читать, когда сам по хворости не потребляешь.

Все поднялись и поздоровались тоже, будто каждый хотел подержать Степанову ладонь в своей, будто проверяли, годна ли она для такой работы, не потеряла ли уверенности, не сточила ли рабочих мозолей похмельная испарина. Но рука его была сухой и твердой.

Ефрем со Степаном шли на работу по главной улице, по сути единственной на селе. Вдоль неё тянулись проснувшиеся дома, запуская в небо вертикальные утренние дымы. Ниже, к речке, уже огородные плетни, а еще ниже – пойма. Под одним на двоих с рекой снежным одеялом и дымящейся округлой прорубью, что становится на Крещение Господне Иорданью.

С тех давних времён и повелось, что каждый едва срубленный дом хозяин «обряжал» сам. Сам рисовал трафареты, резал шаблоны, строгал фигурные рамы, «выбирал» на наличниках узорочье.

И чтоб не так, как у всех. И чтоб позаковыристей, то бишь покрасивее. Непохожесть, неповторимость резьбы была делом принципиальным.

Правда, некоторые дома ушли в войну «голобокими». До войны у хозяина руки не дошли, а с войны не довелось вернуться. Но все равно, перетянув через лихие години, вдовы собирали «помощь» и справляли

на избу резной наряд. Без него было негоже, как негоже было выйти на покос в грязной рубахе. Чаше звали Ефрема, всеми признанного мастера, а потом и Степана. И глаз молодой, и рука твердая.

– Чего-то ты, Ефрем, на Анисьином дому вроде карниз закосил? – спрашивает Степан, бросив взгляд в сторону.

– «Закуси-ил», – обижается Ефрем. – Сам, наверное, ещё косой, так и всё по тебе косое.

– Закосил, закосил. Я ведь вижу.

– А чего же тогда ты, такой прямой, на Катеринины ворота не глядишь, а? Одна воротина снег до земли скребёт, а тебе хоть бы хны?

– Приехали! Ну а я-то здесь при чём? Я ведь только полотна вязал да резал орнамент. Вот.

– Вот тебе и вот! Напряла баба мот! А распутывать деда зовёт.

– погоди, тебе говорят! Я-то тут при чем? Сам ведь знаешь, кто столбы ставил! Мои-то только полотна...

– Худому танцору завсегда...

– Да стой ты, ворона чертова! Сел столб-то один! Понимаешь? Сел! Дать вот разок по клюву-то, чтоб не разевал его.

– Дура-ак! – заорал ему прямо в лицо Ефрем. – Кто первый начал меня подъялдыкивать? – щека его со шрамом начала дергаться. – Фаши-ист!

– Ну, ладно, ладно, Ефрем, – спохватился Степан. Он знал, чем это может у Ефрема кончиться. – Ладно, извини.

– Столб-то сел, а ты не с той ноги встал? – не унимался Ефрем.

– Ну, извини, говорю, ну!

– Извини его, дурака...

Долго шли молча.

– Ты мастер, – успокаиваясь, наставлял напарника Ефрем, – и должен быть в ответе, поглянется ли людям работа, когда она сделана. Будь то хоть дом, хоть ворота, хоть черенок к вилам. К чёрной рубахе, однако, белую заплату пришивать не будешь? Не будешь. Так и тут. Остерегись вдругорядь брак своей резьбой закрывать. А то, небось, торопился деньги быстрее сорвать да и нанял кое-кого столбы ставить. Кое-кто и сработал кое-как.

Ты, Степша, помни: деньги, они ещё никогда дороже людского благодарения не стояли. И не встанут никогда. Вот за это ты будь спокоен, ядрен корень.

Чего там директор-то?

– Та...

– А чего тебя в город носило?

– Да за красками, – неожиданно для себя вдруг сказал Степан и, спохватившись, умолк.

– За какими красками? Мы же резьбу отродясь не мазали? Окромя как олифой да лачком.

– Стало быть, есть чего мазать, – буркнул Степан и, прекращая разговор, попросил: – дай-ка спички.

«Крышу? Может, полы, – подумал Ефрем, – да только какой же олух зимой чего красит...» – но промолчал и протянул Степану коробок.

Здание нового детского сада было уже выведено под конёк. Стены из доброго соснового бруса слезились смолою, янтарными высверками вспыхивали на ясном морозце. Леспромхозовский брус был и вправду хорош.

«Чистое масло, хоть на хлеб намазывай», – говаривали плотники.

Степан с Ефремом ходили вокруг сруба, похлопали его по лоснящимся бокам, позаглядывали в окна, запотевшие от пробных протопок, и присели на крыльце.

Большое дело открывается обыкновенно хорошим перекурком.

Решили начинать с фронтона. Ефрем прутиком рисовал на снегу узор, Степан же нетерпеливо смазывал его шапкой, отбирал прутик и рисовал свой. Прутик переходил из рук в руки, но нет, не нравилось. Получалось или похоже, или простовато, или слишком уж вычурно.

Ворона, косившая на них с дерева, никак не могла понять, чего хотят эти два спорящих до хрипоты человека. Наконец, когда Степан в сердцах хрюкнул прутик об колено, она понимающе каркнула, напугав Ефрема, и слетела.

Молчали долго. Думали. Но надо ведь и за дело браться.

– А вот знаешь ли ты, Ефрем свет Васильевич, – вдруг мечтательно заговорил Степан, – кто здесь жить-то будет?

– Как это кто? Известно, ребяташки...

– Тогда, – негромко и серьезно проговорил он, – рота, за мной!

И, глядя мимо напарника и сквозь всё на свете, целиной, кроша сапогами наст, пошагал в дом. Рывком достал из кармана тетрадку. Ефрем было вытянул ему из-за уха карандаш, но тот отмахнулся и полез в подувало. Добыл там острый уголёк и, занеся руку над распластанной тетрадь, на мгновение прикрыл глаза, будто трудно вспоминал то, что знал очень-очень давно.

Но тут же несколькими плавными движениями от сгиба вправо вывел непонятную загогулину. Ещё штрих. Ещё. Вот тут немного. И здесь чуток. Так. Захлопнул тетрадь и прогладил ребром ладони обложку. Поднялся с колен и, отирая шапкой вспотевший лоб, сказал хрипло:

– Открывай.

Узор, нарисованный Степаном и отпечатавшийся на другом листе, изумил присевшего рядом Ефрема. Кто-кто, а уж он-то понимал, что здесь есть. Сквозь грязные разводы он видел уже весь фронтон. И не обычный треугольный, но арочный. Именно такой фронтон делает здание монументальным и отличным от остальных. Перед ним лежал развернутый полусферический сегмент солнечного круга, полный еще невидимого стороннему глазу тонкого сочетания контурной и плоско-рельефной манер резьбы. Смазанный и нечёткий эскиз настоящему мастеру говорил многое. Ефрем совладал с восхищением и сказал просто:

– Ну вот, ядрён корень. – И, стараясь не сдуть крошки угля, осторожно встал. – Только тут, я чую, покорпеть придётся...

Два мастера долго смотрели на этот куцый набросок, ползали вокруг него на коленях, стучаясь лбами. Приседали около, отходили и снова подкрадывались, споря и соглашаясь. Замолкали в раздумье и мечтательно глядели на рисунок сверху.

Странная сцена, если смотреть со стороны.

К ранней весне строительство здания детского сада было закончено, а в районной газете даже поместили снимок. В резной беседке сидят улыбающиеся ребяташки, пока ещё в шапках и варежках. Мутная такая фотография, но некоторых узнать можно.

Степан, прихлебывая на кухне чай, любопытствовал, какие картины идут в райцентре, а также кто там кому и что продает. Как, оказыва-

ется, много в нашей жизни ненужного! Отложил газету на подоконник и как бы крадучись, медленно отворил дверь в свою комнатушку.

С некоторых пор каждый раз, заходя к себе, Степан испытывал уже привычное, но до конца не ясное чувство. Поднимающийся из души какой-то азарт, что ли. Волнение, ранее ему неведомое. Будто бы он своевольно, набравшись наглости и тайком от людей, взялся за дело, вершить которое дано лишь небожителям, от Бога наделённым даром владения кистями и красками.

Своей причастности к этому сословию живописцев Степан, конечно же, не допускал.

Хотя... и надежды не отбрасывал.

Он включил свет, сдёрнул с собственной работы мольберта простыню и застыл, вглядываясь в полотно.

На холсте оживала картина морского сражения. Русский флагманский фрегат брала на бордаж турецкая саранча в коротких красных жилетах на круглых животах и красных же фесках с черными кисточками.

Турки, держа в зубах кривые ножи, забрасывали бордажные крючья на правый борт и прыгали на палубу, срываясь в пенную воду залива. Увлекаемые на дно широченными шёлковыми шароварами, полными солёной забортной воды, они оставляли на поверхности, как поплавки, лишь свои фески красного войлока.

Три наших судна поменьше отчаянно палили со своих орудий, тесня и отрезая вражеские посудины. Ядра, не достигнув корабельных бортов, плюхались в воду, вздымая тут и там фонтаны брызг. Чуть в стороне уходил в морскую пучину пылающий турецкий линкор.

При бордажных маневрах трещали, ломаясь, весла у галер и отворялись течи. За рваные обломки корабельной обшивки и срубленные взрывами мачты в последней надежде цеплялись тонущие люди. Дымы от горящих судов смешивались с дымом корабельных котлов, раскопеченных до бешеных оборотов.

Чесменское, брат ты мой, побоище!

Сражение это до поездки в город за художественными красками виделось Степану несколько облегчённым, что ли. Не ощущалось победного триумфа русской эскадры и, напротив, обречённости и поражения турецкой флотилии. Битва не отвечала названию битвы. Бой виделся каким-то квёлым, игрушечным, что ли.

А на фоне безмятежно-голубого неба и ярко зелёных береговых холмов это впечатление становилось ещё явственнее. Но привезённого из города ультрамарина, темного кобальта и сажи газовой было довольно, чтобы нагнать на полотно батального драматизма.

Степан был доволен законченной работой и теперь, разглядывая картину при различном освещении, думал о том, какой бы ей приличествовал багет. Вот тут и постучали в окно.

За стеклом маячила мальчишеская румяная физиономия:

– Кочуров! – кричал посыльный.

– Ну!

– Давай к директору, срочно!

– Чего такое вдруг?

– А я откуда знаю. Давай, говорит, его быстро сюда!

– Зачем? – автоматически спросил Степан, но того уже и след простыл.

В директорском кабинете сидели трое: сам директор, сбоку вертел в руках шапку Ефрем, а напротив, чуть откинувшись, – незнакомый мужчина

в распахнутом пальто. Перед незнакомцем лежала муругой масти шляпа и красная, на молнии, папка для бумаг.

– Ну, вот, ядр... кхм. Вот он, – встрепенулся Ефрем, завидев вошедшего Степана, – вся работа, считай, его. А я и проболел чуть не ползими. – Ефрем сел обратно, спрятав ушанку промеж колен.

– Знакомьтесь, Павел Иванович, – показал на Кочурова директор, усталый худой мужчина в мешковатом пиджаке. Приезжий, улыбаясь, встал, протянул Степану руку, скороговоркой представился: – Коростелёв, областное управление культуры. – И, обращаясь уже ко всем: – Вот по какому делу, товарищи, хотел бы я с вами поговорить. У нас в областном центре организуется выставка народного творчества. Вы, безусловно, знаете...

Ефрем со Степаном, безусловно, не знали.

Потом ходили по улицам. Мужчина, придерживая шляпу, разглядывал дома, Степан с Ефремом путано и трудно объясняли. Одно дело работать, другое – объяснить, как это делается. Мужчина сфотографировал несколько деталей узорчатой резьбы и сказал, прощаясь:

– Значит, договорились: наличник с дома номер шесть, конёк с дома номер двенадцать, оттуда же центральный кусок орнаментального фриза, элемент фронтона детского сада, фрагмент рамы с вашей, Ефрем э...

– Васильич, – подсказал Ефрем.

– ...Ефрем Васильевич, веранды, так? Ну и всё, похоже? Ах, нет, нет! Ещё узор с ворот дома номер шестнадцать и винтовую балясину. Вот теперь всё.

Он пожал обоим руки и двинулся к машине, потасканному грязно-голубому «Москвичу».

И вот тут Степан, наконец, решил. В два прыжка он догнал мужчину и, задыхаясь от внутренней смуты, заговорил:

– Это, гражданин, Иван... чеевич... Павлович, хотите показать, нет, не показать, а посмотреть. Ну, чтобы это, как его... – Тут Степан споткнулся и, как в омут с головой, отрубил. – В общем, картина у меня. На днях закончил.

– Картина?

– Ну да. Баталия. Хочу, чтоб поглядели.

– Ба-та-лия? – Коростелёв с явно возросшим интересом разглядывал Степана. – Занятно. Очень занятно, очень.

– И я говорю, – Кочуров немного осмелел. – Вот прицепились, резьба, резьба! Такая же самая обыкновенная работа. Что лес валить, что хлеб сеять, что и ставни резать. Так как мы с Ефремом, у нас мужики через двух на третьего могут! Что же теперь – давайте каждый дом на выставку?

– Да вы что говорите? Мы ведь только у вас двоих работы берём! Это же истинное искусство!

– Да ну... – Степан уже начал ругать себя за то, что вылез с этой картиной, но так спросил глухо напоследок: – Не поглядите?

– Конечно, конечно, – заторопился мужчина и взял Степана за рукав.

Когда вошли в дом, Степан снял с мольберта пачканную кистями простыню. Поставил картину на кровать, привалил к стене и отошёл, комкая тряпку. Его трясло.

Коростелёв сложил руки на груди. Погладил подбородок. Почесал переносицу. Распустил у галстука узел. Мельком глянул на окаменев-

шего Степана, подвинул себе стул и сел напротив холста. Оба долго молчали, и каждый молчал о своём.

«Он что же, всерьёз думает, что это живопись? Нет, я чувствую здесь претензию, но совсем не вижу приверженности к какой-либо манере письма».

«Чего он молчит-то? Может, он в живописи и не понимает, а только по дереву спец?»

«И к примитивизму это нельзя отнести. У этого направления свои законы жанра. Это лишь дилетанту кажется, что там всё просто. Не кажи “гоп”, милый ты мой!»

«Молчит. Тоже мне, учёный – баклажан мочёный».

«Ну зачем было браться покорять уже взятые вершины? Пытался копировать кого-то из маринистов. Панина? Хаккерта? А с Айвазовским разве реально тягаться?»

«Не нравится, что ли? Так возьми и скажи, сколько можно?»

«Сказать ему правду? Обидится, не станет экспонаты резать. Выставка побледнеет. Похвалить? Дойдёт до наших, меня же и обвинят в профнепригодности. Хвалил, мол, такую мазню».

«Ты чего, ночевать тут собрался? Что не так-то, скажи, да и делу конец!»

Коростелёв, скосив глаза, посмотрел на Степана ещё раз. Тот стоял белый, рот приоткрыт, нижняя губа прыгала. Смотрел в пустоту и ждал.

Надо было что-то сказать...

Марина СОЛОВЬЕВА

Родилась в Горьком. Окончила Горьковский медицинский институт и всю жизнь работает врачом – дерматовенерологом, онкологом, лазерным хирургом.

Автор романа «Усохни, перхоть, или Школа, которой больше нет» (Нижний Новгород: издательство «Книги», 2021), награждена медалью «Федор Достоевский 200 лет».

Живет в Нижнем Новгороде.

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

– Ну это уже ни в какие рамки не лезет, – рассуждала я на повышенных тонах, расхаживая по квартире с тряпкой в свой первый день отпуска и извлекая из-под кровати своего четырнадцатилетнего ребенка коробки от пиццы с остатками еды, конфетные фантики, бесконечные разноцветные обертки с надписями «Печенье» и «Чипсы», огромное количество бутылок и банок из-под сладкой газировки.

– Степа, это не еда, а какое-то преступление перед собственным организмом! Ты испортишь себе желудок, фигуру, заработаешь ожирение и диабет! Я с тобой или с собой разговариваю?

– Наверное, больше с собой, – недобро пробубнил про себя мой вчерашний сладкий котенок, превратившийся в последнее время в жуткое вредное создание, которое не хотело учиться, мыться, расчесываться, отрастило буйную гриву кудрявых волос, загораживающую большую половину лица и обвиняло меня во всех своих и мировых проблемах и, самое главное, совсем перестало есть дома, объясняя свое поведение активным переходным возрастом.

Еще вчера Степка спал с игрушками и обнимашки перед сном были нашим обязательным ритуалом, дающим возможность узнать, как прошел его день, что волнует и беспокоит, чему он рад, чего боится и избегает. Степка становился говорливым, когда приходило время спать. Он всячески стремился отодвинуть момент, когда свет должен погаснуть и нужно будет закрыть глаза. Перед сном из ребенка можно было вытащить все что угодно, он становился открытым, беззащитным и доверчивым, посвящая меня в свои самые сокровенные тайны. Мы оба очень любили эти вечерние часы, принадлежащие только нам, двоим, когда некуда спешить и можно спокойно обсудить все события прошедшего дня. Интересно, когда он перестал со мной секретничать? Я совершенно пропустила этот важный момент, когда он однажды не попросил меня с ним вечером посидеть, а фраза «закрой дверь, пожа-

луйста» вошла в привычку. Когда же Степка перестал спать с игрушками? В прошлом году еще спал, выстраивая их вдоль стенки на кровати и укладывая с собой на подушку только самых любимых – то зайца в костюме человека-паука, то куклу Растрепу. Степка очень переживал, когда я уезжала в рабочие командировки, и перебирался спать к отцу на мое место, заставляя его рассказывать бесконечные сказки на ночь, исключительно про маму. Степка доставал из-под подушки мою пижаму, прижимал ее к себе и засыпал только с ней в обнимку.

Из одной своей поездки я привезла ему мягкую тряпичную куклу ручной работы в белой одежде ангела и с крылышками за плечами. У куклы была смешная улыбающаяся мордочка, напоминающая само-го Степку, и рыжая шевелюра с торчащими во все стороны волосами. «Ой, какая растрепала!» – прошептал потрясенный ребенок и прижал огненное чудо к себе. Так мы и стали ее называть – Растрепала. Этот рыжий ангелок с хитрой мордашкой стал нашим настоящим спасением. Степка вместе с Растрепой ел, спал, гулял и путешествовал. В мое отсутствие Растрепала заменяла меня. Без Растрепы мы не ездили никуда и никогда. Помню ужас, когда мы торопились и забыли куклу в поезде. Муж бегал по кабинетам администрации железнодорожного вокзала, а Степка кусал губы и изо всех сил держался, чтобы не заплакать. Слезы периодически все равно расплзались по его щекам, но он не пускался в истерику и, не мигая, смотрел в ту точку, где его папа исчез в поисках спасения любимой игрушки. Проводники нашли и вернули Растрепу. Это было счастье, радость и триумф одновременно. Степка так крепко прижимал куклу к себе, что даже дома с трудом расцепил руки. После того случая каждый из нас в любой поездке по сто раз проверял и спрашивал, где Растрепала. Услышав, что тут, на месте, все выдыхали.

Я огляделась. Все игрушки с кровати переместились на самый верх шкафа и с грустью взирали оттуда на активно взрослеющего Степку, как будто понимая, что время их господства, увы, закончилось.

– Степа, а где Растрепала? – обеспокоенно огляделась я. Среди игрушек ее не было, на кровати тоже. Сын в ответ только безразлично пожал плечами.

– Валяется где-то, а зачем она тебе?

– Подарить хотела соседскому ребенку! – на ходу соврала я, пытаюсь вызвать у Степы хоть какую-нибудь эмоцию из прошлой жизни, но он в ответ снова только вяло пожал плечами, демонстрируя полное равнодушие.

Я глубоко вздохнула и достала из-под тумбочки очередную гору мусора из одноразовых тарелок с остатками чизбургера и картошки фри.

– Ты что, не понимаешь, что нужно поддерживать порядок в комнате? Мы пока еще живем вместе, и ты должен...

– Никому и ничего я не должен! – в голосе сынули проскальзывали явные нотки неприязни. – Я же не просил вас меня рожать. Это была ваша затея. Поэтому я вам ничего не должен. Это вы мне должны, вы же мои родители. Почитай Илона Маска, у него по этому поводу четкая позиция, он сам об этом сказал своим детям, что они ему ничего не должны.

– Он детям, но не дети ему! Почувствуй разницу! – я достала из-под стола ворох грязных футболок, носков и старых тетрадей. – Ну за что мне все это?

– А ты не убирайся тут. Это моя комната, и меня все устраивает. А не ем я дома, потому что есть нечего!

– Как нечего? – я от неожиданности села на пол, у меня даже слезы навернулись на глаза от такой несправедливости. Холодильник лопнул, я днями простаивала у плиты, готовя впустую, а Степа корчил гримасу при виде всего того, что раньше сметал за обе щеки, и шел в ближайший супермаркет за фастфудом и сладкой водой.

– Ну все, устал я от этой темы! Не повезло тебе с ребенком. Дети, знаешь ли, бывают разные. Кому-то везет, а кому-то не очень. Ты меня постоянно угнетаешь! И в лагерь на каникулы, куда ты купила мне путевку, я не поеду. Это отстой, а не лагерь. Скорее бы уже жить отдельно от вас. Ты токсичная, мама!

– Отлично, просто великолепно! Вспомни о своих словах, пожалуйста, когда тебе вдруг снова понадобится личный водитель, повар, уборщица, покупатель модных шмоток и выдавальщица денежных средств! – моему возмущению не было предела. Я хотела еще что-нибудь добавить, но звонок в дверь прервал мою тираду, уже готовую сорваться с языка.

– Мамуля, мне надо с тобой поговорить о чем-то важном! – в дверях стоял старший сын Андрей и хитро, как-то по-особенному улыбался. Почему-то от этой его необычной улыбки все внутри меня напряглось, а по спине заскользила капелька пота. – Кажется, я женюсь!

– Кому это кажется? – на всякий случай уточнила я, пытаюсь выиграть время. Сын, продолжая таинственно улыбаться, достал телефон, открыл фотографию и сунул мне.

– Это она. Завтра я приведу ее к нам знакомиться. Она чудесная, и ты в нее сразу влюбишься, потому что не влюбиться в нее невозможно.

Я поняла, что меня в его улыбке сразу насторожило. Она была неземная, космическая, словно человек был не тут со мной, а парил где-то далеко в облаках, как воздушный шарик, оставив между нами сообщение в виде тоненькой ниточки. Мне стало страшно, что ниточка эта от неловкого движения может оборваться, и шарик улетит. И никто, и никогда больше не сможет его поймать и вернуть обратно.

Я вытерла руки краем фартука, взяла телефон и остолбенела – на экране красовалось скуластое лицо, как будто нарисованное циркулем, с узкими раскосыми глазами.

– Это кто? – я медленно опустила на пуфик, почувствовав легкое головокружение.

– Это моя Тиночка, Тина, – гордо вымолвил сын. – Вообще-то ее полное имя Тиныл. Она с Чукотки. Настоящая чукча, представляешь, как круто!

«Затянулась бурой ТИНОЙ гладь старинного пруда...» – тут же в моей голове зазвучал пророческий романс черепахи Тортилы. А ведь, кажется, ничто не предвещало! Или утро сразу не задалось? Мысли ходили в голове непривычно вяло, ноги стали ватными, захотелось срочно залезть с головой под одеяло и ничего больше не слышать и не видеть. А может, это дурной сон, и нужно просто себя ущипнуть по-сильнее и проснуться?

Видя, какое впечатление произвела на меня фотография, сын затараторил,

– Ты себе представить не можешь, какая она талантливая: учится в университете, идет на красный диплом, у нее великолепный голос, она сама пишет музыку и исполняет свои песни, с ней можно говорить на любые темы... Я безумно люблю ее, и она, о счастье, сегодня согласилась выйти за меня замуж!

– И долго она думала, прежде чем согласилась? – я смотрела на своего высоченного умного и хорошо зарабатывающего двадцатисемилетнего красавца сына, обладающего всеми способностями, чтобы быть успешным в этой жизни. – Чего сразу-то не согласилась? «Чукча в чуме ждала рассвета»?

Лицо Андрея слегка напряглось и посерьезнело, и я поняла, что все решения он уже принял, а меня сейчас только ставит перед фактом, потому что так положено.

– А ты знаешь, что дети чукчей всегда чукчи? Ты понимаешь, что твой ребенок никогда не будет похож ни на тебя, ни на твою семью? Ты отдаешь себе отчет, кого тебе предстоит воспитывать в будущем? – я перешла почти на визг, который мне самой показался неприятным. Я понимала, что еще одно мое неаккуратное слово и ниточка оборвется, и шарик улетит безвозвратно, но ничего не могла с собой поделаться.

– Дети обязательно будут. Умные, талантливые и красивые дети. Такие же, как их родители, – голос Андрея звучал непривычно глухо, от космической улыбки не осталось и следа. – А ты Тину не трогай, ты ее совсем не знаешь. А ломать нашу жизнь не позволю, и распорядиться ею мы будем сами.

Господи, за что мне все это! Я вдруг четко ощутила, где живет стресс, почувствовала его, как живое существо, завозившееся внутри меня и начавшее дергать за веревочки, сжимать и разжимать что-то глубоко внутри, заставляя дрожать руки и мешать думать голове. С минуты на минуту должен был вернуться муж, и я молила Бога, чтобы он сделал это скорее, пришел, помог, разрулил все немедленно и взял бы на себя часть этой информационной лавины. Я надела на руки резиновые перчатки, взяла швабру и молча налила в ведро воды.

– О-о-о, удушение собственных детей продолжается! Мертвая хватка! Таких людей обычно называют токсичными душниками, мама! – в проеме двери возник младший Степа с гаденькой ухмылочкой, и мне сразу захотелось создать клуб помощи родителям подростков, такой, как бывает для анонимных алкоголиков. Я бы часто ходила туда, а может быть, на какое-то время поселилась бы там. Нет, не навсегда. Только до тех пор, пока весь этот сюр, напрямую связанный с гормональной окрошкой моего ребенка, не закончится.

– Что, может, тоже жениться собрался? – не без ехидства спросила я младшего сына.

– Нет, пока еще не собрался, а что, ты уже заранее возражаешь?

– Ты для начала вырасти, невесту подбери, а потом и говорить на эту тему будем, – улыбнулась я впервые за целое утро.

– Девушка у меня есть. Ее зовут Маша, и она из седьмого класса. Пора тебе уже об этом узнать. У нее замечательные, все понимающие родители, в отличие от тебя, и они очень хорошо ко мне относятся. Я у них часто бываю. А к нам домой Маша категорически не хочет приходить, потому что тебя боится, вдруг ты ее вопросами замучаешь. А еще у них все очень вкусно! Просто пальчики оближешь...

– И вода чище, и трава зеленее, и люди лучше, – продолжила я. – Ну нельзя же так портить первый день отпуска! День тысячи и одного стресса. Это же нечестно по отношению ко мне! – сказала я уже скорее для себя.

Звонок в дверь прозвучал для меня лучшей музыкой. Я бросилась открывать, на ходу подумав, что, наверное, напоминаю странное дикое животное, которое рвануло с места на спасительный сигнал в поисках защиты. Кто из зверей быстро бегают? Гепард, антилопа гну, американская

скаковая лошадь? Точно, скаковая лошадь, успевающая работать, обслуживать всю семью, а также выслушивать, поддерживать, подставлять плечо в трудную минуту и огреть за все это по полной программе – это как раз про меня.

Муж неторопливо раздевался и слушал меня в пол-уха, не разделяя мои эмоции, по крайней мере мне так показалось. Он молча прошел на кухню, пошуровал в холодильнике, залез под крышки сковородок и кастрюлек, в которых все кипело, шкворчало и издавало необыкновенные умопомрачительные запахи.

– Меня сегодня хоть кто-нибудь в этом доме будет слушать? – обратилась я к нему, уже начиная заводится. И тут он меня удивил, нет, это не то слово, он сразил меня наповал, одним выстрелом и сразу в самое сердце. Оказывается, он давно все знал и про Машу из седьмого класса, и про чукчу, а с последней был даже знаком. И с обоими нашими, замечу, общими, детьми он находился в состоянии полного взаимопонимания, а меня по общей негласной договоренности они держали в идиотском состоянии неведения, по совершенно непонятной для меня необъяснимой причине.

Он неторопливо налил себе в тарелку тыквенного супа с креветками, посыпал сверху тыквенных семечек, посолил, поперчил, кинул в тостер пару кусочков заварного ржано-пшеничного хлеба с курагой и грецкими орехами и очень важно нравоучительно заметил:

– Ты передавливаешь детей, так нельзя! Они не твое отражение, они должны сами решать, чего хотят. Не забывай, что в первую очередь это их жизнь, – мой муж, моя надежда и опора; человек, на помощь которого я всегда рассчитывала, читал мне мораль в присутствии сыновей, как какой-то проштрафившейся школьнице, не задумываясь ни на секунду, что этим своим выступлением начал копать глубокий ров, грозящий разделить нас. – Нужно давать им личное пространство и стараться не нарушать границ. Им сложно с тобой. Хорошая мать должна уметь слышать своих детей.

И после всей этой тирады, как ни в чем не бывало, мой муж стал с удовольствием наяривать свежеприготовленный мною суп. Поистине, хорошей женой быть вредно. Муж начинает портиться на глазах и даже не понимает, что творит. И даже не отдает себе в этом отчета. И аппетит, что удивительно, не страдает ни капельки.

– Стоп! Значит, я плохая мать. И если я с чем-то не согласна, значит, я вас не слышу? Вот и поговорили! Отлично! На этой замечательной обнадеживающей ноте давайте и остановимся, – я быстро сняла резиновые перчатки, которые до сих пор были у меня на руках, напоминая о недоделанной уборке, вытащила с антресолей свой небольшой походный чемоданчик и под унылыми молчаливыми взглядами своих домочадцев стала кидать туда вещи. Я понимала, что мне нужно срочно уехать от всего этого безумия, разобраться в себе и дать подумать им. Остаться сейчас здесь всем вместе смерти подобно. Наговорим столько, что потом не разгребем. Вариант поездки нарисовался сразу – Питер и моя лучшая школьная подружка Милка, по образованию психолог, логопед, дефектолог, а также лучшая жилетка для слез, мастер вытирания соплей и определения дальнейшей политики в любой, даже самой сложной ситуации. Покупка билета и вызов такси не заняли много времени.

– Значит так, если у меня отпуск, значит, еду отдыхать, – промолвила я сквозь зубы и прошла к выходу мимо своих домочадцев с гордо поднятой головой.

Я ехала в поезде и думала, что пора научиться любить себя и жить для себя, что это не эгоизм, а всего лишь норма здоровой жизни. Пришли воспоминания о том, как я мечтала когда-то воспитать своих детей сильными многосторонними личностями и была уверена, что с легкостью сделаю это. Я фантазировала, что дети будут именно такими, как я задумала, будут думать как я и смотреть на мир как я, нужно их только правильно воспитывать. Ведь все проблемы других от неправильного воспитания, а у меня будет обязательно самое правильное. Я перелопатила тонну литературы и пребывала в наивной уверенности, что никакие трудности меня никогда не коснутся.

Муж прислал видео Степки с семиклассницей, где они очень слаженно танцуют и поют под странную непонятную электронную музыку и явно очень довольны друг другом, попросил успокоиться и не драматизировать. Я была совершенно спокойна, настолько спокойна, что не сочла нужным ему отвечать. Внутри меня по-прежнему кипели страсти, я продолжала разговаривать сама с собой, жалела себя, запрещала себе это делать и снова жалела.

Милка встретила меня на вокзале. Я сразу издалека заметила ее красивый белый плащ с повязанным крест-накрест и развевающимся красным шарфом. Милка напоминала машину скорой помощи. Ну что ж, это как раз то, что мне сейчас и требуется.

– Ты только не переживай! – начала она мою реанимацию. – Ты выглядишь сейчас как королева драмы. Убери скорбь, она пригодится тебе, когда вернешься домой.

Милка всегда знала все ответы на все вопросы. Даже если это было не совсем так, она могла с умным видом выдать что-нибудь эдакое, что все сомнения на этот счет тут же отпадали. Милка была замужем за нашим одноклассником Женькой Розовым по кличке Розочка. Вместе с Женькой она одновременно получила и кличку, которая ей здорово подходила. Сразу после свадьбы Милка превратилась в Розочку, а Женьку с ее легкой руки все стали звать Цветоносом. Женька был доцентом в медицинском институте на кафедре психиатрии, поэтому иногда, в редкие минуты гнева, Милка называла его «тупым доцентом» или Шиповником. Детей у них не было, вернее, по молодости лет была какая-то история с неудачной беременностью. Кажется, ребенок погиб в родах или сразу после, честно говоря, точно не знаю. Тема эта была закрытой, и мы ее никогда не обсуждали. Может быть, благодаря этому, а может вопреки, подруга погрузилась в мир детской психологии и была настоящим экспертом в этой сфере.

Женька Цветонос любил свою Розочку до невозможности еще со школьных времен и старался предугадывать все ее желания. Милка величественно, по-царски позволяла ему это делать, без конца подтрунивала над ним и руководила. Женька ее руководящую и направляющую роль принимал без сопротивления и смущения, с удовольствием, называя себя подкаблучником по призванию. Милка всегда говорила, что в отличие от подружек никогда не мечтала о принце, поэтому, выйдя замуж не получила морально-психологической травмы. Женька умилялся ее остроумию и был счастлив находиться рядом. Жили Розочки в своем розарии дружно, я их всегда и всем приводила в пример. Каждый приезд к ним в гости был для меня праздником.

– Представляешь, Цветонос умотал в Сочи на конгресс по своей психиатрии. Каждый год ездит, а потом остается там еще на пару недель покупаться. Так что мы с тобой совершенно свободны, и никакие

розоцветные нам не помешают, ура! – Милка в полном соответствии молодежному тренду коснулась кулаком моего кулака и от души запела свою отрядно-семейную песню про «белый шиповник, страсти виновник, краше садовых роз...», которую я тут же подхватила.

Мы провели вместе три счастливых дня, обгладывая и обсасывая косточки моим домочадцам. Подруга была полностью на моей стороне, впрочем, как всегда. Я слушала ее и лишней раз убеждалась, какая же она все-таки умная, царица психологической эрудиции, моя Милка. У нее все было просто, все однозначно, все решаемо и безоговорочно. Она знала про детей все или почти все.

– Подумаешь, переходный возраст! – вещала она, сидя за чашечкой кофе в симпатичном видовом ресторанчике на крыше. – Это что, диагноз? Подростковый период дается нам для того, чтобы измотать нас до предела и тем самым облегчить вылет дитяти из родительского гнезда. Я о том самом моменте, когда всем станет до того невмоготу, что уход ребенка во взрослую самостоятельную жизнь станет общей большой радостью.

Но в четырнадцать лет не должно происходить подмены матери на другую женщину. Рано. Центр принятия решений должен быть у тебя. Сейчас ему диктует другая женщина.

– Это ты про семиклассницу? – робко встала я, откусывая кусочек десерта «Анна Павлова» и зажмуриваясь от удовольствия.

– Да-да, про нее, конечно. Произошла подмена авторитетов, и ты это где-то упустила. Любовь – это хорошо, но твои задачи должны быть важнее. Сказала – в лагерь, значит – в лагерь. Это образно, конечно, но подростковое подчинение и зависимость не от родителей очень опасная штука. Он подчиняется ей, а не тебе, это формирует зависимое поведение.

– Может, все это не настолько запущено и не так плохо? Просто первая любовь и все такое. Где ты все это увидела? – мне от каждого слова Милки становилось все хуже.

– Да ты посмотри видео, где они эту песню поют. Она впереди, а он сзади. Она лидер, а он в массовке, мальчик-антураж. Она позволяет себя любить. А вдруг завтра передумает? Ему с крыши прыгать? – Милка выразительно посмотрела с нашей высокой крыши вниз, а мне сразу стало дурно.

Солнце светило очень ярко, оно гуляло по соседним чердакам, залезало в каждую щель, заглядывало в глаза, бликовало и пускало солнечные зайчики вокруг нас. Огромное количество солнечных зайчиков и огромное количество разноцветных крыш вокруг, и мы где-то высоко над всем этим в полной недосыгаемости от всего остального мира. Милка знала, куда меня затащить, наверное, очередной психологический трюк, испытание высотой, красотой и правдой-маткой.

– Замечу, что твой Женька тоже, как правило, у тебя за спиной. Я бы сказала, что по жизни Розочка стоит позади тебя! – я пыталась создавать Милке хоть какой-то противовес в разговоре.

– Это не считается, ему давно не четырнадцать. И, если ты заметила, он на этом месте себя вполне комфортно чувствует, привык за столько лет. Мы же хотим формировать независимую личность, поэтому нужно потихоньку отрывать его. Или не хотим? Тогда к чему все эти разговоры?

– А как мы будем его отрывать? – я почему-то представила своего длинного кудрявого подростка, вставленного в финальную картинку

сказки «Репка», в том самом месте, где внучка за бабу, бабу за деду, деду за репку... И вытягиваем репку. Только вместо репки сияла улыбающаяся физиономия моего Степаки. Или его свирепая физиономия, которая так расстраивала меня в последнее время.

– Отрывать будем аккуратненько! Мы же старше, а поэтому хитрее! – Милка разом оборвала все мои сказочные фантазии. – Никакого жесткого прессинга с твоей стороны, никаких признаков авторитарной матери. Говори про нее только хорошее, но занимай его другими делами, придумай много важных дел, главное, чтоб без нее. Пусть она пока остается, но наряду с другими интересами. Надо, чтобы на второй план ушла. Как только Степа поймет, что она не центр Вселенной, увидишь, она сама исчезнет из его и вашей жизни. Она же питается своей властью над ним. Этого так оставлять нельзя.

Наш поход в Русский музей в Михайловском дворце был полностью посвящен женитьбе моего старшего Андрея на девушке с Чукотки. Мы любовались картинами и ни на минуту не отходили от темы. Милка изо всех сил пыталась понять, насколько процесс запущен и что еще можно сделать.

– Ну хоть со старшим ты мирно рассталась?

Мы стояли у полотна Саврасова «Грачи прилетели».

– Мирно – это сказано очень оптимистично, – ответила я и прикинула, сколько же сочинений я написала за свою жизнь по этой картине для себя и своих детей. Интересно, написанными сочинениями можно измерить, плохая я мать или хорошая?

– Чукчу в семью пускать, конечно, нельзя. Чукче место в чуме. Он может выбирать себе любую жену, главное, чтобы она тебе нравилась.

Милка остановилась около «Последнего дня Помпеи» Брюллова, долго и внимательно изучала картину, потом глубоко вздохнула и добавила:

– Огонь надо выжигать огнем, другого пути нет.

– Я боюсь, что я таким образом сама себя выжгу. И не останется ничего вокруг, ни отношений, ни желания общаться...

У меня появилось ощущение, что мы, постепенно перебирая все возможные варианты наших дальнейших действий, добрались до выгребной ямы психологии, и сейчас Милка предложит что-нибудь страшное и неприемлемое. Я внутренне напряглась, как пружина, и остановилась в нерешительности. Подруга задумчиво оглядела меня с ног до головы и сообщила, что, по ее мнению, справиться со старшим сыном и его подругой я вряд ли смогу, и предложила прислать его в Питер по какому-нибудь важному делу. Останется он, естественно у нее, ну а дальше на арену цирка выйдет Милка со своими высокопрофессиональными психологическими приемами и перевербует нашего мальчика, заочно обезвредив чукчу Тину. На том и порешили.

Наши душеспасительные беседы на фоне потрясающих полотен великих мастеров заходили в сердце и периодически отключали разум. Все-таки психологическая помощь моей подружки была на высшем уровне. Подозреваю, что не просто так она затащила меня в один из лучших музеев страны. Я где-то читала про такую своеобразную арт-терапию – лечение творчеством, когда мозг человека не может не откликнуться на воздействие искусством. Я ходила среди великих картин и понимала, что Милкина методика однозначно работает. От полотен исходила необыкновенная энергетика, которую я ощущала и принимала. Сначала меня тянуло исключительно к Айвазовскому, и я никак

не могла оторваться от его «Девятого вала», уж очень сильно изображенное там соответствовало моему внутреннему состоянию. Но потом постепенно мое внутреннее напряжение ушло, и меня потянуло к умиротворению картин Шишкина.

Вечерний Питер вдохновлял. Огни, музыканты на каждом перекрестке Невского, толпа пьяных подростков и многозначительный взгляд Милки с предупреждением, что может быть, когда ситуацию выпускаешь из-под контроля. Потом была потрясающая прогулка на кораблике по каналам Санкт-Петербурга и шампанское на Дворцовой площади, как итог великолепно проведенного дня с лучшей подругой. Все это великолепие излечило меня от хандры полностью. У Милки всегда все было по плану, об этом все знали и не сопротивлялись. А я была просто счастлива, что подруга создает свои планы специально под меня, и следовала за ней без оглядки.

На следующий день мы посетили музей Ахматовой с рассказами о сильной личности, которая умела принимать серьезные решения, и ее гениальными пронзительными стихами, заставляющими думать, плакать и преодолевать. Потом был нереальный потрясающий балет «Спартак» в Михайловском, в который раз подтверждающий, что восстание гладиаторов обречено и победа остается за сильнейшей стороной, впрочем, как всегда, что и требовалось доказать. Я восхищалась Милкиной продуманностью в каждом шаге. Каждое ее слово, каждый жест, каждый наш культурный выход были не просто так. Я ощущала, как будто она надевает на ниточку бусинку за бусинкой, восполняя все пробелы. Скоро свободных мест там совсем не останется, появится совершенство и законченность, которых мне так не хватало в моих мыслях и поступках.

Все наше последующее совместное времяпровождение, а также все дальнейшие завтраки, обеды и ужины были посвящены моему мужу-предателю, так легко занявшему сторону противника, вернее, наших противных детей. Тут мы уже не разрабатывали никаких планов, просто нещадно грызли его вместе с Цветоносом и остальным неблагодарным мужским родом, вспоминая все наши скопившиеся за жизнь обиды. На этой части нашего общения я заметно отдохнула, повеселела и окончательно восстановила силы.

Сядясь в поезд, я чувствовала себя снова на коне и готовой к бою. Подруга основательно промыла мне мозги и настроила на нужную волну. Я была наполнена решимостью, аргументами, уверена в своей правоте и обязательной победе. Милка вручила мне книгу про обычаи народов Севера с емким названием «Вы знакомы с Чукчей?», добросила до вокзала и на прощание произнесла свою любимую фразочку про то, что все в нашей жизни случается не просто так, что все это для чего-то нужно, и у меня есть время, чтобы понять, для чего.

Я удобно расположилась на нижней полке поезда и даже успела прочитать, что чукчи обычно живут не в чуме, а в яранге, покрытой оленьими шкурами, или в полуземлянке, построенной из костей кита, когда ко мне в купе вошли две девушки.

— Катя, не трогай! Ты слышишь меня? Не лезь туда, сядь рядом! Да что же это такое?

Я подняла глаза и увидела, что напротив села крупная черноволосая девочка лет тринадцати и, не мигая, смотрела на меня. Она слегка покачивалась и издавала неприятные гортанные звуки. Через приоткрытый рот девочки был виден мясистый язык розового цвета, подтекал слюна.

– Вы ей понравились, – сказала стройная интересная девушка, оказавшаяся ее мамой. – Это Катя. А я Света. Мы хотели взять целое купе, но в продаже уже не было. Поэтому, уж извините, придется вам нас потерпеть.

Катя на ломаном и коверканом языке спросила, можно ли ей залезть на верхнюю полку. Мама ей разрешила, и девочка быстро, в какую-то долю секунды, взлетела на верхнюю полку, проявив неожиданную ловкость и недюжинную физическую силу. Через пару минут сверху донесся трубный звук сморкания, напоминающий слонов на водопое. Я где-то читала, что многочисленные звуки, издаваемые слонами, выражают не сообщения или мысли, а только проявление возбуждения и по высоте тона можно судить, спокойно животное или рассержено. Катя сморкалась так громко и пронзительно, что я бы расшифровала это как выраженное неудовольствие или переход к нападению. Я посмотрела на девочку, она изобразила подобие улыбки и попросила у матери разрешения спуститься вниз. За первый час нашей поездки Катя совершила тридцать, а может сто тридцать подъемов-спусков, перепрыгиваний с полки на полку и сморканий. Я почувствовала легкое головокружение от всего происходящего, но волевым решением взяла себя в руки и постаралась не обращать внимания.

Принесли чай, я достала коробочку с запасом еды, которым меня снабдила заботливая Милка, и начала неторопливо есть, продолжая изучать особенности жизни чукчей. Света вышла из купе, а с верхней полки раздался голос и протянулась рука. Я поняла, что Катя просит сыра, и предложила ей кусочек. Через секунду девочка сидела возле меня, улыбалась, если это можно было так назвать, и снова тянула руку. Получив еще один кусочек, ребенок запустил свои руки в коробку с моими припасами и начал быстро-быстро поглощать их. К моменту возвращения матери моя коробочка была уже пуста. Света начала доставать из сумки множество баночек, коробочек, пакетиков с продуктами. Это было огромное количество еды, такое, что можно легко накормить роту солдат. Девочка начала поглощать все это, привычными движениями засовывая в рот руками. На какой-то момент она вдруг прервала процесс поглощения пищи, как будто о чем-то вспомнила, вытащила из-под стола свою не очень чистую ногу, скрупулезно ее осмотрела, приблизив к глазам, сняла с пятки двумя пальцами невидимую пылинку и отработав, привычно откусила кусочек ногтя. На этом моменте я не выдержала и вышла из купе.

Света позвала меня назад, когда девочка уже спала. Она принесла нам обеим чаю, достала вкусное печенье и конфеты.

– А я вот так живу уже тринадцать лет. Замкнутый круг. И нет никаких шансов из него выскочить.

– Почему она такая? Родовая травма? – задала я волнующий меня вопрос.

– Да нет, роды были очень легкими. Я не заметила, как родила. О том, что с ребенком не все в порядке, мне сказали на третий день. Было два дня счастья, а потом оно закончилось, уступив место тоске и тревоге.

– А что с Катиним папой? Он помогает? Живете вместе?

– С ним не все так просто. Да у меня, похоже, просто и не бывает. Привыкла, – Света взглянула в окно, потом на меня, словно обдумывая или оценивая, стоит ли ей рассказывать о себе. Поезд с обязательным чуф-чуф-чуф, полумрак, чай в подстаканнике располагали к разговорам.

– Мы познакомились на нашем юге четырнадцать лет назад. Я купила экскурсию по дворцам Крыма, стояла на остановке и ждала машину, которая должна была доставить меня к месту начала культурного вояжа. Накануне мне звонили из турфирмы раз пятьдесят и постоянно что-то меняли, переносили, то время, то место. В конце концов поменяли и автобус на легковой автомобиль, так как из всего Гурзуфа, где я на тот момент проживала, посмотреть царские дворцы пожелала только я одна.

Время шло, а за мной никто не приезжал. Я стояла, сидела, ходила вокруг остановки. Не было ни автобуса, ни обещанной черной хонды. И вообще, на остановке не было ни одной живой души. Чуть поодаль стоял белый «ниссан» с водителем, который тоже кого-то ждал и заметно нервничал, судя по его передвижениям. Его автомобиль сначала стоял ниже остановки, потом поднялся выше, потом объехал круг, куда-то уехал и снова вернулся. По прошествии какого-то времени «ниссан» остановился рядом со мной, из окошка выглянул симпатичный парень и поинтересовался у меня:

– Вы случайно не тот мужчина, которого я уже сорок минут караулю для поездки по дворцам Крыма?

Вот так бывает. Набор случайностей и странных совпадений или, наоборот, несовпадений. Было начало сезона, народ для экскурсий набирался не очень активно. Поэтому вместо автобуса за мной отправили черную «хонду» с мужем экскурсовода. А у этого мужа что-то неожиданно случилось, и он, в свою очередь, попросил съездить за мной своего приятеля, приехавшего недавно к нему в гости. Так вместо черной машины приехала белая. А уж почему меня вдруг переделали в мужчину и где эта передаточная цепочка дала сбой, история умалчивает. Мы ехали и хохотали всю дорогу. В какой-то миг я подумала, что, если этот симпатичный человек предложит мне наплевать на царские дворцы и поехать куда-нибудь с ним, я соглашусь не раздумывая. Высадив меня в положенном месте, он уехал искать место парковки, а потом и сам присоединился к нашей экскурсии. Мы провели вместе чудесный день и не смогли расстаться. Это можно назвать курортным романом, изменившим всю мою дальнейшую жизнь. Все вокруг называли его Джинном. Такая странная кликуха, дающая свободу разным фантазиям от джин-тоники до духа из арабской мифологии.

– Почему ты Джинн? – поинтересовалась я в первый же вечер.

– Потому что я всемогущий и все умеющий! – вмиг состряпанная смешная физиономия с грозными, почти выпрыгивающими глазами была полным подтверждением его словам.

Он не был писаным красавцем и не был идеальным, но море обаяния и сильное мужское начало компенсировали все. Это был мой мужчина. Я почувствовала это сразу. Полное совпадение по всем параметрам. И еще он сразу все взял в свои руки. Он сам принимал решения и сам их реализовывал. Он организовывал наш досуг, а я только кивала в знак согласия или отрицательно мотала головой. С ним мне было море по колено. С ним было не страшно и в огонь и в воду. Настоящий джинн из сказки, ворвавшийся в мою жизнь из волшебной лампы Аладдина, уносящий в новую жизнь и пьянящий, как всем известный алкогольный коктейль джин-тоник. Я не спрашивала ничего про его жизнь. Хотелось, как можно дольше продлить безмятежность совместного отдыха, но тревожность от приближения расставания подкрадывалась все ближе. Он сам рассказал мне про слабую и безынициативную жену, потерявшую стержень жизни после рождения ребенка-инвалида, кото-

рую он не может оставить, про то, как мечтает иметь детей, но жена категорически отказывается снова рожать, про его подозрения о наличии у нее плохой наследственности... Хотя, возможно, во всем виновата банальная, но перенесенная на ногах вирусная инфекция...

Через месяц я поняла, что беременна. Такой любви и заботы, как во время этих счастливейших девяти месяцев, я не испытывала никогда в жизни. Я переехала в Питер, поближе к любимому. Он меня кормил, поил, выгуливал, проводил со мной каждую свободную минуту. Я соблюдала все, что положено беременным, сумела ни разу не заболеть, даже когда все вокруг полегли от гриппа. А потом родилась Катя, и моя привычная жизнь, и спокойствие, и все, что я считала важным и необходимым в этом мире, закончились в один момент, сразу после приговора врачей. Я лежала два дня, повернувшись к стенке, и пыталась привыкнуть к действительности. Мой Джин меня не бросил, даже, наоборот, поддерживал как мог и вселял веру в будущее. И сейчас он для нас помощь, поддержка и стена, на которую можно бесстрашно опереться в любую минуту.

Потом началось постоянное беспросветное лечение. Я постоянно думала, что это мне наказание за чужого мужа. Но я очень любила его, это истинная правда. Хотя кого сейчас интересует правда. Важно только, как все это выглядит со стороны. А со стороны все ужасней некуда. Но Джинн любит Катю, как ни странно это звучит, и делает для нее все, и даже больше. Когда Кате исполнилось три года, стало понятно, что мы в тупике и лечения от умственной неполноценности нет. Спустя время любимый признался мне, что у его первого ребенка тяжелая форма олигофрении с полным отсутствием речи и мышления и он живет в специальном интернате. Джинн изначально был уверен, что проблема в его жене. Рождение второго такого ребенка от другой женщины доказывала, что вопрос в нем. У Кати подтвержденная наследственная олигофрения в стадии имбецильности. Это полегче, чем у ее единокровного брата, так скажем, средний вариант, но от этого не легче, и она тоже мало что может.

Катя завозилась на верхней полке и начала похрюкивать никогда не закрывающимся ртом. Поезд остановился на станции небольшого провинциального городка, я взяла сигареты и вышла на перрон. Поистине у каждого человека свои проблемы. Только мои проблемы, по сравнению с этим адом, вдруг стали с гигантской скоростью уменьшаться и самоуничтожаться, превращаясь в огромное обволакивающее меня со всех сторон счастье, которое я давно перестала не только ценить, но и замечать.

У меня два замечательных сына, здоровых, умных, красивых, самодостаточных, способных иметь свое мнение и умеющих его доказывать. Что такое проблемы переходного возраста? – ерунда, которая рано или поздно рассосется сама по себе. И я вдруг ясно поняла, что совсем не хочу отдирать от Степки его семиклассницу или Степку от семиклассницы. Ну совсем не хочу. Пусть он влюбляется, обжигается и взрослеет вместе с ней. И почему он обязательно должен стоять впереди этой маленькой девочки на том видео, загораживая ее своей приближающейся к двум метрам фигурой. Это же будет совсем ни в какие ворота. Что скажут психологи в этом случае? Здравствуйте, я нарцисс, собственной персоной?

Мои мысли постепенно переключились на чукчу. Я же ее еще не видела ни разу, а уже начала уничтожать. Я стала делать это заблаговременно, на всякий случай, так как Тина с Чукотки по моим понятиям

не соответствует критериям невесты моего сына и не помещается в определенные мною рамки женитьбы отпрыска. А ведь они уже взрослые, попробовавшие этот мир на зубок. Ну и что, что чукча. Смешанные дети бывают очень красивыми. Спасибо, что не негритянка из Африки, а с нашей родной Чукотки, и слава богу! Я находилась на таком гребне эмоциональной волны, захлестывающей меня и перестраивающей сознание, что, возможно, в этот момент приняла бы и негритянку.

От своих новых и таких прогрессивных мыслей я не могла сдерживать улыбку. Мимо проходившая проводница заметила, что так улыбаются и радуются обычно люди, возвращающиеся домой после долгого отсутствия. Меня не было в общей сложности пять дней, а ощущение было такое, как будто я отсутствовала вечность. Я каждой клеточкой чувствовала, как сильно соскучилась, как хочу немедленно всех обнять, расцеловать и за все простить, потому что на своих долго не обижаются. Почему-то именно теперь вдруг стало очевидно, что мои дети – это совсем другие люди со своими принципами, запросами, взглядами на жизнь и пристрастиями, что не надо их тянуть за уши в тот мир, который нравится исключительно мне. Мое переосмысление ситуации шло полным ходом. Муж у меня вообще золотой. Дети ему доверяют, он всю жизнь с ними возится не меньше, чем я.

Мысли мои неслись, обгоняя друг друга. Все-таки не просто так на моем пути встретились эти люди. Ничего в этой жизни не бывает просто так. Своей историей они за одну ночь изменили всю мою систему взглядов на окружающий мир, разгладили морщины души, которые уже начали собираться в глубокие отвратительные складки и деформировать ее. Эта красивая женщина со сложной судьбой, положившая свою жизнь на больного ребенка, и ее Джинн-тоник, прыгающий на две семьи между детьми-инвалидами, не видящий в жизни никакого просвета, но не бросающий их, справляющиеся со всей этой непростой ситуацией, вызывали у меня смешанные чувства от сострадания до восхищения. Наверное, они были посланы мне свыше, чтобы я поняла, что все познается в сравнении. Внутри меня разгорался настоящий психологический пожар, который не хотелось тушить. Ломка сознания и переход на совершенно новый уровень мышления натолкнули меня на мысль о переходном периоде, не Степкином, а моем собственном. Все постепенно становилось на свои места и приносило облегчение. Я докурила сигарету, бросила окурок в урну и следом безжалостно отправила туда же книжку про чукчей...

Я проснулась ранним утром с хорошим настроением и свежей головой. Света заканчивала делать Кате красивую прическу из множества переплетенных между собой замысловатых косичек.

– Папа нас с тобой сейчас встретит, пересядем на самолет и полетим все вместе к морю. Будем купаться и загорать. И ничто не сможет нам помешать. Потому что мы сильные, – Света улыбнулась мне, подмигнула и продолжила: – А все, что нас не убивает, делает еще сильнее, а еще дает нам много разных механизмов приспособления и не всегда здоровое чувство юмора. Потому что это нам нужно, чтобы выживать.

Поезд приближался к конечной станции. Я стояла у окна и думала, что все в этом мире взаимосвязано, что одна ситуация обязательно тянет за собой другую, каждая новая встреча открывает новую дверь. И всегда есть возможность правильного поступка и правильного выбора. Я не против психологов, но больше слушать нужно все-таки себя и свое сердце. Оно обязательно подскажет, что делать, ведь оно существует не только для перекачки крови в организме, я это теперь точно знаю!

Поезд замедлил ход и остановился. Приехали. Я вышла на перрон и сразу очутилась в объятиях всех своих мужчин. Они улыбались и наперебой говорили, как по мне соскучились.

Вот Милка, вот bestия, сообщила-таки, когда я приезжаю. Какая же она молодец, настоящая психологиня всея Руси, знает, как порадовать подругу!

– Вы самые лучшие, вы все, что у меня есть! Мне повезло неслыханно, что в качестве своей мамы вы выбрали меня, – я уже почти пустила слезу, когда увидела стоящую в отдалении стройную черноволосую девушку с раскосыми глазами в длинном элегантном светло-сером пальто с поясом цвета мокрого асфальта.

– Тина, подойди поближе! – обратился к ней Андрей: – И познакомься, это моя мамочка...

При взгляде на девушку передо мной сразу стали всплывать образы моделей с последнего миланского показа. На ее лицо хотелось смотреть не отрываясь. Миндалевидные глаза добавляли особого шарма. Гладкие волосы, подстриженные под удлиненное каре, напоминали шелк. Она улыбнулась, обнажив ряд ровных белоснежных зубов, и мне стало стыдно за все, что я про нее думала и говорила раньше.

Для полного комплекта не хватало только семиклассницы, и я подняла вопросительный взгляд на Степку.

– Да вон она, за столбом прячется, тебя стесняется, – без слов в один миг понял меня младший и замахал столбу рукой. Из-за него появилась маленькая стеснительная девочка в укороченной куртке с голым пушком, смотрящая больше в землю, чем на меня.

– Ну что же, девочки, давайте знакомиться! Я не страшная и в последнее время даже не кусаюсь, – мне стало необыкновенно хорошо. Я оглянулась в поисках своего чемодана и вдруг увидела бегущего навстречу Женьку Розова, нашего Розочку, по совместительству Цветоноса и Шиповника.

«А он-то откуда узнал, что я приезжаю? Он-то тут зачем? Ну, Милка, ну, генерал в юбке, это называется свистать всех наверх без разбора!» – пронеслось в голове. Я уже открыла рот, чтобы запеть про «белый шиповник, страсти виновник, краше садовых роз...», но Женька, не обратив на нас никакого внимания, лихо промчался мимо и закружил в объятиях моих соседок по поезду. Он стоял очень прямо, внимательно слушал что-то тараторящую ему в уху Свету, гладил по голове и целовал Катю. Я никогда не видела Женьку таким спокойным, умиротворенным и уверенным, от него исходила сила и решительность.

Когда-то в далеком детстве, вернувшись из пионерского лагеря, он стал представляться всем на американский манер, называя себя Юджином. Милке это имя не понравилось, поэтому Женька так и остался навсегда для всех Розочкой. Кто же мог подумать, что Юджин так и продолжал жить внутри него. Эх, Женька-Юджин, Джинн-тоник. Какое-то странное сегодня получилось утро очевидного-невероятного. Мои мысли прервал телефонный звонок, и довольный жизнерадостный голос Милки на другом конце провода поинтересовался.

– Подруга, у нас все по плану? Или все произошло совершенно случайно, как и планировалось?

– Все в этой жизни не просто так, – долго подбирая слова, ответила я, – все не просто. Так.

Василий КИЛЯКОВ

Родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Октябрь», «День и ночь», «Гостиный Двор», «Литературная учеба», «Новый мир», «Огни Кузбасса», «Подъем», «Юность», в газете «Литературная Россия» и других изданиях.

Лауреат всероссийских литературных премий «Традиция» (1996), им. Б. Н. Полевого (1996), премии «Умное сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992) и других. Обладатель «Бронзового Витязя» (2019). Лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета РПЦ (2019). Лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени С. Есенина Союза писателей России (2022).

Член Союза писателей России. Живет в городе Электросталь Московской области.

БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ!

В одном из больших домов большого города жил холостяк Петр Петрович, человек незаметный, маленький, худой и чистенький. Дом, в котором он жил, стоял высоко, точно на подносе, этажей было много, а окон еще больше. И каждое хранило в себе по частице высокого неба, в точности повторяя рисунок облаков, их оттенки и переливы. В летние легкие вечера стекла пламенели от заката – зрелище необыкновенное. И всякий раз, когда Петр Петрович возвращался домой, он останавливался поодаль, закладывал под мышку свою трость стеклянного набора, неторопливо протирал очки платочком и любовался.

Снизу вверх казалось, что дом кренится, вот-вот рухнет, и от этого делалось жутко и весело...

– Вот так громада! Какая великолепная силища, а стоит себе – и молчок... А ведь когда-то и ухнетя... о-о...

Петр Петрович, видимо, всем существом своим желал в своей серенькой жизни увидеть что-нибудь необычное, из ряда вон выходящее. Но дом стоял себе как стоял. Глухо отражал он любой звук, был прочен, был нем и холоден, словно крепость, и Петр Петрович, вздыхая, отмерял тросточкой коротенькие шаги – от угла дома до крыльца их было девятнадцать, потом погружался в гулкую утробу подъезда, в его холодное пространство, и пропадал до утра. Подъезд поглощал его, как огромная разинутая пасть, и покорность, с которой Петр Петрович от-

давал ей себя, один вид этой покорности мог бы вогнать в тоску самого веселого от природы человека.

Петр Петрович шел черным узким коридором, непроглядным даже в погожие дни, и однажды поймал себя на мысли, что против воли пригибается, как-то весь сжимается от страха удариться обо что-то в темноте, и с горечью подумал: «Вот так-то и во всей моей жизни».

Было так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Утром шла мимо дома, рекой текла толпа, она подхватывала Петра Петровича, а вечером возвращала усталого, чуть потрепанного, слегка ошалелого и смешного. И опять он задира голову, и опять разглядывал что-то на холодной каменной стене, ждал, пугался собственных мыслей и семенял домой. И если бы кто-нибудь сказал ему тогда, что с высоты седьмого этажа на него с интересом смотрит некто Иван Дмитриевич, Петр Петрович очень удивился бы. Он и представить себе не мог, что им может кто-то интересоваться.

Спешить Петру Петровичу было некуда и не к кому, сам же он был настолько мал и близорук, а дом так громаден, что разглядеть в серых лужах окон хоть что-нибудь было очень трудно.

Как раз в то самое время, когда Петр Петрович появлялся во дворе, некто Иван Дмитриевич стряхивал с себя остатки послеобеденного сна, раскуривал толстую ароматную папиросу и от безделья глядел на улицу, глубокую, как ущелье. И всегда, лишь только догорала его толстая папироса, он замечал Петра Петровича. Трудно сказать, чем этот маленький человек привязывал его внимание. Ясно другое: Иван Дмитриевич видел его ежедневно и уже улыбался ему как старому знакомому. И Ивану Дмитриевичу казалось, что Петр Петрович тоже в ответ улыбается. Случалось даже, что Иван Дмитриевич махал рукой Петру Петровичу, а тот как раз в это время снимал шляпу, чтобы не сронить ее, задирая голову, и получалось, что они друг друга приветствуют.

Затем Иван Дмитриевич плотно ужинал, пил свой крепкий приторный кофе и опять курил. Это был рыхлый пожилой мужчина с генеральской осанкой и круглыми, развернутыми назад плечами. Голова Ивана Дмитриевича казалась плоской, срезанной на четверть и блестела отполированной плешью. Ровная, словно вытертая долгим ношением фуражки. Сам Иван Дмитриевич нисколько не стеснялся ее и шутил: «Что под шапкой, то мое!»

В прихожей висела гимнастерка старого образца, в углу стоял буковый кий. Сразу после ужина Иван Дмитриевич влезал в эту гимнастерку, брал тонкий-тонкий и несоразмерно тяжелый кий и спускался вниз под семь маршей лестницы, в бильярдную.

Бильярдная находилась в подвальном помещении того же дома. Иван Дмитриевич гонял там шары с вечера до полуночи, время от времени подумывая о том, как хорошо и все же нехорошо быть в отставке, в достатке и одному. Его штаны темно-зеленого цвета, жарко начищенные пуговицы на гимнастерке и строгий стоячий воротник – все это было в полном порядке, а неторопливость и внимательность, с какой он натирал мелом кий, покручивая его в руке, когда готовился к очередному удару, – все это открывало в нем человека очень непростого, бывшего, что называется, и на коне, и под конем в этой жизни. А жизнь шла. И Иван Дмитриевич с вечера до полуночи клал с размаху шары налево и направо по лузам. Не любил играть один, не любил сам писать мелочком на доске и за деньги не держался, то есть был не жадюга.

И не раз приходилось маркеру подниматься со стула и нехотя менять ему побитые шары на зеленом поле бильярда и в сетках луз, раздутых, как карманы подростка от ворованных яблок.

А Петр Петрович? Кто же знает, чем он занимался в это время... Известно лишь то, что с темноты до утра он не переступал порога своей квартирki по той простой причине, что ему некуда было пойти.

Но однажды в пятницу, 12 апреля (и до сих пор эта дата обведена в календаре Петра Петровича кружочком от бордового карандаша), в жизни его случилась необычная, радостная и трагичная перемена...

Началось с того, что возвратился он не в пять, как обычно, а в семь часов вечера. И был так расстроен и разбит усталостью, что в спешке попал не в свой подъезд, но, сразу же заметив это, повернул было обратно, как вдруг услышал смех, а за ним и громкий говор и увидел косую, сломавшуюся на ступенях полосу света из-за полуоткрытых дверей. Полоса света была зеленой от неплотно задернутых штофных занавесок.

Раскат смеха повторился и был так некстати сейчас, так не сродни мыслям Петра Петровича, что он опешил. Потом торопливо и скоро спустился под лестничный марш, и, отворив дверь, сказал раздельно и в сердцах:

– Ничего веселого, молодые люди! Ровным счетом ничего веселого, да!

С той же чудаковатой поспешностью круто повернулся на каблуках и вышел... нет! И вот тут-то он и столкнулся грудью с Иваном Дмитриевичем. И то ли проход был так узок и темен, то ли Иван Дмитриевич так грузен и мясист, только Петр Петрович оказался вдруг вытесненным обратно в бильярдную, а узнав при свете лампы его лицо, толстый Иван Дмитриевич сказал запросто, как знакомому:

– Ба-ба-ба! А я вас знаю!

И само внезапное появление такого крупного, добротного, ладно скроенного человека, и известие, что его, Петра Петровича, может кто-то знать, так его огорошило, что он не нашелся что ответить.

В накуренной комнате били по шарам, а Петр Петрович и Иван Дмитриевич уже улыбались друг другу.

– Я, это, собственно, хотел... – сказал Петр Петрович, краснея и огибая сторонкой Ивана Дмитриевича. – Это... я...

– А это я! – ответил Иван Дмитриевич, протягивая свою очень мягкую ладонь, широкоую и горячую.

– А это... вы... – проговорил вконец потерявшийся Петр Петрович.

– Повоюем? – спросил Иван Дмитриевич.

– Это как? – не понял Петр Петрович.

И тут же, при общем внимании, ему был вложен кий в руки, и он на потеху всей бильярдной братии ткнул им в шар впервые в жизни. Иван Дмитриевич одобрительно промычал, следя глазами за бегущим шаром, написал мелком виньетку на большом пальце левой руки и с тяжелой грацией взмахнул локтем. Его шар прокатился, как гром по ясному небу, и состязание началось. Так – помнил Петр Петрович – началось посвящение его в товарищество игроков.

Через полчаса – когда-то одинокий во всем мире, а теперь разгоряченный азартом и счастливейший из людей – Петр Петрович топтался вокруг бильярдного стола и, неловко, врозь расставляя локотки, бросал отрывисто и резко:

– Свой в левый угол! – и, приседая, бил в шар.

– Вот так! – повторял он, запирая дыхание, и замирал в полуприседе, пока шар не обегал все борта и не останавливался, крутясь, где-нибудь в уголке.

– А мы вот так! – отвечал ему Иван Дмитриевич и удачным карамболом, вздернув кверху плечо, вгонял с маху «чужого» в лузу.

– Как это вы его ловко! Ишь карман-то оттопырил, тяжелый, дьявол, – говорил Петр Петрович, добывая шар в руки и устанавливая на полочку.

Шары Ивана Дмитриевича Петр Петрович пересчитывал с особенным удовольствием, двигал и носил осторожно, как свежие птичьи яйца. И все-таки Ивану Дмитриевичу было скучновато с вечно проигрывавшим Петром Петровичем, и поэтому он предпочитал играть вчетвером. И нужно было видеть, как тогда при каждом новом, влетевшем в лузу шаре Петр Петрович восхищенно вскидывал руки, с каким уважением глядел на Ивана Дмитриевича и с таким конфузом за себя, за свое жалкое существо, тер пальцем углы, о которые ударялись его шары. И ясно тогда становилось видно, что Петр Петрович болеет вовсе не за себя, а за Ивана Дмитриевича, хоть тот и без того очень ловко, с плеча впечатывал шары один за другим в лузы так, что за показ можно было деньги брать.

Тем же вечером Петр Петрович впервые за много лет отомкнул дверь своей квартиры с улыбкой на лице. Перед глазами все еще стоял добрейший Иван Дмитриевич и то и дело оживали, бегали веселые шары, крепко хлопая друг о друга и широко раскатываясь по зеленому стертому сукну.

«Очень, очень хороший человек, – думал Петр Петрович об Иване Дмитриевиче утром следующего дня, – серьезнейший, добрейший человек...»

И он опять снимал и протирал перед зеркалом платочком очки, и все лицо его казалось в это время еще милей, и проще, и радостней.

И они опять играли. Играли и на следующий день, и Петр Петрович уже с нетерпением ожидал, когда наконец в бильярдной покажется осянистая фигура Ивана Дмитриевича.

Петр Петрович приходил намного раньше, приходил он заранее с удивительной охотой поговорить. Он ждал и не мог дожждаться Ивана Дмитриевича. Он хотел слышать его низкий тембровый голос, хотел видеть его крупные, круглые, развернутые плечи и ладно посаженную, плоскую от плечи, лобастую голову. Голову Иван Дмитриевич носил как-то особенно, гордо: чуть-чуть назад и сызбоку. Умело носил. И все это: и свое уважение к Ивану Дмитриевичу, неизвестно откуда и как взявшееся, и свою расположенность к бильярду – Петр Петрович чувствовал ясно. Случались теперь дни, когда часами напролет Петр Петрович гадал, что бы такое придумать, чтобы еще ближе расположить к себе Ивана Дмитриевича. В жизни его теперь появилась как бы тонкая струна, звонкая, поддерживающая его существование. Часами отыскивал он темы для будущих бесед. Находил и подхватывал интересные случаи и анекдоты, такие, чтобы они уже сами по себе подразумевали в нем, Петре Петровиче, ум и чувство юмора. Когда же темы для разговора не находилось, он тщательно осмысливал, что по логике вещей может увлечь Ивана Дмитриевича, и шел еще дальше: старался предугадать весь их разговор, диалог, сцены. И всякий день теперь до встречи Петр Петрович бывал радостен и счастливо взволнован. Он перестал останавливаться перед стеной своего дома и любоваться светом заката,

а проходил мимо поспешно, теперь он был занятый человек, теперь он вечно спешил: нужно было сделать то-то и то-то, скорей, как можно скорей. И румяная как яблочко продавщица от души смеялась, когда Петр Петрович путал персиковое варенье с майонезом «Провансаль».

А потом – бильярд.

И все-таки он продолжал казаться себе мелким, маленьким и неуместным, даже смешным в сравнении с крупным и величественным Иваном Дмитриевичем.

– А погодка на дворе чудесная, по заказу! – говорил Петр Петрович, потирая руки и мелко, ненатурально смеясь. И ему было стыдно, что он так лживо смеется и потирает руки. Но Иван Дмитриевич, казалось, не замечал этого.

– Не подморозило бы опять, – отвечал он сдержанным басом.

– Ой, а сколько же на улице-то?

– Двадцать два – для интересу! Ну, не начать ли нам?

И опять, как вчера, как много дней назад, крепко хлопали друг о друга шары и разбегались в разные стороны.

Первые дни было заметно, что Ивану Дмитриевичу скучновато, и тогда Петр Петрович из кожи вон лез. Он намеренно спешил, натирая мелом кий и себе, и Ивану Дмитриевичу, исполнял мелкие обязанности шута и маркера, пыжился, прицеливаясь, потешно выдувал губы и пучил глаза. И по-прежнему часто и мелко смеялся.

Что заставляло его пасть до постыдного шутовства? Он не задумывался. Да и в этом ли дело... Просто и ему было приятно делать то, что нравилось Ивану Дмитриевичу.

– Быстро же ты делаешь успехи! – сказал ему как-то Иван Дмитриевич.

– Стараю-ся! – и это старомодное «ся» проскрипело как заискивание, и опять стало стыдно.

– А Петр Петрович-то у нас, – сказал вслух Иван Дмитриевич, принимая от него пальто, – от двух бортов бьет в середину так, что за показ деньги брать можно!

– Ну?! – притворно удивился кто-то, мельком взглядывая на Петра Петровича. – Полковник, вы куда?

– В никуда.

– Как это?

– А так: до-мой.

– И я домой, Иван Дмитриевич. Подождите, Иван Дмитриевич...

...Ночь Петр Петрович спал дурно: то ему казалось неловко оттого, что он не сказал, не успел сказать Ивану Дмитриевичу что-то очень важное, то вдруг подхватывало и согревало теплое веселье от похвалы и в ушах стоял чей-то бархатный баритон: «Ну-у». Затем наставал новый день, и вновь Петр Петрович тщательно отыскивал темы и фразы и мило, по-детски радовался каждой, как ему казалось, удачной находке. «А он бы мне ответил вот так... или нет, скорее вот как...» – думал он и сам бы не мог сказать, откуда бралось то веселое чувство, которое окатывало его с ног до головы. Это было что-то похожее на влюбленность, да он и не хотел вдумываться в это чувство, боясь погубить его размышлениями.

Однажды Петр Петрович, с крупным портфелем под мышкой, в белом халате, время от времени выбивавшемся из-под пальто, с какой-то излишне сосредоточенной серьезностью вошел в один из подъездов своего дома. Поднялся на седьмой этаж и трижды позвонил. Пахло от Петра Петровича коллодием.

– Врач! – сказал он, вытирая ноги и так наклоняя голову, словно собирался бодаться. – Врач. Кто болен? Где больной? – И сунул в протянутые к нему руки свое коверкотовое пальто.

– Врач? Так-так-так... – приветствовал его знакомый голос. Петр Петрович поднял голову. Улыбаясь, держа в руках пальто, перед ним стоял Иван Дмитриевич.

– Вот! – сказал Петр Петрович. – Это вы, Иван Дмитриевич?

– Я, Петр Петрович, как видите, живой, здоровый и даже не поцарапанный, – он зацепил петлю пальто за крючок. – Вот так-то, будьте любезны.

– Да?

– Да!

– Однако не очень и здоровы, как я понимаю? – Петр Петрович снова протер платочком очки. И оба засмеялись: ха-ха-ха, хо-хо-хо!

Битый час Петр Петрович осматривал крупное тело своего дородного друга. Забирал в ладонь мягкую горячую кожу его живота, мямлился, тискал, вкладывал пальцы в ребра, утонувшие в складках жира. Постукивал по спине. Считая пульс, он неодобрительно поморщился и покрутил головой. Окидывая взглядом всю эту гору мяса, сказал:

– Знаете, Иван Дмитриевич, миленочек, ведь у вас нейроцистостомия и тахикардия страшная.

– Вот?! – удивился Иван Дмитриевич. – Что же, мне жить-то – два понедельника?

И, подумав, добавил:

– Знаете что, оставайтесь-ка у меня!

– Ну?!

– Что «ну»! Ведь я же могу умереть, вы же сами сказали.

– Я так не говорил...

– Нет, вы сказали. Сейчас вы останетесь и будьте любезны – чай пить.

– А что, и останусь. Вы ведь у меня сегодня последний.

– Да вы и совсем оставайтесь.

– И совсем останусь...

И Петр Петрович поселился у Ивана Дмитриевича. Утром они вместе завтракали по-холостяцки: яишенкой или холодцом, но очень умеренно. Потом до пота и красноты лиц напивались чаю с кренделями. И незаметно Петр Петрович перенял у Ивана Дмитриевича словосочетание «будьте любезны». Он говорил так: «Придете, и вот вам чай, будьте любезны. Нет, вдвоем не в пример жить кучерявее» или: «А вот и я, будьте любезны», «Будьте любезны, Иван Дмитриевич!».

Иван Дмитриевич страдал грудной жабой. Болел он давно и неизлечимо, и Петр Петрович, принявший приглашение поселиться у него, принялся ястребом следить за здоровьем больного. Он напускал на себя неприступно-строгое выражение, разбавлял Ивану Дмитриевичу чай, горький, как пиво, и, вконец осмелев, принялся прятать папиросы и спички, чтобы тот не курил. Но Иван Дмитриевич всякий раз находил их и снова жарко раскуривал толстую папиросу, наполняя комнаты душистым дымом папирос «Аида», дым стоял и волновался на кухне от малейшего движения. Этот душистый дым везде преследовал Петра Петровича, и он, к своему тайному удовольствию, пропах им насквозь. Запах ароматного табака не давал ни на минуту забыть о том, что у него есть друг, а значит, и семья, потому что друг был по-настоящему добрый, надежный и большой. Он помнил об этом на улице, в аптеке

и дома, в парикмахерской, в бане – везде. Мирно и легко текли дни, и не было им счета.

Здоровье Ивана Дмитриевича шло на поправку.

Только раз Петр Петрович пришел немного взволнованный и сказал с виноватой улыбкой, усаживаясь за обеденный стол:

– Знаете, а меня ведь сегодня на пенсию выгнали!

– Ну! Что вы говорите! – удивился Иван Дмитриевич.

– Да, на пенсию. Теперь я свободен. Свободен, как птица в полете. Совсем, совсем... А так... жаль. А у вас есть семья?

– Есть. Дочь. То ли в Джанкое, то ли в Симферополе, а вернее – то там, то там. И писем не шлет. Вот и заводи их, детей-то...

– А я, знаете ли, всегда как-то был одинок, – тихо, точно сам себе, говорил Петр Петрович. – Всю жизнь. Так вышло. И даже не замечал, не тяготился этим своим одиночеством, пока вот вас не встретил.

За сильными очками Петра Петровича не видно было глаз, и оттого он казался Ивану Дмитриевичу безликим, вроде тех трогательных слабых людишек, каких он так часто встречал за свою жизнь.

– Да-да. Знаю это. Это что-то вроде веры в Бога. Потому-то, может быть, среди одиноких чаще всего встречаются верующие...

– Именно. И еще. Больше всего это присуще, извините, женщинам. Но они ищут опоры в замужестве, а это другое... Вот вы спрашиваете, почему я не был женат. Именно по этой причине: какая, позвольте спросить, из меня опора? Да мне ее хоть самому подавай, да где взять-то?

– Ищут поддержки.

– Да уж, поддержки. А женись я? Разве мог бы я стать поддержкой? Нет-нет...

И опять летели дни, и теперь Петр Петрович поднимался в свою квартиру только лишь для того, чтобы поменять что-нибудь из одежды. Так он поменял демисезонное пальто на пиджак, потому что наступило лето, и, прихватив кое-какие книги, спешил скорее, скорее выйти вон. Эти вынужденные возвращения к себе, в свой гардероб, превратились для него в пытку. Слишком много дней, пустых и желтых, провел он в этих четырех стенах и теперь с неподдельной радостью спускался он и спешил, спешил к Ивану Дмитриевичу, подальше от своего затхло-го жилья, пропахшего чем-то стоялым, душным, сыростью начавших уже плесневеть обоев и падающей штукатурки. Он спешил и шептал на ходу в такт шагам:

– Покой, покой, покойник... Покой, покой, покойник...

Он бежал из своих «покоев» к Ивану Дмитриевичу, торопился к его ароматному табачному дыму, к его грубому говору, шумной одышке и потом из передней с удовольствием слушал, притаясь, как Иван Дмитриевич опять и опять говорил сам о себе в третьем лице: «Иди, генерал!», или «Ешь, генерал!», или «Вот включу свет (и включал), занавешу шторы (и занавешивал) и лягу спать...»

И так во всем.

После таких вынужденных возвращений в свою комнатку Петр Петрович особенно остро и радостно сознавал, что он живет, и ему хотелось жить. Да-да, жить, вот так просто и радостно, долго, тысячи лет. Со времени ухода на пенсию он почти не расставался с Иваном Дмитриевичем.

В одно из воскресений, в полдень, Петр Петрович по привычке отпер дверь Ивана Дмитриевича своим ключом, вошел в квартиру, а Ивана Дмитриевича не было. Не было Ивана Дмитриевича и к вечеру, и к

следующей ночи. И на следующий день тоже не было. Удивление Петра Петровича сменилось испугом и, наконец, все возрастающей тоской.

Протолкавшись сутки в толчее больниц, вокзалов и милиций, он оглох от звонков, треска, скрежета и движения толпы. Петр Петрович вконец отупел, очумел и то и дело принимался дрожать, точно от мороза. Дома он, не раздеваясь, опустился в кресло и затих, задрожал плечами, заплакал навзрыд. Он плакал долго, безутешно, горько и сладостно, сотрясаясь плечами, тряся сухой породистой головой и разводя руками да так и уснул весь в слезах. А очнулся внезапно оттого, что весело и чудесно затрещал вдруг в прихожей звонок и кто-то знакомо крикнул. Сердце Петра Петровича встрепенулось, прыгнуло, и он перевел взгляд с окна на дверь. Звонок повторился, когда он уже с бьющимся сердцем и дрожащими руками, улыбаясь сквозь слезы, распахивал дверь. Против него стоял почтальон, весь черный, как цыган или трубочист, в черном же костюме, с черными волосами и черными, врозь поставленными, словно с чужого лица, глазами. Он молча протянул телеграмму и дал Петру Петровичу расписаться в потрепанной книжечке, которую Петр Петрович так же молча подмахнул и вlepился взглядом в телеграмму... Трепетной рукой сорвал он бумажную ленточку и, задержав дыхание, переводил глаза со строчки на строчку: «Срочно выезжаю дочери». Адрес указывал: Мелитополь, проездом.

Всё...

Слова, которые он прочел, были будто сказаны голосом Ивана Дмитриевича.

Комната еще хранила тот уютный беспорядок, который всюду оставлял после себя Иван Дмитриевич. Там и сям лежали его недочитанные газеты, вещи как будто хранили запах его ароматного табака, прихожая – его бас. Точно он гудел еще, тот грудной тембр: «Будьте любезны...» А сам он?.. Где он был сам? Отъезжал от какого-то чужого Симферополя, белокаменного, со шпилем башни вокзала, далекого, жаркого, ненужного.

Петр Петрович ничего не хотел знать, он знал только то, что он остался один, совсем один. Даже больше, чем один, потому что когда не было никого, то совсем не хотелось верить в то, что кто-то и где-то живет полной грудью, весело и счастливо. «А как же одиноким-то жить? А как же?..»

Он встал и стал быстро-быстро писать письмо. Рука дрожала и торопилась, словно была не своя, а чужая. Петр Петрович несколько раз рвал то, что писал, и пихал в разные карманы пиджака и брюк. И когда письмо наконец было готово, Петр Петрович прочитал его вполслуха и не сдержал грустной улыбки: письмо получилось такое, какое нужно, строгое, ласковое и убедительное. Все в нем сводилось к одному: «Возвращайся». Петр Петрович слабо улыбнулся, когда представил, с каким удивлением будет читать это письмо Иван Дмитриевич, как округлятся его глаза, затем разойдутся в улыбке щеки, растянется рот и, наконец, он погладит себя по плещи, как он делал всегда, когда волновался.

До самого почтамта Петр Петрович не спускал с лица улыбки. Он почти не сомневался теперь, что Иван Дмитриевич вернется, непременно вернется, уж теперь-то наверняка.

– С уведомлением, – сказал Петр Петрович, протягивая конверт, и только тут вспомнил, что не знает адреса.

«Мелитополь, – стучало в голове, – Мелитополь!» Струна, поддерживавшая его существование, лопнула.

В одну минуту он перестал видеть и слышать. Он видел только широкий пустой зал почтамта, насквозь пропитанный теплым сквознячком калориферов.

Два дня он не спал, не ел. На третий его видели в бильярдной с трясушимися руками и сиротским лицом. Он сидел в уголке и смотрел из-под сильных очков на входную дверь, смотрел неотрывно. Чудилось ему, что вот-вот войдет Иван Дмитриевич, гордо неся впереди себя брюшко, и скажет громко: «Во, задержался... А в Мелитополе-то тридцать два – для интересу!»

Хлопнула дверь, Петр Петрович вздрогнул. Вошел незнакомый, и Петр Петрович ясно понял вдруг, что не помнит отчетливо Ивана Дмитриевича и не может представить теперь его таким, каким видел много-много раз. Он помнил голос, помнил его шинель и больше ничего. И когда пытался представить себе Ивана Дмитриевича, то получалось, что разговаривал он с его широкой спиной, – и, чтобы вернуть в память Ивана Дмитриевича, Петр Петрович вернулся в его квартиру, влез в его шинель и прошелся в ней туда-сюда, время от времени заглядывая в зеркало, но так как он при этом очень волновался, то так и не воскресил Ивана Дмитриевича в памяти. Он повторял его жесты, походку, движения рук и голос:

– Ходи, генерал! Хм-м, ма-ма-м... Ешь, генерал. Гм-хрр, смотри, генерал... Нет, не то, совсем не то! Ходи, генерал, будьте любезны!

Захотелось покашлять, и он покашлял – и вздрогнул, так сухо и непривычно отозвался его кашель в пустых комнатах... Потом снял очки и долго-долго протирал их платочком, то очки, то глаза.

...В городе Мелитополе появился сумасшедший. Это был будто бы худенький, слабый человек, старый и седенький, с высоко подрезанными височками. И выглядел он нелепо: маленький, в широченной, с чужого плеча, шинели, с тремя крупными звездами на погонах. Пуговицы этой шинели будто бы взялись от времени и влаги зеленой ярью.

Но больше всего удивляло то, что в руках он носил... кий. Обычный кий, но носил он его осторожно – как носят заряженное ружье. Почему кий? Зачем кий, а не какой-нибудь посох или трость? Этого никто не знал.

Человек этот останавливал прохожих и, извиняясь, приподнимал шляпу. Затем доставал из-за пазухи сложенный вчетверо лист телеграммы и, водя по ней пальцем, спрашивал, не видел ли кто некоего Ивана Дмитриевича Кошепьяна...

– Такой плечистый, видный мужчина. Такой... Его трудно не заметить, и лицо у него такое, такое... И одышка еще вот так: хх-о... – и маленький смешной человек показывал, как дышит воображаемый Иван Дмитриевич...

Прохожие спешили от него, не оглядываясь.

Однако он все же оказался в психиатрической клинике и был тщательно и придирчиво выслушан и выпущен со строгим наказом одеться прилично и вести себя с достоинством, как подобает нормальному человеку, а тем более в прошлом – врачу.

– Иди, иди, – сказала ему кастелянша, – иди, Кошепьян! – и проводила его до дверей. – Ишь, хрущ какой, а еще седой, чучело! – И поспешно, с оглядкой скрылась за простенком коридора.

В этот день ярко светило по-осеннему холодное солнце и было зябко. То ли от этой текущей мимо людской толпы, то ли от высокого негреющего солнца, но маленький седенький человек в шинели поежился.

Трещали трамваи. По-прежнему подходили поезда к вокзалу, сменяли друг друга автобусы на остановках, выплескивая на площадь и тротуары толпы народа. И шел, шел этот народ куда-то в молчаливой спешке, спешке на месте. Старухи торговали помидорами, грецкими орехами. Хлопали и переходили из рук в руки двери магазинов. Толпа шла молчаливо и нестройно, как разбитая армия. И эта страшная свобода среди множества безликих существ, когда можно бормотать что хочешь, показывать язык, декламировать стихи, и никто не услышит, не придаст этому значения; можно строить рожи, прыгать на одной ноге или топтать ногами, – эта странная и страшная свобода уже не поражала Петра Петровича. Это самое изумительное из одиночеств – одиночество в толпе. Кажется, что толпа не идет, а плывет над землей, подталкивает плечами, раскрывает, расталкивает перед тобой проспекты, заставляет видеть то, что читает она: те же проспекты, аншлаги, вывески и объявления. Читать те же газеты, что и она. Толпа берёт от тебя часть твоей жизни, и топит ее в общем котле, заставляет терпеть и спокойно мириться со всем тем, что тебе открывают и показывают. И это ощущение одинокой общности со всеми вдруг совершенно излечило маленького седенького человечка в роговых очках. И толпа великодушно приняла его, медленно, шаг за шагом спустила с крыльца, наступая на волочащуюся по ступеням шинель... Толпа скрыла и потопила его, и никто не замечал странного вида этого маленького человека, ни букового кия в его руках, ни измученного, бледного, растерянного лица. Лишь психиатр, тот самый врач, что четыре часа беседовал с ним, глядел теперь ему вслед из окна своего кабинета. Но и его внимание отвлекла вялая осенняя муха, долго выбиравшая, куда бы ей сесть на подоконнике. Психиатр без труда раздавил ее пальцем, а когда поднял голову, то уже не смог различить своего недавнего пациента в десятках других людей, снующих взад и вперед.

Голова Петра Петровича скрылась за другими головами, а плечи широкой шинели потонули за другими плечами.

Вот уже и совсем его не стало видно. Теперь уже навсегда.

Анастасия РОСТОВА

Родилась в 1986 году в деревне Пестенькино Владимирской области. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Работала журналистом, переводчиком, копирайтером, организатором конференций, в настоящее время – специалист по маркетингу. Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Берега», в газетах «Литроссия», «Голос писателя» альманахах «Земляки», «Серебряная даль» (Ярославль) и множестве других изданий.

Автор поэтического сборника «Лезвия Розы», исторической феерии «Маки Прованса» и фантастического романа-голограммы «Лепестки». Лауреат премии литературно-художественного журнала «Нижний Новгород» в номинации «Поэзия» (2018). Финалист международного поэтического конкурса «Собака Керуака» (2018).

Живет в Нижнем Новгороде.

ЛИЛИЯМ – ПРЯСТЬ

– Есть истории, которые препарируют тебя, словно они – лезвие, а ты – несчастная лягушка. Вот эта была из таких... – в воздухе повисла пауза, когда иные вынимают сигарету. Марина не закурила, но потянулась за вторым пирожным. «Картошка» с рыхлым шоколадным боком и тремя бусинками сливочного крема вполне годилась на роль обезбола. Обезболить было что.

Ника слушала, пока Марина продолжала вести её по лабиринту своих злоключений на прежней работе. «И тут я... а потом он...» Голос подруги вроде бы не менялся, но накал страстей в сюжете нарастал крещендо. Ника сама не заметила, как скривилась от отвращения. Препарирование живого человека здоровому наблюдать неприятно. Маринка в своём желании счастья, конечно, порой бескомпромиссна, как прапорщик, и мир ей видится в чёрно-белых тонах... Но такой жути она точно не заслужила. Ника тяжело вздохнула. Марина, похоже, заканчивала свой рассказ.

– Потом я нашла ту шарашкину контору, где он всему этому научился. «Московский институт гипноза и НЛП», кажется. Секретарша его по ошибке поставила меня в копию его письма с сертификатом. А может, не по ошибке – хотела предупредить. Про неё помню только, что она уходила в запой. Все это знали, но никто и не думал её увольнять, пока не решили, что выжали из неё всё, что могли. Надеюсь, она в порядке. Ей-то досталось побольше моего...

Ника вздохнула ещё раз и достала расчёску – от такого цепенеешь. Даже когда это было не с тобой. Хотелось разгладить волосы, по которым пробежал ток стресса.

– Когда-нибудь ты об этом забудешь, Марин. Я очень тебе сочувствую. Даже слушать жутко, как этот мелкий царёк отравлял всё, до чего мог дотянуться. Вы все нормальные годные люди. Этот сморчок вам просто завидовал!

– Да я уже как-то начала забывать, оно рубцуется помаленьку. Я только хотела сказать тебе, что недавно пошла в кино. А там какие-то пришельцы, высшая раса, говорят с экрана: «Пока вы не примиритесь с прошлым, у вас нет будущего!» Потом читаю любимого блогера, а у неё на ту же тему – мол, простить надо ДЛЯ СЕБЯ. Это как обнулить счета – не ждать, что убогий когда-нибудь поймёт, что он сделал. Не надеяться, что придёт извиняться.

– Ишь как совпало, Марин! – Ника знала, что так бывает: когда в голове неотступно крутится какая-то идея, всюду ищешь ей подтверждения. Маринка, похоже, попала в такую петлю с этим прощением.

– Вдруг подумалось, что не хочу всю жизнь этот груз таскать. Хочется идти дальше, – подруга ей улыбнулась впервые с начала своего мрачного повествования. В уютном полумраке кафе это выглядело очень уместно. «Когда-нибудь её такой нарисую!» – пообещала себе Ника.

– Получилось простить?

Марина кивнула. Изнутри неё шёл какой-то новый свет. Ника вспомнила, где видела такой же – давным-давно в зеркале, когда она ждала дочку. Маринка сейчас тоже была беременна – своей новой, выстраданной жизнью после.

– Перед тем, как это случилось, я ехала в автобусе. И откуда-то всплыло: «Истинно говорю вам: они уже получают награду свою». И я такая думаю: вот я сейчас столик в «Ляляфе» забронировала, Ника завтра придет, в караоке пойдём поорём, слопаем что-нибудь вкусное, поржём от души! А у этого царя Кашея какие радости? Миллионы свои грязные считать? Ссать, что его разоблачат? Я или кто другой, неважно, шила-то в мешке не утаишь, колется! Ждать, что враги отомстят, которые всё про него уже поняли? И я тогда почуяла, что он уже в аду, и нечего мне ждать, что ему прилетит. У него и без того такая стрёмная жизнь, что хуже некуда. Можно даже пожалеть этого слизняка. Его покалечили – вот и он других калечит. Я вот могу тебе запросто всё рассказать, Ник. А он кому?

– Следователю разве что, когда надумает! – вырвалось у Ники с нервным смешком.

– Во-во! Помнишь у Пушкина: «Жалок тот, в ком совесть нечиста!» Мой грех в чём? Что дура была? Так это не грех – Иван-дурак вон у нас молодец в каждой русской сказке! Как говорят у нас в айти, это не баг, а фича! – Маринка подбоченилась и взбила причёску «а-ля восьмидесятые», и Ника прыснула.

– Пойдём, что ли, друже, песни орать? – спросила она, отсмеявшись.

– А давай! – залихватски, с азартом прорычала Маринка, расправляя грудь.

– «О, я хочу безумно жить!» – это сегодня про тебя. Чего поставит-то? «Каким ты был, таким остался»? – хитро спросила Ника, уже подзревая, что ей ответят.

– На-а-а-афиг, остался и остался, пусть уже сидит там, как сыч! Давай лучше иностранщину! Зря, что ли, англиш в школе-институте пидорасили?

Через пару минут в караоке зазвучали первые ноты Don't stop me now, и подружки, старательно подражая Фредди Меркьюри, выводили: I'm having such a good time, I'm having a ball, If you wanna have a good time, just give me a call”

Ноябрьский ветер принёс откуда-то первый снег, и над барами Рождественской повеяло близким Новым годом, в котором случится много всего интересного.

...Упыря-начальника скоро снимут другие, подобные ему в вечной грызне за власть.

...Из типографии в январе выйдет новая книга Ники в нежной пастельной обложке.

...Маринка выиграет в лотерею жизни куда больше, чем она могла представить.

А пока в караоке «Ляляфа» две подруги собирались домой. Дурашливо подавая Нике пальто, Маринка пропела: «...но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них!» – Ника в ответ от души расхохоталась.

Театр

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижеполиграф».

Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», директор издательства «Книги». Член Российского Союза антикваров, Национального Союза библиофилов.

Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных журнальных публикаций. Участник антологий «Русская поэзия. XXI век», «Молитвы русских поэтов. XX–XXI», «Антология военной поэзии». Лауреат ряда литературных премий: города Нижнего Новгорода в области литературы (трижды), имени Шукшина «Светлые души» (Вологда), Б. Корнилова (Нижний Новгород); финалист премии «Ясная Поляна» (2013) за книгу «Четыре с лишним года. Военный дневник», шорт-листер премии «Золотой Дельви́г» (2013) за роман «Когиз», премии имени И. Бунина (2012) за сборник стихов «Утки не возвратились». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ДОЧЬ ПРОФЕССОРА

Пьеса

Действующие лица

Марина Попова (в девичестве Лисовская) – смешливая и энергичная).

Саша Попо – её жених, потом муж – авантюрный и самоуверенный.

Лисовский Прокопий Николаевич – её отец, профессор медицины, вальяжный и рассудительный.

Лисовская Мария Генриховна – её мать, доцент строительного института – во всем сомневающаяся.

Софья Николаевна – её тётка, сотрудник издательства, редактор, переводчик, старая дева.

Василий Иванович Попов – папа Саши, энергичный, резкий, даже грубый.

Анна Васильевна – мама Саши, домашняя хозяйка.

Ирина Владимировна – воспитательница детей Марины, 40 лет, интеллигентная и несколько жеманная помощница.

Андрей Андреевич – сторожи охранник в доме Поповых, 60 лет – кухонный мужик, всю жизнь на подхвате у Попова.

Иман – прислуга у Поповых

Действие I

Кабинет профессора, книжные стеллажи, письменный стол с настольной лампой, книги на столе, пачки книг на полу, диван, кресла, журнальный столик. Полдень, Лисовский сидит за фортепьяно, наигрывает один из ноктюрнов Шопена.
Входит Лисовская.

Лисовская. Ты хотел серьёзно поговорить.

Лисовский. Да-да, хотел. Муся, ты мать! Неужели ты не можешь что-то придумать? Ведь это же просто немыслимо: она мне сказала, что познакомилась с этим своим мальчиком на улице. Это что – теперь так положено, знакомиться на улицах?

Лисовская. Проша, ты забыл – мы с тобой тоже познакомились на улице. И потом, они познакомились уже год назад. Сейчас май? Ну так почти уже год.

Лисовский. Не помню, как мы познакомились – во-первых, а во-вторых – это к делу не относится!

Лисовская. А стоило бы помнить! Память ты начал терять раньше положенного, тебе ещё нет и пятидесяти. Кстати, Мариночка с этим её мальчиком Сашей познакомились на теннисном корте, где Мариночка тренируется два раза в неделю, к твоему сведению, а вовсе не на улице, как ты утверждаешь. «На улице» – это образное выражение такое. Ты эти тренировки теннисные её одобрял всегда, потому что сам занимался теннисом в юности. Это нечестный выпад, что, мол, я – мать! Так же и я могу сказать, что ты отец, а, начиная с трёхлетнего возраста, отцы уже должны начинать отвечать и за воспитание, и за образование, и за будущее своих детей. Зона личной материнской ответственности в трехлетнем возрасте значительно сокращается, а отцовской соответственно возрастает. Тем более если ты профессор. Ты уже по определению несешь некоторую дополнительную, уже социальную ответственность, и не только перед семьёй, но и перед обществом, с тебя уже особый спрос.

Лисовский. С этим я согласен и это я принимаю. Но, Муся, существуют ещё и какие-то женские, пусть и не интимные, секреты, но которыми дочь может делиться только с матерью. Я это имею в виду. И ещё – вопрос её знакомства на улице или даже на корте с каким-то непонятным мальчиком непонятно почему относится к несколько табуированной сфере даже в нашем узком семейном кругу. А потому у меня опять вопрос к тебе как к матери: почему это тебя не волнует?

Лисовская. А вот на этот счет я, может быть, смогу тебя немного и успокоить. Я несколько дней назад рассказала о своих опасениях, точнее, о наших опасениях, Евгению Алексеевичу. Ты должен помнить его: он учился со мной в одной группе, в институте, а потом оказалось, что он служит в КГБ, а потом уже и в ФСБ, он – подполковник. Помнишь его?

Лисовский. Помню, конечно! Кто таких людей не запомнит? Если уж раз когда-то и познакомишься с таким, то на всю жизнь. Лучше и не знакомиться, да куда тут деться? Вот, наверно, пора и с этим нашим Сашей уже знакомиться!

Лисовская. Мы с ним говорили по телефону, и я ему рассказала про наших Мариночку и Сашу, сказал ему, что мы с тобой очень волнуемся, и попросила разузнать его что-нибудь про этого мальчика. И вот вчера он мне позвонил и успокоил, если только вообще можно успокоиться в этом плане.

Лисовский. Что значит успокоил? Как можно успокоить?

Лисовская. А так! Он сказал, что этот наш Саша Попов совершенно неожиданным образом – сын нашего городского олигарха Попова Василия Ивановича, того, который депутат. Ну, ты понял, о ком речь. Тот, который и банкиром был, и какими-то союзами руководит, и который всё-всё может, и умеет, и с телеэкрана не слезает. Мужик-трудяга, как о нем отозвался Евгений Алексеевич, хотя и не без греха, опять же, по словам Евгения Алексеевича. Уж что там за грехи, я не стала расспрашивать. А потом он как-то странно выразился: что, пока он пользу стране приносит, земля его носить будет. Не поняла я, в общем, половину слов его. Сын этого Попова Василия Ивановича, который наш Саша, с пятнадцати лет с теткой своей, сестрой Василия Ивановича, челночить в Турцию начал и этим дешевым турецким барахлом на базаре торговать. Потом какие-то неправильные, праворукие, что ли, японские автомобили из Владивостока сюда к нам в Россию стал перегонять через всю страну – кошмар! Папа его на это на всё сквозь пальцы смотрел, а потому мальчик и школу толком не кончил, в девятом классе бросил, и в наших институтах не учился, а со справками какими-то липовыми и за деньги где-то за границей учился, и от армии его папа где-то похлопотал и отмазал – это точно! Это я всё тебе рассказываю к тому, чтобы ты не думал и не говорил, что меня ничего не волнует и я ничего не предпринимаю. Волнует! И предпринимаю! А вот ты...

В комнату входит Марина, одетая по-домашнему и с кухонным полотенцем в руках.

Марина. А, вот вы где? Что обсуждаем? Погоду или курс доллара? Я на стол всё собрала – прошу к столу. Сегодня воскресенье – ждём тётю Соню?

Лисовская. Ждём, ждём! Стой, Мариночка, присядь на минутку.

Марина садится.

Марина. Что такое, мамуля?

Лисовская. Ты собиралась познакомить нас со своим Сашей. Когда?

Марина. Сейчас придет тётя Соня, мы пообедаем, потом вы будете пить чай, перетирать мои нежные косточки в предвкушении чего-то необычного, а я побегу на встречу с Сашей, и мы вместе придём к вам за благословением, и будем пить чай все вместе уже большой компанией. Торт и шампанское покупать?

Звонок в дверь.

Лисовская. Да, купите вафельный торт. А шампанское – с какой стати? И поди открой дверь, это Соня пришла.

Марина уходит.

Лисовская. Ну, вот, через два часа нас могут поставить перед фактом, и твоя маленькая проблема решится. Но зато может вырасти новая проблема, покрупнее.

Входит Софья Николаевна.

Софья Николаевна. Что-то вы какие-то озабоченные сегодня. И Мариночка сегодня меня не поцеловала, и у вас молчанка какая-то. Что случилось-то?

Лисовская. Соня, ничего особенного. Просто Мариночка сегодня хочет нас познакомить со своим мальчиком. Надеюсь, что ты тоже удержишься и будешь присутствовать при этой акции.

Софья Николаевна. Задержусь, отчего же не задержаться, даже любопытно. Мариночка, а твоего мальчика как зовут, что он кончал, где работает или служит? В общем-то, ты взрослая уже девочка – можно, и даже положено уже, и кавалера постоянного заиметь. Только просто любопытно.

Марина. Тётя, моего мальчика зовут Сашей, он ничего не кончал, и он работает сам у себя, у него свой бизнес.

Софья Николаевна. С ума сойти! Это что же – он без образования? Как же так можно? В двадцатом веке!

Марина. Сейчас двадцать первый век, тётя! К тому же мой Саша и школу даже не закончил толком – он в пятнадцать лет, то есть в девятом классе, её бросил. Просто он очень умный. Я думаю, что он когда-нибудь президентом станет.

Софья Николаевна. Мариночка, но это же ерундистика полная: у тебя папа профессор, доктор медицинских наук, мама – доцент строительного института и без пяти минут тоже профессор. У тебя в роду за последние двести лет было двадцать профессоров, пять писателей, два адвоката, два министра. Я недавно составила дерево всей нашей семьи: сама удивилась и порадовалась. Ты подумай! Это же мезальянс какой-то получается.

Лисовский. Ну хватит, хватит: про мезальянс – после обеда, а то всё на столе, и уже стынет! Давайте в столовую, и хватит об умном – об умном за столом нельзя! А то, как Чехов-то писал, хуже писателей и философов одни только свиньи едят. И ещё что меня интересует: вот у профессора социальный статус как у народного артиста или всё же пониже – как заслуженный? А народный артист – это уже как академик РАН?

Все выходят. Гаснет свет. Десять секунд темнота. Звуковой хлопок.

Свет снова загорается.

Входят Лисовский с полотенцем в руках, Лисовская и тётя Соня, вытирая салфеткой губы. Не торопясь все усаживаются.

Лисовский. И всё же есть талант у нашей Мариночки: готовит она божественно. Повезёт же её избраннику, когда она замуж выйдет. А впрочем, это лишь подтверждает те положения, которые я отстаиваю последнее время в своих беседах и лекциях: хорошие повара выходят из того круга, где любят хорошо поесть. От бобра – бобрёнок, от свиньи – поросёнок. Вот вы замечали, что у нас в деревнях, и вообще в сельской местности, да и не только у нас, а и за границей то же самое творится: будь то в Европе или в США (там я тоже бывал и по-разному едал). Так вот, на селе, и даже просто в глубокой провинции, приготовлению пищи сплошь и рядом отдаётся меньше

времени и качеству её и разнообразию уделяется меньше внимания, чем в крупных городах, точнее в мегаполисах. Хуже едят в деревне. Пища – ведь это очень важный фактор не только в вопросах выживания отдельного человека, но и развития всей нашей человеческой популяции, если можно так выразиться. А потому и корни всех этих пирожковых,пельменных, фастфудов и макдональдсов, в общем, всех систем быстрого питания – из деревни, из глубокой провинции, а не из культурных центров.

Я понимаю, что «время – деньги», что время надо экономить, а деньги надо торопиться зарабатывать, а это – проблема и забота той прослойки общества, у которой нет за спиной базы, нет за спиной естественной многовековой культурной стены. Это так называемый средний класс! Знаете, кто составляет средний класс в любом обществе? Это те, кто мечтает, чтобы их дети жили лучше, чем они сами живут.

Взять хотя бы вот в последний раз: райцентр, базар, женщина интересная, но уже в возрасте продаёт только что приготовленные, ещё горячие рыбники, большие такие пироги с рыбой. Купили мы, пришли в гостиницу, разрезали... И тесто прекрасное, и температурный режим в печке был выбран правильно: всё пропеклось и не подгорело, а рыба... Рыба, запечена непотрошенная и нечищенная, куски прямо в чешуе, с кишками и с костями. Тесто мы съели, а рыбу выкинуть пришлось. Или вот взять борщ украинский...

Софья Николаевна (*перебивает*). Так, Прокопий, родственники мои дорогие, про рыбу я всё поняла, а расскажите лучше, что это тут за лапшу мне на уши наша Мариночка навешала? Какой это тут образовался Саша, да, как я уже поняла, уже и жених сразу?

Лисовская. Соня, не выпучивай глаза! Мы сами этого Сашу ещё ни разу не видели, а о его существовании только догадывались. И вот тут совершенно по-шпионски выяснили, кто он такой и чей он вообще. А то, помнишь, как в десятом классе у Мариночки мальчик-ухажер образовался да ещё и золотые серёжки умудрился ей, дуре такой, подарить. Объяснил ей, что заработал, когда сторожем на заводе работал. А потом оказалось, что и этот мальчик уже два раза в тюрьме сидел, а отец его и сейчас сидят. В смысле в тот момент, когда всё это произошло, – сидел в тюрьме. А серёжки были просто ворованные, а даритель этот и сам в тюрьму попал вскоре снова. Нам с Прошей тогда вдвоем пришлось к нему домой ходить, серёжки возвращать, с его матерью разговаривать. Да что с ней было разговаривать: она смеялась и плакала одновременно, а мы не понимали отчего. Мне показалось тогда, что она пьяненькая была. А мальчика этого с Мариночкой мы больше не видели, и она про него не заикалась – поняла, видно, всё. А вот про этого Сашу мы всё через компетентные органы разузнали, и кто его родители, и всё-всё-всё. Ты понимаешь, что он, этот её Саша, сын нашего знаменитого богатея, мецената и олигарха Попова?

А ты, Проша, что всё молчишь – про рыбники какие-то да про борщи тут! Ты что думаешь про сложившуюся ситуацию?

Лисовский. Я с полгода назад в каком-то вестнике судебной медицины прочитал странную и, как мне тогда показалось, даже смешную статью. Я бы позабыл про неё. Но вот сегодня... Автор – немец, доктор наук, психолог – рассматривает брак и, в частности, рождение первого ребёнка в зависимости от физиологического состояния женщины. Оказывается не так уж и много у женщины возможностей забеременеть. Описывается большое количество случаев, когда женщины, не беременевшие

много лет, вдруг точно знали и заявляли: «Я вчера забеременела!» А ещё удивительнее случаи, когда безнадежно бесплодные женщины знали, что вот сегодня они могут забеременеть, и беременели. И женихи, которые по многу лет ухаживают за дамой сердца, ждут и часто дожидаются, когда дама созреет и будет готова для материнства. Так же часто мы можем удивляться случайным беременностям от случайных связей, когда рядом были достойные и приличные партии и даже возможности замужества. Ну, в общем, такая смешная статья. Я пересказываю сейчас её содержание безотносительно к нашей ситуации, но если природа распорядилась так, как вышло, то надо знакомиться с мальчиком, с его родителями и решать практические вопросы. А то всё может разрешиться неожиданным, сомнительным или даже предосудительным образом.

Лисовская. И ты что, Проша, всё это серьёзно?

Лисовский. А как же не серьёзно? А то вон как Соня наша – сорок лет со своим академиком Гаспаровым в своем издательстве «Наука» со своими «Литературными памятниками» возилась-возилась, переводила и с французского, и с латыни, и с греческого, а толку никакого! Только всю себя науке отдала.

Софья Николаевна. В каком смысле – толку никакого?

Лисовский. А в том смысле, что ни замуж не вышла, ни детей не нарожала. Сейчас модное такое течение появилось: чайлдфри – мол, мы хотим сначала погулять и порезвиться, а дети – успеется! Но в наше-то время всё было вроде по-другому.

Софья Николаевна. Если ты это про меня, то уж так я порезвилась, так погуляла, что никак не отпыхаюсь! Пахала, вваливала как вол сорок лет! Академик Гаспаров меня любимой ученицей называл, а это дорогого стоит. А то, что замуж не вышла, так я даже тебе, родственничку своему любезному и братику своему любимому, про все болячки свои женские не смогу рассказать всего. Хотя ты всё знаешь и грех на душу берёшь, что сейчас напраслину на меня глупую возводишь.

Лисовская. Я тоже тебя не понимаю, Проша. Вот уже больше чем год и я, и вся моя кафедра билась-билась над тем, чтобы нашу Мариночку взяли на стажировку в Голландию. Ведь то, что Ренцо Пиано понравились её трёхгранные витые пилястры, это ещё ничего не значит. Это значит одно: что ему пилястры понравились. А где он их увидел? В сборнике студенческих работ. Вот в группу Ренцо Пиано, даже на стажировку, ещё надо умудриться попасть. Ведь я, точнее, наш ректорат уже и договор умудрился заключить с Голландией, где группа этого Ренцо сейчас работает, и приказ о командировке на три месяца уже подписан. Ты представляешь, Проша, она же сможет там остаться учиться. А тут!

Софья Николаевна. А кто уж такой этот Ренцо Пиано, что к нему и попасть нельзя?

Лисовская. Центр Помпиду в Париже знаешь?

Софья Николаевна. Знаю. В смысле – на фотографиях видела.

Лисовская. Ну так вот – это работа Ренцо Пиано. Он – наш архитектурный академик Гаспаров, только в мировом масштабе. Это такая школа, после неё диссертацию защитить – раз плюнуть.

Входят Марина и Саша.

Марина. Мамуля, тётечка, я тут Сашу к вам своего на просмотр привела, познакомиться. И, кстати, мы тут кое-что подслушали слу-

чайно, и мне так стыдно за вас стало. Папка, мамулечка, неужели вы думаете, что я эту вашу диссертацию не напишу и не защищу и без этого голландца или итальянца, без этого Ренцо Пиано? Да запросто! И кандидатскую защищу, и докторскую. А ведь тут же, у нас с Сашей, – не просто любовь, а вечность! Это куда интереснее, чем все работы Ренцо. Ты, Саша, давай на стул присаживайся – тебе сейчас будет куча глупых вопросов задана, а ты от степени их глупости так же глупо отвечай и не злись. Я пошла, чайник поставлю, заварю, и потом будем все вместе чай пить.

Софья Николаевна. Саша, я тётя Мариночкина, если что.

Саша. Я догадался.

Софья Николаевна. Что я хотела спросить! Вы действительно среднюю школу не закончили и вынуждены были пойти зарабатывать на жизнь?

Саша. Это не совсем так, в смысле – не на жизнь. Но если вопрос поставлен – отвечу, и, может быть, вы поймёте. Чтобы покороче! Деньги не всегда являются средством для существования, а чаще всего они являются инструментом: благодаря им можно создать что-то новое и интересное. Вот зачем нужны деньги деловым людям, и потому приходится их и зарабатывать, и копить, а иногда просто занимать на дело под проценты в банке. И эти деньги нельзя потратить на какие-то глупости и развлечения, потому что деньги – это профессиональный инструмент бизнесмена. Так охотник может продать и пропить всё: валенки, лыжи, избу, но не ружьё. Так и музыкант может снять с себя последнюю рубашку и штаны, но не расстанется со своей скрипкой. А чтобы покушать или купить дом, или авто, или самолёт – мой папа очень богатый человек, и на эти пустяки у него денег хватит! О-о-очень богатый! И это – неинтересно. А интересно то, что в кармане у него иной раз ни копейки нет, когда я у него прошу на кино. Вы ведь наверняка знаете уже, кто мой папа? А вот строит он и заводы, и комбинаты какие-то, и электростанции, и теплотрассы. А это же миллиарды! А в кармане – пусто. Мне когда-то, в пятнадцать лет, было просто интересно по-пробовать зарабатывать деньги самостоятельно, а в школе учиться стало неинтересно. Вот вам интересно новые знания получать, и вы от этого кайф ловите, а мне интересно что-то новое организовывать и создавать, и я от этого так же балдею. А что в жизни важнее – не знаю.

Софья Николаевна. А папа с мамой как на это посмотрели, на то, что вы школу не окончили?

Саша. Ругали меня, конечно, но я всё равно поступил по-своему.

Софья Николаевна. Так у вас вообще никакого образования нет, что ли? Вы читать и писать-то умеете? Вы книги читаете?

Саша. Я учился полгода в Оксфорде, закончил школу бизнеса в Хельсинки, видимо, ещё придётся где-то и когда-то поучиться. Я неплохо знаю английский и французский, так что в этом плане у меня нет проблем. А читать книжечки – «Войну и мир» или Гомера – у меня ни времени нет, ни желания. Может быть, когда вырасту, лет в шестьдесят. А сейчас, пока молодой, пока силы есть, здоровье, энергия, надо дело делать. А то в шестьдесят или здоровья не будет, или сил. Вон у папы друг, академик Зверев, в шестьдесят лет купил себе пианино, нанял педагога хорошего из консерватории, подучился и играет теперь себе на здоровье и для настроения каждый день

полонез Огинского да «Лунную сонату». А молодость он на науку потратил, на дело, на теоретическую физику и на элементарные частицы.

Входит Марина.

М а р и н а. Мамуля, чай в гостиной будем пить или здесь, в кабинете?

Л и с о в с к а я. Давай тут. Вон журнальный столик освободи и сервируй его. А папа за своим столом посидит, попьёт.

С а ш а. Мариночка, я должен бежать. Я тебе говорил, чтобы на моём участии в чаепитии не рассчитывали – у меня сегодня дела ещё есть. Да и есть что тут у вас и без меня обсудить. Я знаю, как такие переговоры в деловых кругах проводятся. И тут же у нас с вами всё серьёзно, как в большом бизнесе. Мы ещё не раз встретимся, и чаю попьём, и поговорим. Всем здоровья и до свидания.

Уходит. Все молча сидят. Тихо звучит фортепианная музыка. Марина приносит и расставляет чашки, потом приносит чайник и разливает по чашкам.

М а р и н а. Мамуля, лимон резать?

Л и с о в с к а я. Конечно.

М а р и н а. А тортик резать?

Л и с о в с к а я. Конечно резать! И кончай копать, давай садись, у нас к тебе куча вопросов.

М а р и н а. Ну вот – я села. И задавай свои вопросы.

С о ф ь я Н и к о л а е в н а. А сколько ему лет?

М а р и н а. Двадцать два, ровесники мы, даже с одного месяца, он тоже Лев.

С о ф ь я Н и к о л а е в н а. Воспитанный он у тебя, спокойный, уверенный. А ты что же, к ним в качестве прачки или кухарки идёшь?

М а р и н а. В смысле?

С о ф ь я Н и к о л а е в н а. А в том смысле, что ты же читала Марселя Пруста «В сторону Свана»? Там сын нотариуса женится на принцессе какой-то, что ли, но в глазах всех своих родственников он опускается до уровня авантюриста. Так дамы высшего света дарили благосклонностью иногда своих кучеров. Это ведь мезальянс, голубушка, только в инверсии. Ты из почетного положения дочери профессора превращаешься... Мезальянс ведь бывает не только возрастной, не только материальный, но и такой, как и у вас с Сашей. Ты понимаешь это? Ты понимаешь, что существует Сашин высший свет бизнеса, денег и меркантильности и существует наш с тобой высший свет науки и искусства, и они – разные эти сферы! И самое главное – а куда вы торопитесь-то? Защитись – и выходи замуж! Или уже так приспичило?

М а р и н а. Перестаньте, тётечка, я не хочу вас слушать, а может, и любить вас больше не буду никогда, если вы не перестанете. Ничего у меня не приспичило, а если вам захотелось покопаться своими родительскими лапами в области моего интима, то я ещё девушка вообще-то. Диссертацию я для всех вас обещаю защитить: и кандидатскую, и докторскую! И защищу! И мои дети тоже будут детьми профессора. А сегодня я сообщаю вам, что выхожу за Сашу замуж и прошу вашего благословения. Я очень хочу, я прошу вас встретиться с Сашиными

родителями и обсудить с ними практические вопросы. Они тоже хотят с вами увидеться и познакомиться. И напрасно тётка думает, что они, Сашины родители, что-то неудобоваримое из себя представляют, с его папой федеральные министры советуются, а это что-то значит. Хотите, мы к ним домой съездим, я вчера сама у них в первый раз дома была – знакомилась. А можно и к нам пригласить – как решите, так и будет. Скажите мне.

Встает в театральную позу, читает Ахматову.

В Кремле не надо жить – Преображенец прав.
Здесь зверства древнего еще кишат микробы...

И пойду-ка я к себе в комнату, отдохну от вас, почитаю.

Уходит, свет медленно гаснет, играет легкая инструментальная музыка, в полумраке уходят Лисовские. Минута темноты.
Вспыхивает свет.

Стоят Лисовские в вечерних костюмах. Марина заводит в кабинет родителей Саши Попова. Василий Иванович с шампанским и цветами, а Анна Васильевна – с тортом и зонтиком.

Марина. Папуля, мамуля, позвольте представить вам: это родители Саши, с которым я вчера планировала вас познакомиться, Василий Иванович и Анна Васильевна. А это мои папа и мама (*поворачиваясь к гостям*) Прокопий Николаевич и Мария Генриховна. Я пошла чай заваривать, а модератором вашей встречи я назначаю тебя, мамуля. Чай в гостиной будете пить или тут, в кабинете?

Лисовская. В гостиной. И поставь, пожалуйста, в вазу цветы. Анна Васильевна, пройдёте в гостиную, а мужчины пусть тут знакомятся без модератора. Василий Иванович, садитесь вот в эти кресла, они для гостей, а Прокопий Николаевич пока за своим столом посидит, так он комфортнее и увереннее себя чувствует. Я так понимаю, что от нас сейчас почти ничего не зависит – решение принято без нас и обсуждению подлежат только штрихи?

Анна Васильевна. Не знаю, Мария Генриховна, что вы называете штрихами, только мне кажется очень важным делом венчание, и нельзя это принижать. Надо убедить Василия Ивановича, чтобы он включил это мероприятие в сценарий свадьбы.

Василий Иванович. Анна, вопрос с венчанием дети должны решать сами. Это вы потом можете им заявить, что с внуками невенчанных детей сидеть не будете. А вот штрихи некоторые предстоящего мероприятия, то есть свадьбы, надо нам с вами обсудить. Хотя и по всем штрихам я уже почти всё решил, обсуждать-то вроде уже нечего, надо только утвердить. Потому хочу вам всё доложить, чтобы потом не было каких-то кривотолков и разночтений. Я человек неудобный, самодостаточный, решительный и безапелляционный: решил – сделал, возражения не принимаются, а потому – неудобный.

Анна Васильевна. Поняла-поняла-поняла! Молчу-молчу-молчу! И уйду.

Встает, Лисовская берёт её под руку. Женщины уходят.
Василий Иванович по-хозяйски ходит по кабинету.

Василий Иванович. Мы с Анной про вас всё знаем, по крайней мере всё, что надо. И вы, я думаю, представляете, с кем дело придётся иметь, в смысле с кем родниться. Так что докладываю: до недавнего времени я был председателем совета директоров одного довольно крупного банка, Агротехбанк, практически – хозяином. Банк пришлось продать, потому что я как председатель Всероссийского зернового союза должен быть свободен от всяких финансовых зависимостей. Сейчас Россия становится мировым хлебным хабом, и возникает много новых проблем. Вот кричат все, что Россия осиною зарастает, деревня умирает. И хорошо, что умирает, – раньше семь сельских жителей кормили одного городского, а теперь один сельский кормит пятерых горожан. Так что это значит? И как так получилось? А значит это одно – наши селекционеры вывели такие сорта пшеницы, что в детстве моём, я помню, с гектара снимали шесть центнеров, а сейчас тридцать пять! Это что-то значит! Это значит, что сельских жителей нам в стране надо почти на порядок меньше. Или посевных площадей в десять раз меньше. А остальное – пусть зарастает! И деревня пусть в город перебирается. Жить в деревне? А пусть они, кто за нашу деревню ратует, попробуют: без газа, без воды, без канализации. А на обледенелую дырку во дворе в феврале месяце ходить? Пусть попробуют!

Лисовский (*перебивает*). А скажите, любезнейший Василий Иванович, не познакомились ли мы с вами лет пять назад?

Василий Иванович. Не помню! Что?

Лисовский. Говорю, что не знакомы ли мы с вами уже? Лет пять назад мы с вами, по-моему, участвовали в организации международного студенческого конкурса «Сердце в руках» и совместно работали в оргкомитете! Не так ли?

Василий Иванович. Да, было такое! Теперь я помню! И вас, Прокопий Николаевич, тоже твёрдо теперь уже вспомнил. Ваша идея о возможности упростить отбор курсантов тогда, в момент организации конкурса, очень помогла нам. Точнее, даже не нам, а мне – всё равно в результате все в сторону ловко отпрыгнули, а разгрести и к результату работу подводить пришлось мне. Да-да, конечно, мы с вами когда-то познакомились, и это несколько облегчает нашу сегодняшнюю задачу.

В ближайшее время я планирую передать своему Александру некоторые полномочия по ведению и руководству бизнесом, к которому я сейчас имею непосредственное отношение. Пора ему остепениться. Я вчера познакомился с вашей Мариной и остался очень доволен выбором Александра. Я рад, что у них всё обоюдно складывается.

Ходит.

Так вот! Я предлагаю, точнее – я беру все расходы по организации свадьбы, то есть финансирование, на себя и вас сегодня только информирую. Это практически решено. Не то чтобы вы теперь являетесь в качестве гостей, нет – все ваша пожелания и замечания будут и учтены и по мере возможности приняты. Просто я хочу вас сегодня проинформировать о своём предложении, а точнее, уже решении. Я заказываю теплоход для нашей свадьбы, есть там у них, на реке, такая посуда для таких мероприятий, я уже выяснял. Там два ресторана, бар, две танцплощадки, конференц-зал, комнаты отдыха – в общем, всё, что

надо, есть. С гостями – ограничимся одной сотней: тридцать человек с нашей стороны, тридцать с вашей и сорок – пусть молодые приглашают своих друзей.

Лисовский. Да откуда у нас тридцать родственников-то возьмется?

Василий Иванович. А при чем тут родственники? Ректора пригласить надо? Заведующих кафедрами?

Лисовский. Зачем? Зачем на свадьбу моей дочери моего ректора?

Василий Иванович. А затем, что это не вашей дочери и не моего сына праздник, а наш с вами праздник – это мы его организуем и проводим, а молодые пусть потом свои праздники со своими друзьями хоть каждый день устраивают. Такая свадьба бывает у нас с вами один раз в жизни. Случай весёлый расскажу. Были мы тут с моей Анной Васильевной в гостях как-то раз, как бы специально не званые, но случайно нарвались мы на домашнюю свадьбу у нашего старинного приятеля Петра. Точнее, свадьба была у его сына беспутного. Да и не беспутный он, а нормальный сын, в общем-то, только женился уже в пятый раз. Так вот, этот друг мой, Петр, то есть отец жениха, встает с рюмкой из за стола и произносит тост: «Надеюсь – не в последний раз!» С юмором, однако, свадьба была.

Лисовский. Да, с юмором. И что дальше?

Василий Иванович. В смысле – «что дальше»? После загса все собираемся на теплоходе, поздравляем молодых, садимся за столы и идём вниз по Волге тридцать километров до Великого Врага. На посудине будет и тамада, и двое ведущих, которые знают, как свадьбы надо проводить, и нам фантазировать ничего не придётся. В Великом Враге делаем зелёную остановку, все сходят на берег, отдыхаем, выпиваем, молодые садятся в машину специальную, уже заказанную, и едут в аэропорт, а оттуда в свадебное путешествие. Я уже закупил им путёвки в круиз по Средиземному морю на две недели: лайнер один из самых больших в мире, «Музыка» называется, – семнадцать этажей, триста метров в длину, водоизмещение сто тысяч тонн, – в общем, пусть гуляют. Хотел я ещё их обвенчать прямо по ходу в Великом Враге – там и батюшка у меня служит свой, только опоздают тогда они в аэропорт. Ну ничего, недельку-две в грехе проживут, а потом и повенчаются. Вон мы с вами всю жизнь в грехе прожили, и ничего!

Лисовский. Да, в грехе! Грустно как-то всё это всё равно. А пойдёте, Василий Иванович, к женщинам, за стол, борща поедим, водки выпьем за знакомство! А женщины – красенького.

Василий Иванович. Водки? Да, водки можно за знакомство! А женщинам – красенького, говорите? Сейчас случай весёлый расскажу. Сашка ещё маленький был, и жили мы на даче у дальних родственников в Великом Враге. Анна каждое утро за молоком ходила к некой Нюре, деревенской хозяйке, у которой корова была. И вот однажды она к Нюре с утра приходит, а та с огромным синяком под глазом. Анна спрашивает: «Что с тобой, Нюра?» А та: «Упала я вчера в сенях, когда воды пошла попить. Вчера престол был – Никола летний. Пошла я в магазин, купила мужикам вина, а нам, бабам красенького. Сидим за столом, выпиваем, праздник отмечаем, мужики из стопок водку свою пьют, а мы, бабы, – вино из стаканов. Только после двух стаканов что-то качать меня крепко стало. Вот я в сенях-то и упала. Откуда же я знала, что это вино красное, которое “Коньяк” называется, тоже как вроде нашей водки».

Действие II

Прошло десять лет.

Зал в особняке Поповых, стол большой обеденный со стульями,
кресла, камин, лестница на второй этаж с балюстрадой,
две входные двери.

За столом с ноутбуком сидит Саша Попов и что-то в нём пишет
и читает. На столе не убранная после обеда посуда.
Играет легкая инструментальная музыка.

Андрей Андреевич (*появляясь в дверях*). Саша, вопрос разреши?
Саша (*не отрываясь от гаджета*). Какой ещё вопрос?

Андрей Андреевич. Вот ты мне велел пригласить чучмеков ка-
ких-нибудь, чтобы они траву подстригли, дорожки подмели и порядок
на участке навели. Я пригласил двоих, они всё сделали и плитку, где
она провалилась, переложили – сейчас все чисто, аккуратно, порядок.

Саша. Ну и молодцом.

Андрей Андреевич. А сколько им денег-то дать – они два дня
работали.

Саша. Ну ты и вопросы задаёшь. Сколько надо, столько и дай. Та-
ких гостей обижать нельзя, они участковому милиционеру заявление
не напишут: они сарай тебе подожгут, и всё, если обидишь.

Андрей Андреевич. Потому я и спрашиваю.

Саша. Дай им десять тысяч. И покажи им дыру на крыше твоей
домушки – там что-то делать надо. А сейчас давай быстро – надо же,
я только сейчас вспомнил – чеши на огород и нарежь мне букет тюль-
панов самых свежих штук пятнадцать и сбрызни их водичкой, чтобы
капельки поблёскивали. И тащи букет сюда. Понял?

Андрей Андреевич. Понял. А у них, у этих, рожка не треснет?
Десять тысяч! Крышу мы с ними посмотрели – на следующей неделе
они придут и всё сделают – рукастые чучмеки попались.

Саша. Ты понял, что я сказал?

Андрей Андреевич. Да понял я, понял.

Саша. Андрей, ты всю жизнь у отца на хозяйстве – ты всё должен
знать и всем рулить сам. А последнее время что-то с тобой творится.
И не последнее время даже, а уже больше года, наверное. Что случилось?

Андрей Андреевич. Да как Анны Васильевны не стало, плохо
я стал что-то некоторые дела делать и соображать, менжуюсь как-то.
А с деньгами вообще всё она решала: что купить, что заказать, сколько
платить.

Саша. Да, мамы нет. И больше уже не будет. Это был её дом. Тогда
давай договоримся – все эти мелкие хозяйственные денежные вопросы
решай с Мариной. Меня только на серьёзные, стратегические мобили-
зуй, а то вот отвлék. А вот и она.

Входит Марина.

Андрей Андреевич. Понял я, пошел я.

Уходит.

Марина. Сашуля, у меня к тебе три вопроса.

Саша. Готов, слушаю.

Марина. А почему тут грязная посуда на столе?

Саша. Это что – первый вопрос? Это не ко мне, это к Ирине Владимировне твоей. Хотя я и чай ещё не пил.

Марина (*зовет*). Ирина Владимировна!

Ирина Владимировна. Да, Марина.

Марина. Это что?

Ирина Владимировна. Да не могу я грязную посуду убирать, пока Саша за столом сидит. Я убираю всегда, когда он уже в кресло садится, а сегодня он за столом работает – вот я...

Марина. Уберите всё это и подавайте чай – я тоже попью. Хотя я сама пойду, заварю. Нет, заварите сами. (*Садится за стол.*) Сашуля, ты не забыл, какой сегодня день?

Саша. Что ты, что ты, Мариночка моя.

Встает. Входит Андрей Андреевич с тюльпанами. Саша берёт букет, вручает Марине, целует её.

Марина. Как у вас будто всё по нотам разыграно! А ты Андрею Андреевичу сообщил, что сегодня пятнадцать лет нашей совместной жизни? Андрей Андреевич, ты знаешь про то? Саша, ты Андрею Андреевичу не говорил? Так что, Андрей Андреевич, ты вечером с мальчиками в цирк идешь, а девочек я на Ирину Владимировну оставляю. Сами мы идём в новый самый модный клуб «Гудок». Я купила себе в Милане костюм от «Бёрбери» и сумочку самую-самую от «Гермес Пикотин» как раз для такого случая.

Андрей Андреевич уходит. Ирина Владимировна приносит чашки, чайник, ставит на стол.

Саша. Я всё понял. Только и ты должна была кое-что помнить – я сегодня лечу в Турцию и в Египет дела решать, и через три часа у меня самолёт. Ничего уж тут не поделаешь. Так что клуб у нас с тобой случится через неделю. А если хочешь, полетим в Париж отмечать наш юбилей.

Марина (*разливая чай*). Да помню я – только думала, что сумею тебя продовать. Саша, последние дни ты приходишь домой растрёпанный, как мочалка, или выжатый как лимон – не знаю даже, как точнее выразиться. Может, мне с тобой полететь, может, помочь как-то смогу?

Саша. Нет-нет! Я только хуже волноваться буду. Буду всё время думать о тебе. Лучше скажи, как дела у мальчишек в школе – год-то кончается? Проблем у них нет?

Марина. Нет, проблем нет. Не пугай меня – что это ты про детей вспомнил? Ваня переходит в шестой, Митя – в третий. Оценки у них – только «хорошо» и «отлично». Правда, мне всё время приходится торчать в школе: то какие-то праздники, то ремонты, то экскурсии, то просто нагло денег просят. И какое же это бесплатное образование?

Саша. Ты прекрасно знаешь: сыр бесплатный – только в мышеловке.

Марина. Сегодня Ваня на тренировке, на футболе, Митя – на французском, вечером они в цирк пойдут. Английским они каждый день с Ириной Владимировной занимаются, и у них очень хорошие успехи – она сама мне говорила. Девочки, Полинка с Дашкой, наверху с дедом сидели только что, играли, баловались: он в них души не чаёт. Сейчас

они побежали на участок. Как они интересно играют, близняшки, – который год, пять лет уже, смотрю на них и изумляюсь. А дед спит – Ирина Владимировна проверяла. Я в этом месяце планирую снова в Милан слетать. Вот ты вернёшься, и я полечу. Надо мальчишкам и обувку какую-то на лето прикупить, и трусики с маечками. Сейчас родители хотели прийти, ты дождёшься?

Саша. Нет-нет! Мне уже пора.

В комнату заходят Мариночкины родители.

Мария Генриховна. А вот и юбиляры! Ставьте бутылку на стол. Мы ведь не по пути, а целенаправленно – такие даты положено отмечать в кругу родственников.

Саша. Мария Генриховна, Прокопий Николаевич, простите, Христа ради. – не могу, не успеваю – спешу. А потом я ещё и в Турцию по делам улетаю сегодня, прямо сейчас – надо только ещё подготовить документы, которые с собой беру. Убегаю! Целую и убегаю. С вами я прощаюсь, а с тобой, Марина – не знаю, как получится.

Уходит.

Марина. Папуля, мамуля, садитесь за стол чай пить. Правда, могу и полноценным обедом накормить – у меня всё есть: есть настоящий рассольник с каперсами, сосисками и копченостями. А хочешь, папка, – могу просто угостить правильно приготовленной бараньей почкой с моим персональным острым соусом. Помнишь, за что мистер Блум у Джойса в «Улиссе» любил с утра баранью почку? За то, что во рту на нёбе на целый день оставался лёгкий привкус мочи!

Декламирует.

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка,
Монахи выпили вино.

Мария Генриховна. Давай чай, раз вина нет. Мы шли, рассчитывали на праздник. Семейные даты надо в семье отмечать. И что это ты и Мандельштама, и Джойса вспомнила?

Марина. У меня всё, конечно, есть. И Мандельштам, и Джойс! И вина для вас сейчас найду. Только праздника нет. Давайте крымского «Кокура» дамского, сладенького по рюмочке? А папка не будет, наверное?

Сядутся за стол. Ирина Владимировна приносит чайник, расставляет чашки, Марина достает из буфета бутылку, рюмки, разливает.

Прокопий Николаевич. Нет, не буду я с вами вино, и баранью почку твою тоже не буду – привкус мочи на нёбе я не люблю! Ты расскажи нам лучше, как Василий Иванович себя чувствует? Он пришел в себя после смерти Анны Васильевны или по-прежнему... хандрит? Нехорошо я выразился!

Марина. Да, он все дела свалил на Сашеньку моего, а сам хандрит: сидит у себя в комнате, в телевизор уставившись. Вечером с Сашенькой час или полтора пошепчутся о чем-то, и всё! Я даже не представляю, как он раньше тянул всё это сам и один – мой Саша просто погибает! Не представляю! А потом, он ещё матом стал ругаться, и по делу, и без дела. Да, грязно как-то всё выражается-то! Как матрос! Я слов-то таких не знаю – сам он на ходу, что ли, придумывает. Я за мальчишек своих уже думаю: как бы они тоже не начали материться. Всё же им восемь да двенадцать лет.

Прокопий Николаевич. Есть на свете такие мужики-ломовики, как твой Василий Иванович, – на них весь мир стоит. Ты не помнишь, как пятнадцать лет назад ты нам с матерью сказала, что защитишь и кандидатскую диссертацию, и докторскую, и профессором станешь и чтобы мы на этот счёт даже не волновались. Так как? Это я не в упрёк, а к тому, что тянуть всё в одиночку – не каждый сможет! Это я про ребятшек уже твоих. А за мальчишек не волнуйся: дети, они стерильные, к ним шелуха словесная, матерная не пристанет. Меня ты больше волнуешь – как бы к тебе не прилипла вся эта грязь новая. Ты можешь на этот счёт у своей тётушки поинтересоваться, она тебя просветит: русский язык, он самоочищающийся. Знаешь, сколько мусора приходило в него в мутные эпохи, и не само приходило, а писатели сами и заносили: и в «пушкинские времена», и после революции, в двадцатые, и в страшные девяностые.

Марина. Папка, а ты прав – у меня сейчас по этому дому целых четыре мои настоящие докторские диссертации бегают, а точнее – две кандидатские, а две уже настоящие полноценные докторские. И мне придется защищать их ещё много и много лет! Ты с этим согласен? Ты же умный!

Прокопий Николаевич. Да-да, конечно!

Мария Генриховна. А с Ириной Владимировной у тебя как отношения складываются? Хотя что я спрашиваю? Конечно, у вас с ней должно всё получаться. Она мне кажется очень достойной женщиной, культурной, образованной. Я тут по телевизору смотрела какую-то воспитательно-образовательную программу, и там говорилось открытым текстом, что сейчас у наших богатеев-миллионеров на Рублёвке очень модно нанимать в качестве горничных и нянь филиппинок. Я не знаю, какие они, эти филиппинки, – как китайцы или как африканцы, только всё равно: чему они могут хорошему научить наших русских детей. Хотя мелькнула у меня одна конспирологическая теория, что на Рублёвке давно уже не живут русские люди! Как тебе моя мысль?

Марина. Не знаю, не знаю, мамуля, – у меня друзей на Рублёвке нет. Надо подумать, а лучше – проверить! Я же тебе говорила уже как-то, что Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, что она доцент пединститута. Просто, когда там у них в институте перестали зарплаты платить, мы её к себе забрали. Мы с Сашей очень ею довольны. А вот у деда с ней дружба не складывается, и мы ничего не можем поделать – раз в два или в три месяца они ругаются. Ирина Владимировна собирается каждый раз уходить, собирает свои сумки, а нам с Сашей приходится её уговаривать, умолять просто!

Мария Генриховна. А как у тебя с Андреем Андреевичем отношения?

Марина. Ой, мамуля! Я же помню, как когда-то тебе говорила, что он злой дядька, очень злой! А ты поверила, заволновалась и всё

расспрашивала меня. Я так глупо тогда пошутила. Он очень добрый, отзывчивый и предупредительный, и он всё-всё умеет. Такой он рукастый, что просто диву даёшься, что есть на свете люди, которые всё умеют. Он же и электрик, и сантехник, и садовник, и механик у нас.

Мария Генриховна. Слышала я всё это от тебя уже не раз – молодец он у вас. И всё же я очень обижаюсь на тебя, и не верю я, что нет у тебя ни минутки свободного времени, чтобы заскочить к нам – если сложно с ребятишками, то хоть сама. Ты ведь одна у нас. Мы ведь тебя иной раз месяцами не видим, трудно, что ли, заехать?

Марина. Ну что ты, мама, говоришь? Я к вам часто заскакиваю – и в этом месяце была, и в прошлом.

Мария Генриховна. Мариночка! Так, как ты – сунула какие-то презенты и комплименты из Барселоны или Эмиратов и, не раздеваясь, побежала дальше – лучше бы и не заскакивала, обидно даже! Так ведь только к чужим людям забегают – на ходу, не раздеваясь, только чтобы отметить. А мы... Ты иногда задумывайся, что мы уже в годах... Скоро, очень скоро... И всё!

Марина. Мамуля, я всё поняла – не распаляйся.

Мария Генриховна. Ладно, вина мы выпили, чаю тоже. Так, а где девчонки-то твои, внучки-то наши, Даша с Полей?

Марина. На лужайке они, вон – под окнами. Пойдемте на улицу, а потом я вас на машине домой отвезу. Мне самой ещё надо за мальчишками на стадион съездить и в салон там один зайти, заказ сделать.

Уходят. Детские крики за окном «Ура, дедуля, бабуля!»

Сцена погружается во тьму на минуту.

Включается свет: вечер, за окнами темно, горят настенные бра.

На верхних ступенях лестницы, ведущей на балюстраду, стоит Василий

Иванович с растрёпанными волосами, в домашнем ярком халате, на нижней ступеньке сидит и плачет Ирина Владимировна.

Василий Иванович. Ирка, сволочь такая, я тебе не то что по шее – я тебе ещё и жопу дубцом напорю, курва рваная. Сказал же тебе, вошь лобковая, чтобы ты мне чай сюда, на второй этаж, принесла. Дети у неё! Дети твои подождут, могут и на горшке посидеть десять минут, когда я позвал. А и обосрутся – невелика беда. Бегом должна бегать, когда меня видишь, а то ведь я и глаз на жопу могу натянуть. Ты ещё не знаешь меня!..

Дальше все слова запикиваются, а Василий Иванович только жестикулирует. Входит Марина, стильно одетая, красивая, в модном плаще в пол, с модной сумкой через плечо, в шляпе. Останавливается около сидящей Ирины Владимировны.

Марина. Ирина Владимировна, это он что – с вами так разговаривает? Это он вас обидел?

Молча переводит взгляд с Ирины Владимировны на Василия Ивановича и снова на Ирину Владимировича. Молча поднимается по ступенькам, ведущим на балюстраду. Встает рядом с Василием Ивановичем и как-то оказывается даже выше его. Берёт его рукой за грудки и силой опускает его на ступеньку ниже себя. Василий Иванович замолкает и перестает жестикулировать.

Марина. Послушай, ты, старый козёл, – если ты хоть раз ещё посмеешь просто повисить голос на Ирину Владимировну, если я только узнаю об этом от кого-то, я тебя не только с лестницы спущу, не только ноги переломаяю – я тебе башку просто отверну. Я тебе это точно говорю, и ты можешь в этом не сомневаться. Ирина Владимировна – моя помощница, она ухаживает за моими детьми, заботится о них, воспитывает их, и ты должен относиться к ней нежно, как к своей любимой и ненаглядной, если хочешь нормально жить в этом моём доме. Понял? В моё-ом! Если только я узнаю... Не посмотрю я на твоё коммунистическое и бандитское прошлое. С сегодняшнего дня бойся меня. Пока была жива Анна Васильевна, я тебя терпела, ты был приложением к ней, а она была мамой моего Сашеньки, она родила его – потому она для меня святая! Ты же для меня сейчас просто гнида пересохшая, а Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук.

Василий Иванович вдруг как-то скукоживается и садится на ступеньку.

Свет гаснет, и звучит сирена «Скорой помощи». В темноте звучат слова: «Носилки, носилки, инсульт это, парализовало, быстро в больницу его!»

Через минуту свет включается.

Василий Иванович сидит, укрытый пледом, в инвалидном кресле, на голове несуразный больничный колпак. Шарится скрюченной рукой в складках халата, достает айфон и неуклюже набирает номер.

Василий Иванович. Дашенька! Или это Полинка? Дашенька, я по секрету тебя попрошу – когда ваша мама пойдет к вам вашу вечернюю сказку читать, возьмите меня с собой. А что она будет вам читать сегодня? Не «Золотую рыбку»? Нет? «Конька-Горбунка»? Это же прекрасно. Помню я, помню – «...Вот конёк бежит по киту, по костям стучит копытом».

Входит Марина, тихо со спины подходит к старику, стоит молча. Почти сразу за ней входит Андрей Андреевич.

Андрей Андреевич. Марина Прокопьевна, там ещё одна пришла.

Марина. И что? Как она тебе?

Андрей Андреевич. Да как! Такая же, как и те, – черненькая. На машине приехала. Говорит хорошо, правильно и без акцента. Говорит, что у неё рекомендации, как вы велели.

Марина. Так, а что значит черненькая – негритянка, что ли? Или филиппинка? Или таджичка? Не спросил?

Андрей Андреевич. Нет, вы уж сами.

Марина. Сами, сами – тебе с ней работать-то! Тебе-то она как – глянулась?

Андрей Андреевич. Марина Прокопьевна, мне после Ирины Владимировны, наверное, уже никто не глянется. Обидно, что она ушла от нас – деликатная она была, вежливая, предупредительная. В общем, не знаю даже, как выразиться. И мальчишки при ней были как джентльмены молоденькие, что ли! В общем, плохо без неё.

Марина. Плохо, неплохо – ничего, перетопчемся. Так, а где она, эта твоя черненькая?

А н д р е й А н д р е е в и ч. Да вот за дверью стоит.
М а р и н а. Ну-ка давай её сюда.

А н д р е й А н д р е е в и ч за руку в зал заводит маленькую женщину.

И м а н. Здравствуйте, Марина Прокопьевна. Меня агентство прислало по вашей заявке. У меня вот тут в папке рекомендации и резюме.

М а р и н а. Потом. Не гони. Тебя как зовут?

И м а н. Иман.

М а р и н а. Понятно. Таджичка?

И м а н. Нет – казашка. Я МГУ закончила.

М а р и н а. Вот это-то и плохо – твоё МГУ. В общем, заходи завтра в девять. Нет, попозднее – в десять. Поговорим.

Снова поворачивается к сидящему в кресле-каталке старику,
гладит его по голове.

М а р и н а. Возьмём мы тебя с собой читать «Конька-Горбунка», возьмём. Это я виновата во всём, я. Дурочка глупая – так старика напугала. Дура, дура, дура.

Занавес

Стихи по кругу

Александр ВЫСОЦКИЙ

Нижний Новгород

Фотограф

Из-под плёнки колпачок –
для фотографа мензурка.
Дёрнул спирта и – молчок,
а в душе гремит мазурка.

Окуляры наострив
на грудастую дивчину,
Он улыбочив, он игрив,
словом, парень-молодчина.

Да, давно за пятьдесят,
да, вихры его седые.
Люди пусть его простят
за порывы молодые.

Ускользает жизни миг –
уловить его сумей-ка!
Птичка вылетела – вжик!
Воробей ли? соловейка?

Он отменный птицелов,
он знаток природы тонкий.
Словно песенка без слов
каждый кадр его на плёнке.

Виктор ЛЯПИН

Кстово

* * *

Станешь образом томящим,
тьмой, безмолвьем в разговоре,
блеском листьев в чаше спящей,
станешь небом, станешь морем.

Станешь шёлковой птицей
в предзакатном угасанье,
тем, что есть, чему не сбыться,
что струится за часами...

Станешь облаком, что тает,
 странный свет в себя вбирая,
 и сквозь воздух прорастает
 тишью брошенного рая...

Людмила ТОБОЛЬСКАЯ

Сафферн, штат Нью-Йорк, США

Если бы знать

Помнишь, как, подрезая к зиме виноград на садовых воротцах,
 нашли мы скрытое в жухлой листве летнее гнёздышко птичье?
 «Будь спокойна! Не тронем твой дом!» –
 восклицали в пустынное небо.
 «Ждем тебя снова весной! Прилетай!»
 И весной она прилетела.
 Только вот ты, мой друг, по каким теперь бродишь дорогам?

* * *

Помаши журавлям,
 обернувшись на крик в небесах,
 чтобы знали, что сердце твоё с ними в дальнем пути,
 чтобы было желанней и легче весной им найти
 вновь
 невидимый путь
 к тихим плавням в родимых местах.

Помаши, помаши уходящему поезду вслед
 даже издали,
 даже не зная, глядят ли в окно, –
 может, это поддержка кому-то в тоске среди бед:
 он промчался, но видел, но видел тебя всё равно!

И постой на пороге, крестя и махая рукой,
 позабыв набежавшие слезы с ресницы стряхнуть,
 вслед тому,
 кто всего лишь минуту назад был с тобой
 и теперь –
 одиноко
 стремится в неведомый путь.

* * *

Известью беленых яблоневых ног
 тихое свечение в сумрачной ночи.
 Точно кто наметил дружеской рукой
 путь наш по аллее в этот поздний час.
 Осень подарила в стужу ноября
 теплый ясный вечер
 на прощанье нам...

Утром первым снегом убран тихий сад,
Белые на белом
яблоней стволы.

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

* * *

...Ты мне души, мой дом, не открывай,
Мой старый дом –изба с погибшим садом,
И с огородом, тоже – бывшим, рядом,
Где крышу сбросил кепкой наш сарай.

Приехал я на час или на два,
Минуя полустанки и столицы.
И допьяна хочу я здесь напиться,
Да так, чтоб не болела голова.

Да так, чтобы качало на ветру,
Полынно-горьком и любимом самом.
Он пахнет хлебом, молоком и мамой,
Слезу от ветра кулаком утру.

Отпетый ты и с пращурами в рай
Отправился, я это точно знаю.
И, чтобы боль не довела до края,
Ты мне, мой дом, души не открывай!

Там

Готовка, да стирка, да детки,
Заботой изломана бровь.
Цветы, поцелуи, конфетки...
Ау, где ты, сказка-любовь?

Полна магазинная сумка,
До шпилек ли стройным ногам?
Про внуков поспела задумка
По нашим с тобою годам.

Страны бесшабашной напасти...
И где они – чувства в груди?
Остались ли проблески страсти?
Неужто вся жизнь позади?

Да, жизнь в обрамлении будней.
По нашим пройти бы местам.
Любовь – она есть, она будет
Мы верим, что – встретимся ТАМ.

Валерий РУМЯНЦЕВ

Сочи

* * *

В строке поэзии – лист прозы.
В мгновенье счастья – жизни лист.
Как согревают душу грёзы!
Как свет их трепетный лучист!

Страницы жизни треплет ветер,
Пытаясь строки затереть.
Но строки в жизненном сюжете,
Как угли, продолжают греть.

На разлетевшихся страницах
Ответов больше не найти.
Как быстро промелькнули лица
Тех, с кем нам было по пути!

Летит на память снег забвенья.
Но что он может предложить?
Снежинки тают как мгновенья,
А память продолжает жить.

* * *

Волны бьют о причал,
Крики чаек бьют в уши.
Что нам ждать от судьбы,
Бесполезно гадать.
Сорок лет без войны,
Но, Отчизну разрушив,
Веселится врагов
Хамельонова рать.
Может, легче прожить,
Всё в прошедшем ругая,
И проворно вложить
Веру новую в грудь?
Но один только раз
В жизни мы присягаем,
И один только раз
Выбираем свой путь.

Офицерская честь.
Кровь принявшее знамя.
Разве можно от вас
Просто взять и уйти.
Разве можно предать
Тех, кто прежде был с нами,
Тех, кто жизни отдал,
Чтоб Отчизну спасти.

Дождь по палубе бьёт.
С криком носятся птицы.
Волны лезут на борт
И скользят по броне,
Разве думали мы,
Защищая границы,
Что враги изнутри
Угрожают стране.

Может, легче зажить,
Всё в прошедшем ругая,
И проворно вложить
Веру новую в грудь?
Но один только раз
В жизни мы присягаем,
И один только раз
Выбираем свой путь.

Олег РЮМКОВ-ЗОЛОТАРЁВ

Красноводск, Туркменистан

* * *

*Памяти Николая и Владимира Рюмковых,
павших за Советскую Родину*

Покоятся в дальних пределах
родной,
разделённой страны,
два брата,
давно онемелых,
назад не пришедших с войны.

Один спит в земле украинской,
другой – в белорусской земле...
В сторонках волынской
да минской
их души витают во мгле...

А где-то каспийским прибоем
оставленный берег зовёт,
что был им так дорог обоим,
но где уж никто не живёт...

Какая ж теперь вам отрада,
когда весь Союз разнесло?!
Кошунство – такая «награда».
За что поколение легло?!

Вы, истинно, были сынами
Единой, великой земли.

Сердцами,
судьбой,
именами –
пожертвовать всем вы смогли!

И немо доносится повесть
из чистых, мальчишеских глаз,
когда вы оттуда, как совесть,
глядите сквозь годы на нас...

Оксана СУСОРОВА

Нижний Новгород

Море

Море волнуется, мысли читает,
Море меня, как никто понимает.
То забурлит, то всклокочется пеной,
То вдруг надуется валом как веной.
То приголубится в солнечной неге.
Станет спокойным, лавандово-пегим.
Нежно обнимет, споёт лёгким бризом
И проведет по подводным карнизам.
То пригласит танцевать с ним фокстрот.
Брызгами волн за собой поведет.
Море покажет, где синь-глубина,
Душу твою прочитает до дна!

* * *

Картины, травы и цветы.
Я и ты.
Иголки, нитки и письмо.
Ждёт оно.
Свечусь, танцую и пою.
Я люблю.

Далекое – близкое

Марина ФАДЕЕВА

Родилась в 1966 году в Кстове, Нижегородская область. Окончила Волго-Вятскую академию госслужбы по специальности «менеджер».

Печаталась в коллективных сборниках, альманахах «Земляки», «Русский смех», «Московский вестник», «Писатель года 2013», «Писатель года 2014», «Невский альманах» и других. Автор сборника стихов и прозы «Зеркало души», книги прозы «Поддержи моё небо».

Член Союза писателей России. Живет в Кстове, работает в городском Водоканале.

МЕДАЛЬ

– Может, пора уже? На волюшку хочется!

Вера Семеновна – долгожительница. Шустрая, трудолюбивая старушка старой деревенской закалки. Даже отметив девяностолетний юбилей, не усидит на месте. В холодное зимнее время живет у дочери в городе. Но, как только пригреет весеннее солнышко, как только озорная капля затанцует по подоконникам да небушко прояснеет нежной голубизной, затоскует бабушка, затеребит робко платочек на груди:

– Скорее бы домой!

Насиделась Семеновна за зиму-то в душной многоэтажке. Руки по земле соскучились, благо ноги еще ходят до огорода, до завалинки у дома еще выбирается. Сидели бы они с кошкой Муськой у палисадника, солнцем обласканные, дышали бы всей грудью медунично-черемуховым воздухом, ходили бы на колоду, где вода кристально чистая, родниковая – холоднющая, аж зубы ломит... А над колодой образа – Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца, Серафима Саровского. Святая водичка-то, намоленная... В городе тоже воду не из-под крана пьют, да кто ж знает, что там нальют в эти бутылки-то? Не доверяет старушка этим предприимчивым водовозам...

Дочь Тамара с улыбкой успокаивает мать:

– Вот сойдет вся хлябь, после Пасхи выйдем на машине, поедете с Муськой на свой курорт!

Каждый денечек теперь Семеновна помечает красной пастой в календаре, пересчитывает всякий раз – не обсчиталась ли...

Всю жизнь она проработала в колхозе. Как только земля высвободилась из-под снега, выходила в поле: сеяла, сажала, косила, убирала вплоть до осенних заморозков. А в годы войны трудилась с утра до вечера на окопах да еще двух ртов тянула – всё одна... Муж как ушел в сорок первом, так до конца войны и не видела его Семеновна. Ох, и натерпелась она тогда страху! Когда вражеские самолеты над ними кругами летали, а бежать некуда – кругом поле голое, и они с бабами как на ладони – готовые мишени... Каждый раз молилась истово Богородице, чтобы не оставила она крох её сиротами... Но немцы не бомбили, а только над ними потешались, кружа хищными ястребами, да сбрасывали сверху на перепуганных до смерти женщин тысячи листовок. Все поле усеяно было этими белыми клочками. Как сейчас, помнит Семеновна – крупными печатными буквами слова: «МИЛЫЕ ГРАЖДАНОЧКИ! НЕ РОЙТЕ В ПОЛЕ ЯМОЧКИ! НАШИ ТАНКИ ПРОЙДУТ, ВСЕ ВАШИ ЯМКИ ЗАНЕСУТ!»

А в редкие минуты отдыха вязала Семеновна теплые носки – чтобы хоть как-то поддержать бойцов. Отсылали женщины на фронт эти вещицы из дома, сделанные своими руками, с любовью, словно передать хотели: «Мы ждем вас и верим в нашу Победу! Держитесь, родимые!»

В этот раз её юбилей совпал со знаменательной датой – очередной годовщиной Великой Победы. По этому случаю, она получила правительственное письмо с поздравлением президента и юбилейную медаль «Труженику тыла».

Но вот несчастье – перед самым праздником слегла старушка. Вроде только принимала поздравления от детей, внуков и правнуков, а вот уже несколько дней не ест, не пьет: внутри словно жгутом всё сковало, не дышится... Всего-то ничего осталось до светлой Христовой Пасхи, да, видно, не судьба...

– Неужто смертынька пришла?.. Ой, родные мои... – охает тихонько бабушка, заглушает боль, чтобы ненароком не испугать домашних. А глаза – как стёклышки мутные, тускнеют с каждым часом – как прощаются...

– Да что ты, мама! Сейчас врач придет. Посмотрит тебя, выпишет всё, что нужно... – дочь Тамара еле сдерживается, щмыгая покрасневшим носом, а сама за перегородочку, чтобы слез не видел никто.

К вечеру совсем худо стало Семеновне. А врач запаздывает, не торопится. Не в силах больше смотреть на страдания матери, вызвала Тамара скорую. Врач скорой, за минуту осмотрев бабушку и поинтересовавшись её возрастом, равнодушно бросила:

– Что же вы хотите?... Старость! – как вердикт подписала. – Сейчас сделаем болеутоляющее...

– Да не помогает это! Уже дважды делали сегодня, пока врача ждали! Человеку всё хуже! Её обследовать нужно! – с отчаянностью сетует Тамара.

– В таком возрасте, после девяноста, – не берем... – холодно бросает врач. – У нас предписание...

– Предпи... Что-о-о-о?! Что вы такое сказали?..

– Что-что – предписание! Время позднее, заниматься ею никто сейчас не будет. Один дежурный врач на все отделение. Больных – переполненность во всех палатах: молодых-то некуда положить, а вы тут... – хотела было продолжить врач, да не договорила, натолкнувшись на пронзительный, с каждой секундой наливающийся сталью взгляд.

– Если вы сейчас же не заберете её в больницу, я вызову телевидение, я напишу во все инстанции и газеты, что человека, ветерана, как безродного прокаженного... равнодушно бросили умирать...– тихо, чтобы не услышала мать, но твердо, сказала Тамара.

– Что же вы так сразу... Я же... Собирайтесь... Может, и носилки...– дрогнувшим, поменявшим тон голосом произнесла врач и, рассеянным взглядом скользнув по сторонам, медленно побрела к выходу...

Через десять дней Вера Семеновна, к великой радости домочадцев, поправится, получив полноценное обследование и лечение, и вернется домой.

А пока на её прикроватной тумбочке останется лежать... красная коробочка с медалью. И если бы у предметов можно было увидеть душу, то коробочка эта сейчас покраснела бы еще больше. Покраснела от неимоверного стыда... Как же возможно такое, что жизнь человеческая обесценивается только потому, что исчерпала себя, как источник действительной полезности для общества!

Но в человеке еще теплится жизнь! Он живой! Ему нужен не суррогат громкого почитания и признания его заслуг, ему необходимо тепло и искреннее сострадание человеческой души, которое дороже всех ценностей и наград этого мира!

Вот такая она бывает – невидимая сторона медали...

Андрей РУДАЛЕВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). Автор книг «Жизнь по чужим лекалам», «Письмена нового времени». С критикой и публицистикой выступает во множестве периодических изданий. Живет в Северодвинске.

ВРЕМЯ ШОЛОХОВА

При чтении книги Захара Прилепина «Шолохов. Незаконный» вспомнились детские впечатления о писателе. Еще докнижные.

Сообщение по ТВ о смерти писателя. Тогда смерти уже не удивляли. Шла чередa кремлевских. После первой из них освобождали с уроков, распределяли по несколькоу младшекласников, чтобы дома совместно просматривали трансляцию траурной церемонии.

Но тут было другое: запомнилось невероятное количество света и тепла. Видимо, был показ каких-то документалок о писателе. Сам Шолохов, его дом, берег Дона. И свет, свет. И нет ему края.

Уже после, в юношеском возрасте, переживалось чудовищное ощущение украденной страны, культуры, перерастающее в чувство стыда, сшибающее с ног. Переживание дикой подмены, какой-то оккупации, что ли. Одной из примет ее были голоса: не он, не он. Выкрал, нашел, переписал чужое. Крюков, неизвестный белогвардеец. Да кто угодно, только не он. Пытались навесить клеймо незаконного, с каким он и провел первые годы жизни.

И через это «не он» шло подлое и агрессивное самозванство. Через это «не он» жгли и крушили все вокруг. Лгали и хвастались своей ложью.

Невероятный светоносный гений не вмещался в конструкцию зазеркалья новых реалий, объясняющих все советское торжеством хама. Понимали, что только один такой ходатай мог отмотить время. Поэтому и шипели из каждого угла, из всякой щели: не он, не он...

Он же уже перешел в ранг небесных заступников отечественной цивилизации, он один крушил всю победившую чудовищную идеоло-

гию отмены. Утверждений, что на отечественной почве что-то стоящее могло появиться, либо когда-то давно и все это безвозвратно потеряно, либо все чужое и привнесенное, а тутошняя земля – неродимая.

И это «не он» каждый раз воспринималось личным унижением и оплеванностью. Периодически в новостях прорывались новые данные об установлении авторства, о найденных черновиках, но хор не смолкал: «не он». Кто угодно, но не он!

Прилепин сказал: он и только он, другого и быть не могло, и дело его было даже нечеловеческим и надмирным.

Но мы-то всегда и знали, что – он, что это мы, что это наш свет и ничей другой. Что это Шолохов, что так и нас зовут, что это и наше имя. А то, что было с «не», с отрицанием и вымарыванием – так это морок, подменная реальность и клевета на самих себя.

* * *

«Мы должны сами объяснить, как это все случилось», – говорит в книге Захара Прилепина «Шолохов. Незаконный» автор «Тихого Дона» генсеку Брежневу, пробивая в печать новые главы первой книги «Они сражались за Родину». А там – конец 30-х. О том, как пропадали люди, горькая правда о репрессиях, как все было на самом деле, а не пропагандистская агитка. Шло начало 1969 года, когда еще был шанс до погружения страны в подобие летаргического сна, из которого, как раз и выведут шоковым образом те, которые принялись объяснять по-своему.

С одной стороны, пресловутое слякотное и непроезжее время – оттепель, когда на поверхность выходит весь неприглядный сор, накопившийся за долгое время. С другой – приближающееся столетие Ленина, недавний юбилей революции, который мог бы не просто потонуть в потоке торжественных славословий, а стать поводом для ответа на вопрос: «чего мы хотим?», для перезагрузки системы.

А чего хотели на самом деле? Многие свершили, все, что возможно превозмogli и победили, вот даже и космос покорили и что теперь? Что могли противопоставить оппонентам, которые все четче формулируют свое видение пути, окончательно оформившееся в перестройку. Выстраивают позицию с порывом все перечеркнуть и отменить. Символично, что в том же 1969 году вышло произведение Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», в котором – боль и крик отчаяния от видения разложения общества свидетелями и проповедниками западного проекта, от понимания перспектив этих процессов.

Могла бы произойти перезагрузка отечественного цивилизационного проекта, вместо этого стала прогрессировать выхолощенность, обозначившаяся еще в послевоенные годы. Та самая оттепель ей протиповоставилась и, безусловно, воспринималась более выигрышной и привлекательной. Она шла через критику советского проекта. Глубинная же мотивация состояла в отрицании суверенного отечественного цивилизационного пути.

Как пишет Прилепин, оттепели «хватило на то, чтобы выкормить, выпустить на свет расчетливо-буйного Солженицына, затаившегося навек в обиде за репрессированного отца Окуджаву и набаловков невестральной силы: Евтушенко, Аксенова, прочих.

Оттепели не хватило на то, чтоб дать в “Правде” страшные предвоенные главы “Они сражались за Родину”, – книги, где имелся бы

не только судебный приговор эпохе, но и в финале, быть может, оправдательный вердикт».

Все вело к тому, что «золотая середина, должна хранить здравомыслие нации, таяла». «Западники» обретали все большее влияние, патриотический же фланг культуры, «русскую партию» смещали на маргинальную периферию.

Старалась в этом и власть, которая видела в патриотическом лагере большую опасность. Так, будущий архитектор перестройки Александр Яковлев устроил разнос почвенникам, опубликовав в 1972 году в «Литературной газете» статью «Против антиисторизма». Антиисторизм, который вменялся им в вину, заключался в том, что они якобы пытаются развернуть историю вспять. Поклоняются былым правителям, иконам, инфицированы буржуазными заблуждениями. В перестройку их уже кляли «совками», люмпенами, красно-коричневыми, фашистами и так далее.

Тоже ведь вопрос вопросов: отчего власть из раза в раз ставит на западников и либералов? Видит в них прогрессивный потенциал? Или так пытается с ними договориться, ублажить и умиловить, делает тех самых «набаловков невероятной силы», а после получает то, что получает, – и, как правило, удар в спину. Может, в силу того, что с почвенниками разговор более тяжелый, предметный, глубинный и серьезный, ведь у них как раз сама правда, а не ее подобие, которым можно манипулировать и подстраивать под конъюнктуру. Правду же патриотов пытались, как книгу Шолохова, оскопить, выхолостить, свести к кондовому охранительству или управляемому госпатриотизму. Но так и выстраивалось из раза в раз кривое зеркало. Его и сейчас мы получили. Привет старым граблям.

Кстати, в те же годы против выхолащивания и за правдивый разговор выступил, например, и писатель Федор Абрамов. Перед 50-летием Октября он ставил довольно жесткие вопросы в противовес юбилейному воспеванию и восславлению.

«Почему, почему, почему... Целый лес “почему”!» – кипели вопросами представители рабочего класса – «хозяина страны» в абрамовском «Доме». Народ в его произведениях пытался мыслить, рассуждать и «в масштабах страны, и в масштабах всего шарика». В ответ – либо замалчивание, либо чужая подменная «правда».

Вот и Абрамов в шолоховском духе писал, что если не будем честны сами перед собой, то всю «правду» вывалят другие и тогда мало не покажется: «Мы не имеем права замалчивать, упрощать все сложности и трудности нашего исторического пути. Не объясним мы – объяснят другие, только объяснят по-своему. Мы не скажем своим голосом всей правды – скажут другие “голоса”, только скажут по-своему» («Слово в ядерный век», 1981 год).

И еще: со всеми своими вопросами и претензиями к советскому, он также вел любовный разговор, исполненный чувством Родины, потому что, «только люди с пустой душой теряют сыновнее чувство Родины». После, в перестройку, как раз и вскрылась пустота, и сыновнее чувство затерялось.

Да, это была шолоховская тема, которая, увы, не случилась, иначе бы страна вновь, как перед Великой войной получила поводья к объединению общества. Как показывает в своей книге Прилепин, Шолохов работал с крупнейшими катастрофами русского XX века: Первая мировая и Гражданская война, коллективизация, Великая Отечествен-

ная. Главная мотивация все та же: «мы должны сами объяснить, как это все случилось». Иначе, свое слово скажут другие. Слово безлюбное, цель которого вовсе не правда, а ее выверт.

Так получилось, что, например, Сталин понимал все это и допускал к публикации и «Тихий Дон», и «Поднятую целину». Понимал важность национального эпоса, который объяснит сложнейшие вехи отечественной истории. Их ни под какой лавкой не спрячешь, правда все равно рано или поздно проявится. Весь вопрос в оптике этой правды: будет ли она любовная к стране, к человеку или подменная, манипулятивная – подобие правды, противопоставляющая реальности пустоту. Ту самую темную баню с пауками.

Вот и оказалось, что «при Сталине посвободней было, – вполне мог подумать тогда Шолохов», – пишет Захар Прилепин. Подумать после того, как лично Брежнев отредактировал-оскопил его правду. Тем самым запечатал «свою», но поток чужой уже не мог остановить, только лишь все больше придавал ей ценности и значимости. Так пустота обрела плоть и кровь, накачивала свои мускулы, обрела мотивацию.

Шолохов же все ясно видел. Он был тем самым необходимым поводом через русский катастрофический XX век. Но в финале проводником стал Солженицын, много сделавший для того самого обвала, про который писал в девяностые.

Так, Захар Прилепин отмечает: «Шолохов дал подробную оценку Солженицыну: ”страдающий манией величия... злобный антисоветский человек“, который несет ”огромную опасность“. Он видел то, чего ни оттепельная интеллигенция, ни подслеповатые вожди были не в состоянии разглядеть. Неумолимо, еще незримая, близилась эпоха самоуверенной власовщины».

Поединок разворачивался. Как поступили с Шолоховым, как полемизировали с ним? Попросту вытащили на свет божий все наветы и клевету завистников, которая проявилась еще в 20-е годы. Тогда был шок от появления великой книги, правдивой и необычайно смелой. После все это переработали в оружие «идеологической конъюнктуры», чтобы раз и навсегда отменить. Застрельщиком выступил тот же Солженицын, который нес свою «правду». Собирал ее в смертоносный и разрушительный ком любой ценой, не гнушаясь никакими методами.

Это было личной мстостью за то, что Шолохов и его узрел настоящего. Он стоял перед ним, будто голый, и этого своего срама не мог простить. А тут еще и идеологический враг. Не Солженицын придумал, но он сделал легитимным подобный стиль борьбы любой ценой. Через подлог, клевету, через придуманных сто миллионов жертв ГУЛАГа, то есть использовавший трагедию в личных корыстных целях. Именно так стилистически и стратегически позже будет оформлена перестройка, борющаяся и сметающая с пути своих врагов и любое инакомыслие. В том числе и тех, кто мог стать поводьями для общества, чтобы его сохранить.

Михаил Шолохов ушел накануне перестройки. Годом ранее – Федор Абрамов. А через пару лет Валентин Распутин уже стал писать про отчетливо различимый пожар, а Юрий Бондарев предупреждал про перестроечный самолет. Вскоре развернулся и водоворот Бермудского треугольника...

Вот и сейчас, когда вновь проявилось время отечественного эпоса, крайне важен все тот же императив: «мы должны сами объяснить, как это все случилось». И мы знаем, что произойдет, если объяснят другие. Это будет катастрофа.

Возникает вопрос: как рассказать, как объяснить?

Об этом тоже все есть у Михаила Александровича. Ответ заключается в пути его главного героя. «Страшный урок Григория Мелехова состоял в том, что он, даже запутавшийся и загнанный, не мыслился отделённым от России. Всякая лихая круговерть вновь и вновь возвращает его к порогу родного дома», – пишет Захар Прилепин. Таков ведь путь и шукшинского Егора Прокудина, и прилепинского Саньки Тишина, который сам себя называет «проклятым».

Объяснять через чувство своей нераздельности. Через любовь и правду. Как это делал Михаил Шолохов.

* * *

После 24 февраля Россия начала познавать себя. Сурово, болезненно. Но возвращаться к себе настоящей. И здесь вновь жизненно необходим примат шолоховской правды. В том числе правды о том, как все началось, как произошел раскол, приведший, по сути, к новой гражданской войне. Правда о перестройке, как она назревала, как развивалась и какие последствия оставляла после себя.

Об этом также есть у Михаила Александровича. Захар Прилепин рассказывает о его письме Леониду Брежневу, написанном весной 1978 года. Вместе с будущим генсеком укрывались на войне одной шинелью, почему бы и сейчас не попробовать укрыть, уберечь всю державу? Она вовсе не была обреченной, но ее прозевали через выхолощенность правды.

В том письме, как пишет Прилепин, писатель «наперед угадал те риторические фразы, с которых начнется разрушение государственности». Это и «социализм с человеческим лицом» и отечественное варварство, педалирование темы отрицательного генетического отбора, который якобы создал агрессивного и ленивого раба, люмпена. Это и принижение роли русской культуры, вплоть до ее отмены и подмены.

Все потому, что, по словам Захара Прилепина, в России постепенно вырастили две культуры: «первая хранит Отечество и печется о русском народе. Другая – России втайне враждебна». Уже тогда все это было очевидно.

Поэтому будущая и скорая катастрофа предчувствовалась. Ее предощущал не только Шолохов, но и очень многие отечественные литераторы, которые не отворачивались и не отрекались от своей страны. Но покров шинели на этот раз оказался слишком мал, в него укуталась лишь сама власть, переставая объективно воспринимать происходящие процессы. Так и не ответившая должным образом на шолоховское предупреждение, обернув искреннюю тревогу и боль в свой чиновный формализм.

Речь ведь не только о том времени, но и о нашем. Оно совершенно шолоховское, то есть одновременно грандиозное и катастрофичное. Чтобы не скатиться в катастрофу и, наоборот, достичь желаемой победы и победительности, надо следовать и его заветам, не отмахиваться от писателя.

Антон ФОРТУНАТОВ

Родился в 1967 году в Горьком. Окончил истфил Горьковского государственного университета, служил в рядах Советской армии. Работал собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Горьковской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областям, директором региональной телевизионной компании «Фортуна» («ВиД-НН»). С 1997 по 2002 год – советник губернатора Нижегородской области И.П. Складова по работе со средствами массовой информации.

С 2000 года преподает в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социально-политических коммуникаций Института международных отношений и мировой истории ННГУ.

Живет в Нижнем Новгороде.

ДВА ЭССЕ НА ТЕМУ ПОСТГУМАНИЗМА

РОСКОШЬ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ

*Это эссе я посвящаю моему старшему другу и коллеге
Владимиру Александровичу Кутыреву*

Эмпатия порой играет с нами злую шутку. Нет-нет да и ловлю себя на мысли о том, что порой опасаясь говорить честно, вернее, боюсь обидеть правдой своего собеседника. На помощь в такие минуты приходят стереотипы и выработанные годами шаблоны: прячешься за стандартными фразами, за устойчивыми формулировками, относящимися к беседе, а потом отдуваешься – фух, ну, слава богу, закончили – и стараешься поскорее отделаться от своего визави. Это называется коммуникативной компетентностью, будь она неладна, и я владею ею в совершенстве, заранее предвосхищая тот регистр, в котором буду вести еще не начатый разговор. Но, оценивая себя со стороны, кажусь самому себе приторно-интеллигентным и злюсь на то, что вовремя не повернулся затылком к объекту своего раздражения и не переменял тему, а лучше – самого собеседника. Почему при этом в глубине глаз, на самом их дне, и у него тоже, читается вполне отчетливая мысль: что ж так тяжело, зачем все это?

Еще я думаю о том, что люди, от которых я не могу так просто отделаться, обладают каким-то истеричным самолюбием, и если я позволю себе нарушить этот «компетентностный» политес, то получу в спину, да и в лицо невзначай – истеричные повизгивания или шипение,

которое мне всегда напоминает характерные звуки, издаваемые гусынями на знаменитых боях в Тумботине ранней весной, когда ошестинившиеся «команды поддержки» заводят своих противниц с тем, чтобы потом в схватку вступили флегматичные поначалу, но потом все более распалющиеся матерые гусаки.

Мы живем в удивительном мире многослойных сигналов, посылаемых вовне и внутрь себя, и не отдаем себе отчета в том, что порой эти сигналы, в их комплексе, являют собой пеструю, характерно-противоречивую гроздь импульсов, заставляющих наше сознание, естественно напряженно искать компромисса между ними, заглушая или даже игнорируя одни, внимательно прислушиваясь, стараясь досконально прочувствовать другие. Умение выявлять «важные», «необходимые», «социально одобряемые», «востребованные» сигналы называют компетентностью, и на обучение этому навыку сегодня направлена вся энергия административной системы: школы, институты, курсы квалификации, коучи, гуру, лидеры мнений. Такой прессинг объясняется требованиями эффективности: она, пресловутая, считается индульгенцией от любых ошибок и этических оплошностей. Добьешься своего, а там хоть трава не расти. Хороший, кстати, образ: в душах, выжженных этими компетенциями, перестают постепенно зеленеть хоть какие-то островки чувственности, природности, эмпатии. Нравственное облысение, духовная алопеция как побочный результат жизни в озабоченном своим потребительским потенциалом мире.

Психологи пишут: «Если вы будете просто исполнять те танцы, которые выучили много лет назад, это не поможет вам сохранить двигательную кору мозга в должной форме. Чтобы ваш мозг продолжал жить, вы должны учиться чему-то действительно новому...» («Пластичность мозга», Норман Дойдж). То же касается и навыков, и знаний языков, и других сведений. Мы очень быстро становимся заложникам той информации, которую усвоили в молодом возрасте или которую обрели в нестандартных условиях: стрессовое обучение, которое характерно для современных «образовательных интенсивов», также создает определенный тоннель в мозгу, заставляющий нас видеть мир в очень узком сегменте, и все хорошее, светлое, радостное, что находится за его пределами, как бы перестает существовать. Написал и подумал: может, та злоба на дне глаз моих неприятных собеседников – это всего лишь следствие моей собственной рефлексии, и на самом деле ничего такого там нет? Что ж, вполне возможно, но разве это повод изменять свое отношение к ним? Тоннель в моем мировосприятии также не дает мне возможности посмотреть на эту проблему шире.

Я все больше понимаю, что такие агрессивные способы формирования социальных навыков эксплуатируют величайшую тайну нашего сознания, или, назову это по-другому: громадное сокровище, данное нам от рождения, – умение выпрыгивать за пределы повседневности, рутины, обретая собственную уникальность, встречаясь с самим собой где-то в эмпиреях этики. Мы погружены в мир технологий, и они, становясь все более изошренными, кажется, уже заранее прогнозируют любые наши мысли и поступки, выхватывая из них все то, что потом можно использовать против нас.

Технологии – это как раз повседневность, рутина, это то, что снимает с нас обязанность быть человеком, «облегчает жизнь». Они знают про нас, кажется, все, про нас – обыкновенных, простых, обыденных, которыми легко манипулировать. Именно поэтому разные проповедни-

ки и коучи всегда наделены каким-то неуловимым ореолом таинственности: владея навыками (гипноза, манипуляции, внушения и пр.), они создают иллюзию выхода в мир удивительных открытий, при этом не оставляя нам возможности почувствовать это пространство собственным естеством, своей уникальностью, неповторимостью.

Вспоминаю в этой связи забавный опыт, полученный мною на курсах по нейролингвистическому программированию, которые я прошел в Москве где-то в 90-е годы. Тогда это была модная тема, к тому же дорогой и близкий мне человек, бывший моим начальником, губернатор Иван Петрович Скляр все сетовал: «Сынку, научи меня защищаться от этих злодеев. Я начинаю читать доклад, а этот... сидит на первом ряду и все меня зомбирует, зомбирует». Иван Петрович трогательно, по-волжски округлял букву «о» в последнем слове, и видно было, что он ждал от меня успокоения, каких-то элементарных рецептов. Он был очень открытым, мой дорогой Петрович, но, когда встречался с неприятными ему людьми, становился букой и ворчуном, что, в общем, не способствовало политической гармонии в тогдашней обстановке.

Я съездил на курсы, послушал знаменитых гуру НЛП, воспринял кое-какие приемчики, но сейчас, как говорят, «в сухом остатке», у меня отложилось лишь воспоминание о способах «введения в транс», или лучше сказать, выбивания из привычного седла собеседника, когда неожиданно предлагаешь ему какое-то слово или выражение, контрастирующее с устоявшимся ритмом, мелодией, стилем беседы. Помню, характерным образцом такой манипуляции стало обращение к шокированному партнеру по диалогу: «Я и не знал, что ты такой перидромофилист!» Оскорбление? Вовсе нет: перидромофилист – это всего-навсего научное название невинного коллекционера железнодорожных билетов.

Но почему, почему именно сейчас, спустя четверть века, нейролингвистическое программирование у меня ассоциируется с этими... перидромофилистами? Нет ничего случайного, и сознание – лучший судья всему тому, чему тебя пытаются обучить или внушить новоявленные знатоки. Те, кто «зомбирова» Склярова, канули в Лету, а сам Иван Петрович остался в памяти народной как яркий, самобытный руководитель. Только вот перидромофилисты никуда не делись: множатся и мутируют, создавая угрюмый хор, вернее, шипение, – про компетенции, «зоны комфорта», «скилы» и «прокачки».

«И тогда я смеюсь, и внезапно с пера мой любимый слетает анапест...» – набоковское ироничное стихотворение «Слава» очень четко передает это настроение защищенности от «разговорчивого праха», который сегодня с нарастающим усилием все тянется и тянется к твоему горлу, нет, мозгу с обреченно-оголтелым желанием во что бы то ни стало изменить твое Я. Недавняя книжка-эссе другого американского исследователя, Стивена-Давидовица «Все лгут. Поисквики, BIG DATA и интернет знают о вас всё» изобилует шокирующими «открытиями», которые бесстрастно делает сервис Google, анализируя неллицеприятные и совсем уж неполицорректные сетевые запросы миллионов американцев, которые, оказывается, думают и представляют себе мир совсем по-другому (порой диаметрально противоположно) тому, что решили за них толерантные «лидеры мнений», медиагуру и прочие поводыри. Где-то в уголке сознания все-таки остается местечко, которое ну никак не удастся осветить, прощупать, отформатировать хладнокровным технологом, казалось бы, уже научившимся делать массовую лоботомию, не прибегая к вскрытию черепов у своих подопытных.

Они, кстати, злятся, эти медиагуру, истерично повизгивая от своего бессилия, а потому, как мантру, повторяют, что человек – это «запрограммированная ошибка». Но пресловутый кукиш в кармане нет-нет да и обернется во всей его неприглядной красе в лицо вершителям судеб. Ответное презрение и трудно скрываемое равнодушие к нам, получателям этих вакцин эффективности, сегодня стали неявной этикой всей системы образования. Я постоянно ловлю себя на мысли о том, что те, кто обрушивает на нас очередные регламентации, требования, инновации, уже и не ждут реальных изменений, оправдывая собственную неэффективность нашей ленью и развращенностью.

А ведь на самом деле все просто. Прежнее, вызывающее ностальгию «доверие к человеку» было обусловлено вовсе не идеологическими клише и близорукостью советских руководителей, а «всего-навсего» радикально другой моделью личности, обладавшей законным правом на целостность восприятия мира и самой себя. Другими словами, человек был индивидуальностью, а не набором компетенций. Понимаю, насколько святотатственным выглядит это замечание в глазах нынешних менеджеров и HR-рекрутеров. И самооправдание их заранее известно: что с него, философа, взять, с этого замшелого профессора, помнящего еще Брежнева?

Как ответить? Опять Набоков украдкой подсказывает:

И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
сонных мыслей и умыслов сводня,
не затронула самого тайного. Я
удивительно счастлив сегодня...

Меня не трогает их шипение. Я вежливо улыбаюсь, послушно рассуждаю про компетенции, про хард- и софт-скиллз. А потом, в приличный момент отворачиваюсь и начинаю печатать что-то несусветное в поисковой строке. Важно лишь улучшить момент, чтобы не показаться в их глазах чересчур невежливым.

Но как же так произошло, что мы очутились в радикально разных мирах?

Сегодня перед нами разворачивается завершение многовекового проекта европейской цивилизации, называемого «Новое время». Технологии, в самых разных их проявлениях, были в нем и панацеей от бед, и индульгенцией от ошибок, и наградой за стяжательство, и надеждой на рай. Они становились все более точным, все более совершенным оружием, в прямом и переносном смысле, и в конце концов стали настолько умными и продвинутыми, что перестали испытывать нужду в человеческом руководстве. А мы? Убаюканные «интеллектуальными» помощниками, которые, если не забарахлят в самый неподходящий момент, то подогреют нам молочко, подкрутят температурку, включают музыку, расскажут сказочку, мы стали седовласыми инфантилами, не способными умножать в уме даже двузначные числа или различить уместность написания «также» и «так же». Мы ворчим на детей, погруженных в гаджеты и отвернувшихся от любых маломальских проявлений окружающего мира, не замечая очевидной вещи: дети – это наша копия, утрированная и мудрая, которая призвана напомнить нам о нас самих. Всего несколько десятилетий назад мы на всех парусах неслись в объятия технологий, и это была не только пресловутая «гонка вооружений», но и гонка мировосприятий, в которой основная

масса благ сводилась к обладанию чем-то. Другими словами, счастьем считалось наличие видеомэгнитофона, а не возможность погулять в весеннем лесу (последнее казалось неинтересным).

Вспоминаю в этой связи кадры «кухонных дебатов» Хрущева и Никсона в Москве, на американской выставке на ВДНХ, на которой Никита Сергеевич в ответ на рассказ американского президента о цветном видеомэгнитофоне победно сообщил ему, изумленному, что все это, дескать, у нас уже есть и что мы вас, бедных и убогих, давно обогнали и готовы подождать, чтобы вы не сбились с правильного пути. Американцы тогда показывали еще до конца не оправившейся от войны советской стране среднестатистическую обывательскую кухню – воплощение благополучия, с ее микроволновками, стиральными машинами, видеомэгнитофоном и прочими агрегатами. Хрущев, бедняга, не мог уловить иронии, которая пряталась в самом факте американского самодовольства: сытое брюхо, как говорится в известной пословице, к учению глухо, и то, что наши враги символом своего превосходства делали кухню, намекало о пустоте, которая зияла в их глазах.

Спустя полвека Умберто Эко скажет о «цифровом средневековье», в которое погрузился мир. Вместе с активным развитием электроники и информационных технологий стала деградировать наша любознательность, наша готовность докопаться до корней, до причин процессов. Отныне мы воспринимаем их как свершившийся факт, не вдумываясь в то, каким образом и какой ценой мы получаем запрограммированный результат. Очень трудно решить, какому богу молиться, когда зависает твой компьютер, потому что сам этот прибор усилиями целых поколений восторженных идеологов превратился в божество, якобы способное изменять мир, дарить счастье и освобождать людей. «Электронный разворот» в индустриальном мире 60–70-х годов прошлого века совпал с андеграундными движениями хиппи, кислотных рейвов, сообществ свободной любви и стал их своеобразной респектабельной оболочкой, активно, кстати, подпитываемой денежными вливаниями со стороны военных ведомств. Подоплекой этому балагану была долгоиграющая программа борьбы с повстанческими движениями, начиная с Вьетнама и заканчивая Латинской Америкой. Но «гражданская» легенда компьютеров состояла в стратегиях «освобождения сознания», соответствовавших тогда модным наркотическим увлечениям.

Другими словами, наркотизация мира происходила за счет приравнивания свободы и информации: чем больше технических возможностей для получения новых сведений ты имеешь, тем более свободным ты кажешься самому себе. Бессмысленные, затуманенные глаза сегодняшних социопатов, которые они поднимают от мониторов на своих родителей в ответ на бесконечные упреки, отрываясь от привычной виртуальной нирваны, словно перекидывают мост к 70-м годам прошлого века, с их Вудстоком и «движением приколистов», грозившихся растворить ЛСД в нью-йоркском водопроводе «для всеобщего кайфа».

Вся эта грустная история создает новое разделение общества по степени его осмысленности. Татуированные тела, громоздящиеся в экранах смартфонов, становятся расходным материалом для новых апологетов кибергуманизма, согласно которым человек должен добровольно отказаться от своего естества, подчиниться машине, уничтожить в себе малейшие проявления сомнений и самоуважения. Помните картины стоявших на коленях полицейских в Америке перед бушующими криминальными толпами? Очень тонкая подмена понятий: чувство

собственного достоинства уходит на задний план перед соображениями расовой толерантности. Закон и справедливость – тоже. Мирозрение отказа («отмены») – от всего, что когда-то было смысловыми основами для прогресса и гуманизма, – сегодня распространяется практически на все стороны жизни, имея внутри себя неявную подоплеку: технологии все расставят по своим местам, интернет вещей и искусственный интеллект лучше знают, где твое место. Во всем этом есть тщательно скрываемое лукавство: человек по сути своей умнее и изощреннее любого, самого умного девайса. Но чтобы подчинить себя технологиям, он должен стать глупее и примитивнее их. Так почему бы не заняться воспитанием ради деградации взамен прежних гуманистических ориентиров? На колени, презренные!

Илон Маск в ответ на претензии Гарри Каспарова высокомерно заявил, что даже его айфон теперь может обыграть беднягу-гроссмейстера, попытавшегося его упрекнуть в «неправильной» позиции по Украине. А ведь, по сути, Маск расставил все точки над *i*: ваши надежды на уникальность и самобытность отныне в прошлом, поскольку нынче в приоритете – примитивизация. Кто ты такой, Гарри Каспаров, со всем твоим богатым... прошлым, в котором интеллект был твоей визитной карточкой? Билл Гейтс, как известно, запрещает своим детям бесконтрольно пользоваться компьютером. Новая элита отдает айфоны тем, для кого желудок важнее головы. И они, погруженные в шаманские ритмы TikTok'a, не замечают ничего за пределами мерцающих экранов, готовые ради них отказаться от истории, культуры, религии, семьи, да и просто элементарных приличий.

Что ж, все то, что я сейчас говорю, уже в тех или иных тональностях звучало в нашем общественном сознании. Вопрос, стало быть, состоит в том, как быть дальше? Владимир Александрович Кутырев, яркий, интеллигентный, ранимый и тонко чувствующий нижегородский философ, недавно ушедший из жизни, говорил, что наш удел – всего лишь оттягивать, по мере сил, неизбежное наступление сингулярности, или, переводя с философского на обыденный, конец света, Апокалипсис, победу технологического бездушия над трепетным человеческим сознанием. Говорить, стучать в набат, доказывать...

Проблема в том, что никто не слышит, как ни старайся. Все общество дефрагментировано настолько, что взаимопонимание даже между близкими социальными группами порой невозможно. Часто вижу, как студенты на переменах, сидя рядом друг с другом в комфортных, расслабляющих креслах-подушках, общаются через мессенджеры, не поднимая глаз на соседей. Что бы ты ни кричал, как бы ни увещевал, все растворяется в тумане равнодушия, потому что крики и раздражители – это повседневность, созданная технологиями, старающимися пронзить тебя, как хрестоматийную лабораторную лягушку, очередным электрическим разрядом. Посмотрите на новостную ленту в своем смартфоне непредвзято: фрики и крики, эпатаж и авантаж. И ничего за душой. Взглянул мельком на очередную катастрофу и пролился дальше – сколько еще таких будет? Вот она, этика виртуального подчинения!

Но ведь ровно то же самое происходит и на более широком социальном уровне: если что-то не нравится, то можно это просто не замечать (компетентному подходу в системе образования нет альтернативы, ага!). Электронные коммуникации на самом раннем этапе их зарождения воспринимались неподготовленными людьми как форма балаганного искусства, как примитивное развлечение, ничего не несущее ни

уму, ни сердцу. Что ж, сегодня мы в самой гуще, на авансцене этого цирка, перекочевавшего в жизнь. «Шоу маст гоу он» – «шоу должно продолжаться». Это про тоннели в нашем сознании, за пределами которых мы не видим, вернее, не желаем обнаруживать абсолютно ничего нового.

Стало быть, увещевания, слезы и вздымания рук к небу ни к чему не ведут. Нужно отыскивать альтернативу этому веселому самоуничтожению, плоды которого с утробной, сытой отрывкой потребляют корпорации. Человек на протяжении столетий уже не раз демонстрировал свою способность уходить из-под давления самых, казалось бы, безусловных, непреодолимых систем. Взять, к примеру, фашизм как политическую технологию или телевидение – как технологию коммуникативную. В первом случае гестапо залезло в мозги буквально каждому немцу (96% охвата радиовещанием – никогда и нигде в мире такого показателя не было достигнуто), во втором – абсолютное подавление любых других импульсов об окружающем мире (помните, как вымиралы улицы городов, когда Кашпировский начинал свои сеансы?). По прошествии времени возникало отрезвление и прозрение (сегодня читаю историю телевидения современным студентам и чувствую, что предмет этот мало чем отличается в их глазах от каких-нибудь основ археологии).

В человеке заложена уникальная способность, кроме той, что была обозначена в начале этих размышлений: наше тело, наше сознание, получая разрозненные и хаотичные импульсы извне, превращает их в целостную картину, которая и составляет ткань бытия. Если бы этого свойства у нас не было, то, к примеру, музыка должна была бы восприниматься лишь как набор случайных звуков, никаких мыслей и эмоций не несущих. Мы –демиурги, создатели собственного мира, да и не только собственного – всего, что нас окружает, – нас и находящихся рядом людей. Объединительная сила духа прямо противоположна набору «знаний, умений и навыков» (эти примитивные индикаторы в высшей школе называют «ЗУНами»).

Оказавшись на какой-нибудь очередной «стратегической сессии» (инноваторы очень любят пафосные названия), я с подавленным вздохом становлюсь членом случайной команды «энтузиастов», которые с жаром обсуждают заданные коучем вопросы, пишут на клейких стикерах ответы, лепят их на большом ватмане. Наверняка многие из вас участвовали в подобных играх. Главная награда в них – одобрительные реплики в твой адрес очередного ментора, или даже, о чудо! – «победа» над остальными в этой псевдоинтеллектуальной битве. Таков сегодня основной формат «креативных технологий». Те, кто бывал в подобных балаганах, скажите, сможете ли вы вспомнить спустя месяц, а тем более год, хотя бы слово из того, что написали на разноцветных бумажках? Или вообще то, что тогда обсуждалось? Я – нет. И, мне кажется, это вовсе не мой недостаток. Вот недавно, слышал, в Сочи в такой форме обсуждали, каким бы содержанием насытить феномен патриотизма... Жаль, что не додумались превратить этот увлекательный процесс в танцевальный баттл. Сколько бы символов накопили! Впрочем, не удивлюсь, если скоро такая «стратегическая сессия» в стиле хип-хоп состоится где-нибудь в Сколково.

У креативных технологий есть существенный недостаток: они постоянно куда-то торопятся. Скорость – это вообще одна из коронных фишек нашего опустошенного мира. Если ты не успеваешь, то ты лузер,

если компьютер решает триллион задач в секунду, а ты не в состоянии справиться с одной, то о чем вообще с тобой говорить? Герберт Шиллер, один из авторитетнейших исследователей манипулятивных технологий, считал лихорадочную быстроту принятия решений весьма эффективным приемом воздействия на сознание.

Остановиться, сделать над собой усилие и встать посреди бушующего информационного потока – это удивительная привилегия человека, которую не в состоянии просчитать механистичные, чересчур логичные, не позволяющие себе притормозить ни на секунду технологии. «Давайте делать паузы в словах» – сегодня звучит весьма прозорливо. Этика пауз. Кажется, это именно та альтернатива безумному множеству ЗУНов, вовлекающих нас в бесконечную воронку потребления – самих себя. Двигаться вперед, обгоняя жалкие технологии, стоя при этом на месте, – это ведь всего лишь проблема выбора ракурса, системы координат, точки отсчета.

Вновь Набоков подсказывает концовку как логичную недосказанность, которую не стоит заполнять конкретным ответом:

Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
но под звезды я буквы подставил
и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
а точнее сказать я не вправе...

ПРОЩАТЬ – ЗНАЧИТ ПОБЕЖДАТЬ

Однажды, в середине 90-х, я оказался в Бремене, точнее, в Бременском университете. Это был конец февраля, сказочный город, восставленный после англо-американских бомбежек, хрустевший ледком под ногами, майсенские колокола на узкой улочке, ведущей к знаменитой скульптурной группе бременских музыкантов, играли мелодии и собирали туристов... А в университет нужно было ехать долго. Весьма долго. И на мой вопрос коллегам, отчего кампус расположен так неудобно-далеко от самого города, мне объяснили: все это следствие студенческих революций конца 60-х годов, когда радикальная молодежь занимала города и муниципалитеты (вспомнилось: «партизанские отряды занимали города...»). Именно тогда – от греха подальше в прямом и переносном смысле – кампусы стали строить на отдалении от урбанистических благ.

Студенческая революция в Европе как-то не очень сильно впечаталась в наше историческое сознание. Была холодная война, противостояние нарастало, и, в общем, «с жиру бесящиеся» мелкие буржуа вызывали в СССР легкое недоверие: все равно, дескать, ничего там особенного не будет. Интеллектуалы, что с них взять. В наших пенатах «гнилая интеллигенция», прямо скажем, тоже была в арьергарде у рабочих и крестьян.

Но другое дело – то, как к этому всему относились на Западе. Их порядок устоял, и в этом смысле наш скепсис был оправдан. Но! «Потрясение основ» капитализма, повторенное спустя полвека после

Октябрьской революции, в западной цивилизации оставило неизгладимый отпечаток, или, точнее сказать, глубокий интеллектуальный шрам на челе элиты (не будем забывать и про свершившуюся китайскую революцию). Этот отпечаток стал поводом для полной и тотальной капитуляции перед марксизмом, который явил глазам озабоченных воротил бизнеса свою мощь, всю преобразующую действенную силу. С тех пор идеи неомарксизма, воплощенные в трудах философов Франкфуртской школы, стали катехизисом империализма, основой для больших и малых идеологов, которые с завидным упорством транслировали в мир интеллектуальные центры.

Преобразование жизни шло по нескольким направлениям, объединенным, однако, одним общим лозунгом «борьбы за свободу». Она, свобода, впрочем, трактовалась очень широко – от движения «детей цветов», Вудстока и сексуальной революции до увлечения компьютерами, преподносившимися в начале 70-х как «средство раскрепощения сознания», как инструменты, якобы обеспечивавшие «интеллектуальную свободу». Одним из апологетов этой причудливой смеси андеграундной мистики и технических инноваций был, например, Стив Джобс, и его реклама первого эппловского компьютера «1984» стала культовой в западной массовой культуре: обыгрывая знаменитую оруэлловскую антиутопию, Джобс утверждал, что благодаря компьютеру отныне никогда не возникнет общество тотального контроля (грустная издевка состоит в том, что сегодняшние гаджеты следят буквально за каждым нашим жестом, и я не удивлюсь, если таргетированная реклама мне предложит после этих строк, когда я вновь включу компьютер, купить книгу Дж. Оруэлла «1984»).

Герберт Маркузе высказал мысль, что сегодняшний обыватель (тот, что еще недавно гордо именовался пролетариатом) полностью погружен в потребление, и рассчитывать на его активное участие в преобразовании социальной жизни теперь не приходится. И в своем эссе «Репрессивная толерантность» (1965 год) он прямо заявлял, что «задача и обязанность интеллектуала» – это помогать обществу увидеть себя таким, какое оно есть «на самом деле», то есть угнетенным, находящимся в цепких лапах всепроникающего насилия. «Тирания большинства» в современных обществах, по Маркузе, использует традиционную толерантность для подавления людей, для легитимации насилия, и против нее должен быть «направлен протест подлинных либералов». Ну, и, как он образно писал, «зрелая преступность целой цивилизации», с ее бомбами и полицией, должна быть низвержена с помощью идеологии «репрессивной толерантности». В общем, вперед, на борьбу с тиранией, в каких бы формах она ни проявлялась. И да, кстати, интеллектуалам в этом крестовом походе должны помогать маргиналы, люмпены. Их союз – это сочетание мозгов и мускулов. Ну, или, другими словами, надо яростно сражаться с проявлениями тирании, не замахиваясь на причины и основы ее появления.

И, казалось бы, бог с ними, с интеллектуалами, Франкфуртской школой и прочими теоретиками! Только вот их глубокомысленные идеи сегодня становятся реальной практикой, превращающей наш мир в подобие Зазеркалья. И это вновь сочетается с классической марксистской формулой: общественные науки должны не изучать общество, а преобразовывать его. Короче, «и вновь продолжается бой». Сегодняшняя идеология смысловых перевертышей на Западе имеет даже свое название – «воукизм», от woke, т. е. прошедшее время от «проснуться».

Тут все по заветам неомарксистов полувековой давности: надо бороться, надо быть постоянно настороже, надо во что бы то ни стало поддерживать угнетенных, и даже если их нет в наличии, следует их придумать, дабы насолить угнетателям, которые уж точно есть, потому что они – как тараканы, ну никак их не выведешь. А вот, кстати, угнетенные – они очень хрупкая и прихотливая масса. Чуть дунет ветерок, они сразу ломаются, страдают и плачут. Угнетенных надо беречь, ограждать от любых намеков на насилие, холить и лелеять. Более того, общественность должна строго следить, чтобы угнетенным «езде была дорога», ну, и почет – тоже им (чтобы не страдали). Отсюда, кстати, такое яростное стремление уравнивать в правах черных и белых, геев и гетеросексуалов. В западных блогах популярен мем о трех гендерах: мужчине, женщине и вертолете «Апач», потому что последний с надписью на кабине пилота «f... you» также может быть причислен к сексуально активным меньшинствам. Ну, то есть гендерная идентичность сегодня может быть какой угодно, и чем более экзотичной она будет, тем больше шансов у ее представителя оказаться в положении запуганной жертвы. Вот они и развлекаются наперегонки, кто во что горазд.

Несложно заметить, что в истерзанном сознании западной элиты марксизм вступил в извращенную связь с еще двумя интеллектуальными течениями прошлого века – фрейдизмом и постмодернизмом. Если от «венского шарлатана», как удачно, на мой взгляд, именовал в свое время Набоков Фрейда, новые идеологи (или сектанты?) взяли идею сексуального подавления, то у постмодерна – тему деконструкции как инструмента поиска корыстного интереса власти, предлагающей обществу все новые и новые истины, как прихотливые сочетания цитат и культурных коннотаций. Гремучая смесь получается! Какая там классовая борьба?! «Истинный» класс – это гендер, потому что если поскрести как следует все эти политические и социальные условности, то останется в итоге страсть, похоть и инстинкты. Так чего ж их стесняться? И если в нуклеарной семье мужчина столетиями привык «доминировать» (фи, как это грубо и неженственно!), то его, негодяя, нужно привлечь к ответственности, высечь, поставить на колени, обрушить на него всю силу репрессивной толерантности. И это не только семьи касается. Один из объектов священной ненависти извращенцев – это наука. Потому что она претендует на формулировку истины, а значит, является рупором жестокой власти. Несложно догадаться, что рядом с наукой стоят религия, школа, полиция.

Не буду живописать все невыносимые «чудеса», которые творятся сейчас на Западе в этих сферах, они и так у всех на слуху. Проблема в другом. То, что у нас, в наших медиа, представляется как апофеоз идиотизма, слабоумия и измененного сознания, у них, наоборот, является символом осмысленного отношения к жизни. «Осмысленного» – это значит, имеющего в своей основе идею, мысль, которые, в свою очередь, порождают психологическую устойчивость и веру в правильность своего поведения. Вот почему у них такой революционный настрой. Вот почему они нам кажутся фанатиками и людьми с другой планеты. И самое главное: вот почему мы им кажемся «недоллюдьми», жалкими существами, консервативно цепляющимися за «устаревшие» ценности. Вот почему они в отношении нас позволяют себе высокомерие и нарушение любых правил и табу, принятых в их «цивилизованном» мире.

И тут возникает болезненный и очень важный вопрос: а что мы можем противопоставить их четкой, как кодекс строителя коммунизма, идеологии? Есть ли у нас встречная контридея, позволяющая нам смело глядеть в глаза этим кибергуманистам, готовым уничтожить всех, кто не разделяет их взглядов? Они идут на то, чтобы вживлять себе чипы в мозг, становиться полуроботами, чтобы быть быстрее, сильнее, динамичнее. А мы на что готовы, чтобы им противостоять? Вернее, так: на что мы можем опереться, чтобы не унижаться перед этими получеловеками, считающими нас «низшей ступенью цивилизации»?

Казалось бы, четких ответов на это нет. Патриотизм, наполненный болью, раздирающей душу, за ребят, отдающих свои жизни за нас в борьбе с фашистами на Украине? Когда-то нас воспитывали на Зое Космодемьянской и Олеге Кошевом, знавших, во имя какой идеи они отдавали свои жизни. А сейчас? «Разговоры о важном» по понедельникам, введенные с этого года в школах, сводятся на практике к воспоминаниям классных руководительниц о своем счастливом детстве или к директивным установкам «поговорить про Росатом» – про передовую, с точки зрения интеллекта и технологий, корпорацию в России. Но это только на первый взгляд.

Чтобы ответить на эти непростые вопросы, нам нужно вновь вернуться к марксизму. Как известно, одним из важных методологических принципов, которым руководствовался Маркс в своих умопостроениях, был феномен классовой борьбы: она, дескать, ведет к прогрессу. К этому добавим материализм, утверждающий внешнюю по отношению к человеку объективную реальность, или, по Энгельсу, природу такую, «какова она есть, без всяких посторонних прибавлений». Человек вышел из природы, но он ей же и противостоит, изменяет ее, при этом изменяясь сам. В этом, собственно, и суть прогресса – в постоянных изменениях внешнего мира, основанных на неухающей борьбе и приводящих к трансформации самого человека. «Бороться и искать, найти и не сдаваться» – знаменитая фраза из «Двух капитанов», бестселлера из советского прошлого, очень емко эту мысль иллюстрирует.

Мы действительно не можем воспринимать мир по-другому. Куда ни глянь, везде борьба, везде антагонизм, столкновение противоположностей. Теодор Адорно, тоже один из столпов неомарксизма, обосновывал в «Негативной диалектике» понятие «нетождественности»: реального «единства противоположностей», как завещал старик Гегель, не существует, и борьба, собственно, есть основная форма социального движения. Вот почему, кстати, на Западе они заняты постоянным выискиванием угнетенных, неухающим движением в защиту сытых, избалованных, развращенных «жертв». Но, положи руку на сердце, мы пока недалеко от них ушли. В институтах нам на самых ранних курсах преподают конфликтологию как науку о поиске истины в бесконечных столкновениях противоборствующих интересов. Мы с детства помним про добро, которое «должно быть с кулаками». В общем, «и вечный бой, покой нам только снится...». Это в крови, в порых, в мельчайших извилинах сознания. Нет борьбы – нет развития, нет прогресса. Но так ли это на самом деле?

Слово «борьба» у нас легитимировано классиками-философами, оно стало символом мужественности и бескомпромиссности. Но можем ли мы, положи руку на сердце, сказать, что борьба – это абсолютное добро? Насколько «единство», которое сулит «противоположностям» их бескомпромиссная схватка, хорошо, легитимно, оправданно?

В прогрессистском энтузиазме, мы судорожно выискиваем позитивные смыслы, забывая о том, что борьба – это еще и уничтожение, подавление, причинение зла. Единство таких противоположностей в нашем сознании получилось какое-то однобокое: негативную сторону столкновений мы стараемся как-то не замечать. Победитель получает все. Проблема марксизма даже не столько в этом. Борьба как стихия, как страсть становится матрицей, с помощью которой оценивается прошлое (как череда «единств», получившихся в результате антагонизма), и она же детерминирует, обуславливает будущее: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», – утверждал капитан-философ Врунгель. Ну точь-точь про сегодняшнее время: не то «Беда», не то «Победа».

Короче, внутреннее противоречие марксизма, которое разрывает сегодняшний мир на части, – это опрокинутость в прошлое, это оправдание насилия как единственного рецепта для прогресса. И вот эти глаза на затылке у западной интеллектуальной элиты могут нам показать, на что нам, не ужаленным чужими догмами, стоит смотреть, на что надеяться, на что обращать внимание.

И в этой связи прогресс, оказывается, воплощается не в технологиях, а в любви. Не в примитивно-плотской (в этом западные идеологи преуспели: харрасмент и движение «ми ту» это отчетливо демонстрируют), а в христианской, той, что возвышает человека над обыденностью. Еще – в умении прощать. Право на ошибку есть право на неизведанные возможности и на творческое отношение к жизни. В марксистском же техницизме ошибка – это приговор. Особенно в сегодняшнее время, когда любые просчеты скрупулезно фиксируются и предьявляются несчастному их автору даже спустя долгие годы.

Вот где контуры новой идеологии. Смотреть на будущее как на воплощенную любовь, к которой ты неизбежно придешь, несмотря на тернии и ошибки, а не как на продолжение вечной и изнуряющей борьбы. Трудиться ради общественного блага, получая при этом вознаграждение за свои усилия. Собственно, умение прощать – это и есть умение побеждать. Человеческая история в этой связи предстает не как механистически-поступательное движение от каменных орудий до цифровых технологий, в котором люди гибнут за эфемерное благо и преходящие ценности. История – это вечный круговорот страстей и желаний, в котором в каждую эпоху возникает свой собственный образ человека, иногда утонченно-возвышенный, иногда приземленно-грубоватый, порой и отвратительный. И, в общем, это вовсе необязательно движение от плохого к хорошему. Но то, что мы должны этот образ желаемого будущего создать в своих сердцах, – это не просто благое пожелание, а рецепт преодоления навязанной нам Западом борьбы.

Марксизм в России оставил неизгладимый и кровавый след, но именно наша страна, наше сознание достойны того, чтобы суметь простить его (и самих себя) за ошибки и поблагодарить за возможности. Одна из таких – в новом осмыслении истории, в новом, человеческом понимании прогресса, будущего, перспектив, которые помогут нам осмысленно смотреть в затуманенные глаза западных и доморощенных кибергуманистов. Именно в этом залог нашей победы!

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт.

Член Союза писателей России. Автор нескольких сборников прозы и публицистики. Биографическое исследование «Константин Леонтьев» получило «Серебряного Витязя» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» 2016 года и вошло в шорт-лист Бунинской премии. Дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный обладатель премии Нижнего Новгорода.

Ранее – инженер-электрохимик в крупном химическом объединении, действительный государственный советник Нижегородской области I класса. Живет в Нижнем Новгороде.

«МЕНЬШЕ ДУМАТЬ О БЛАГЕ И БОЛЬШЕ О СИЛЕ»

К 150-летию создания философско-исторического труда
Константина Леонтьева «Византизм и славянство»

*Для существования славян необходима мощь России. Для силы
России необходим византизм.*

К.Н. Леонтьев

Выдающийся русский мыслитель, писатель, дипломат Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) сочетает в себе все самые яркие черты русского народа: любовь к Отечеству, верность православию, готовность к самопожертвованию, стремление к справедливости, нелюбовь к западным «общечеловеческим ценностям». Одно лишь название его статьи «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» прямо говорит, кто несёт человечеству и мировой истории смерть и разрушение. В своём философском труде «Византизм и славянство» Леонтьев блестяще обосновал спасительную для России идею византизма (православия) и опасность для России со стороны безбожного Запада. Запад ненавидит Россию, византизм, православие и Средние века, поскольку видит в России мощное государство и непокорный народ, чувствуя его духовные преимущества. Поэтому Запад пытается искоренить православие как ортодоксальное христианство, от него в своё время Рим и католики уклонились, предав суть христианского учения. Западная Европа также не любит Средние века, «тёмное средневековье»,

так как была в то время на удивление неграмотной и нечистоплотной (не только иносказательно) по сравнению с Византией и Русью.

За десять лет дипломатической работы в разных уголках Османской империи Константин Леонтьев, в совершенстве владея индуктивным методом мышления, распознал «грехи» западной цивилизации и изложил их по полочкам в «Византизме и славянстве». Прочитав этот труд, Лев Толстой сказал: «Леонтьев стоял головой выше всех русских философов».

1

У каждого мыслителя всегда есть особое произведение, в котором он выговаривается до конца, выплескивает то, что копилось подспудно в душе долгие годы, и которое определяет самого автора как личность, творческую и социальную. Леонтьев с открытым забралом шел к высшей цели, основа которой есть развитие и полнота жизни. «...Не покой – брат застоя, наш дорогой идеал, а битва жизни, движение, цвет её!» – так он определял смысл жизни в статье «Мнение Джона-Стюарта Милля о личности».

В январе 1873 года он завершил дипломатическую службу и по предварительному соглашению с редактором «Московских ведомостей» Михаилом Катковым развивал свою гипотезу о триедином процессе истории. Над «Византизмом и славянством» – основным своим сочинением по философии истории – Леонтьев работал на острове Халки близ Константинополя.

Прежде чем перейти к изложению итогов «Византизма и славянства», надо кратко разобраться с терминами, входящими в название. Начнём с широко известного и тревожащего общественное сознание тех времён «славянства». Славянство, славянофильство, панславизм, славизм – по-разному называлось это движение русской общественно-политической и философской мысли середины XIX века не только в России, но и в Европе. Русские славянофилы обосновывали и страстно желали начертать для России самобытный путь развития, принципиально отличный от западного, «загнивающего», нездорового для русской души. Славянолюбцы были не только в России, но и в Австро-Венгерской империи, и в Польше, и у южных славян. Их первой задачей стало обретение независимости с образованием наряду с национальными государствами и объединённой славянской конфедерации.

Началом послужило Кирилло-Мефодиевское общество, созданное в январе 1846 года в Киеве и предусматривавшее союз демократических славянских республик (штатов, видимо, под впечатлением от США) с центром в Киеве. Особая роль в этом Союзе предназначалась украинцам, отличающихся, по мнению организаторов, от других славян особым свободолобием и демократизмом. Царь через год разогнал это общество, зачинщиков посадил в Петропавловскую крепость, а поэта Т. Шевченко как одного из участников забили в солдаты.

Константину Леонтьеву было 17 лет, когда в Праге летом 1848 года собрался Первый Славянский съезд. Он пытался решить славянский вопрос не только за счёт переустройства Австрийской империи с выходом чехов, словаков, словенцев, русинов, поляков на самостоятельный путь развития, но и образованием славянской федерации. Издатели «Новой Рейнской газеты» К. Маркс и Ф. Энгельс считали этот съезд вызовом для пангерманизма, угрозой для существования единого гер-

манского государства, образованного в этом же году во Франкфуртена-Майне. В статье «Демократический панславизм» Ф. Энгельс фактически издевался над славянами, говоря, что славяне никогда не имели собственной истории, что находятся на низшей ступени цивилизации и не смогут обрести самостоятельность. Хорошо ещё, что он не скатился в своих «рассуждениях» к объявлению славян «низшей расой».

Второй Славянский съезд прошёл в Санкт-Петербурге и в Москве в 1867 году, следующий опять в Праге – в 1868 году. Леонтьев в эти годы трудился на дипломатической ниве вдали от родины и быть там не мог, но «славянский» или «восточный» вопрос витал в воздухе и не откликнуться на него он не мог, тем более что консульства располагались на территориях нынешних Болгарии, Румынии и Греции.

Леонтьев был не первым, кто использовал понятие «византизм». Ещё Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» указывал на значительное влияние Византии на развитие Московской Руси, передачей ей искусства Византии, письменной культуры, народных бытовых и духовных привычек. Русь переняла от Византии прежде всего православие, принцип сосредоточения власти в монарших руках, невмешательства церкви в государственные дела, её подчинение воле императора, как «помазанника Божьего», восточное величие в церковном и императорском убранствах. В узком смысле слова «византизм» означал православие и монархизм, а в более широком – весь уклад русской социально-культурной жизни в X–XVII веках. Идейной вершиной этого уклада явилась концепция игумена Филофея «Москва – третий Рим».

Триста лет после Петра I не утихают споры о возможных путях развития России. В XIX веке не только византийское направление, но и само слово «византизм» или «византийство» для западников стало приметой застоя и отсталости от Западной Европы. С легкой руки Александра Герцена, написавшего: «Византизм – это старость, усталость, безропотная покорность агонии...», укоренилось в «просвещенном» обществе России негативное отношение к византизму, а значит, и к православию. В конце XIX века масла в огонь подлил самый модный на ту пору философ Владимир Сергеевич Соловьев в «Очерках из истории русского сознания». Он считал «*татарско-византийскую сущность России*» мнимым русским идеалом.

В таких условиях от Леонтьева требовалась особая смелость, чтобы представить византизм и его роль в положительном свете. И не просто представить, но и рекомендовать обществу России проанализировать это явление и следовать его культурным и религиозным традициям.

«Представляя себе мысленно византизм, **мы** (выделено мной. – М. Ч.)... видим перед собою как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. **Мы** (выделено мной. – М. Ч.) знаем, например, что византизм в государстве значит – самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов», – утверждает Леонтьев с первых строк своего трактата. Этим обращением «мы» Леонтьев подчеркивает, что обращается не к **публике**, а к абсолютному большинству образованного народа, верующего в царскую власть и православие, то есть к тем людям, для которых эти понятия – не пустой звук, а смысл и образ жизни.

Кстати, о публике. «Безымянный люд этот (публика. – М. Ч.) одинаков во всех странах. Это личности, которым свойственен индивидуализм,

отрицание... Вместе с тем им присущ элемент, пусть и отрицательный, но объединяющий их и составляющий своего рода религию. Это ненависть к Власти как принцип», – так говорил о публике другой дипломат и консерватор Федор Тютчев. Этот принцип отрицания государственной власти есть родовое пятно либералов всех времен и народов. Такого же мнения придерживался Аполлон Григорьев, утверждавший, что «публика – это нравственное мещанство». Леонтьев в своих определениях более эмоционален: «Публика наша легкомысленна, пуста, впечатлительна и дурно воспитана, а нашим адвокатам и прокурорам нужно сделать карьеру, обнаружить ораторские способности (между прочим, ввиду воображаемой возможности громить ответственных министров, ибо никому так конституция не выгодна, как ораторам) (статья «Чем и как либерализм наш вреден?»).

Вернемся к трактату. Леонтьев, характеризуя европейскую историю, утверждает, что Запад, по сути, тоже пошел по пути Византии. Царствование византийского императора Константина пришлось на IV век нашей эры, а Карл Великий венчался в IX веке, то есть спустя 500 лет после «отсталой» и «невежественной» Византии. Таким образом, именно византизм обеспечил и долголетие Восточно-Римской империи и оказал заметное культурное и политическое влияние на развитие романо-германской цивилизации. «Создавая себе кесаря, в подражание Византии и вместе с тем назло ей, Европа, сама того не подозревая, вступала на совершенно новый путь», – характеризовал Леонтьев западный романо-германский исторический тип в своём труде.

Не потому ли Запад так настойчиво абстрагируется от византийских начал, понимая, что вторичность несколько оскорбительна для их цивилизации, обособление которой началось именно с Карла Великого. Леонтьев (историк П.Н. Милюков называл его «хранителем старых начал византизма»), по сути, художественно оживлял знаменитую триаду Уварова «Православие, Самодержавие, Народность». Это прекрасно понимали либеральные противники Леонтьева. Желая его уколоть, Владимир Соловьев, разошедшийся с Леонтьевым во взглядах к началу 90-х годов XIX века, писал: «Мы не найдем здесь (в Византии. – М. Ч.) ничего такого, на чем можно было бы заметить хотя бы слабые следы высшего духа, движущего всемирную историю».

Леонтьев словно предвидел возражения, подобные тем, что высказал Соловьев, пишет в статье «Владимир Соловьев против Данилевского»: «...Как же можно было забыть об этой *духовной* византийской литературе, которая до сих пор, конечно, *живет* и при этом неизмеримо *популярнее* и Гомера, и Шекспира» (здесь и далее выделения сделаны самим Леонтьевым). Тем самым для Леонтьева византизм – не просто восточное ответвление христианства или Второй Рим, а особая культура, иерархия и государственная форма управления. Форма же, по словам Леонтьева, есть «деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться».

Ну как безбожный либерал-западник может простить Леонтьеву утверждение, что православные песнопения популярнее Шекспира? Да никак!

Тем самым Леонтьев возражает и Соловьеву, и Данилевскому, замечая заочно последнему, что пропущен одиннадцатый, византийский культурно-исторический тип. Возможно, что факт упущения Данилевским Византии из перечня своих культурно-исторических типов и послужил для Леонтьева толчком для исправления этого недостатка и написания своего замечательного труда «Византизм и славянство».

Леонтьев за преимуществами Византии отмечает, прежде всего, «догматически-философскую, богослужебно или молитвенно-лирическую, нравственно-аскетическую и церковно-историческую» литературу (Псалмы, Жития святых и др.). И далее дополняет: «...Византия дала миру неподражаемые и недостижимые образцы всех родов церковного искусства: в зодчестве – Св. Софию, в иконописи – Панселина, в пении – все бесчисленные божественные напевы, коими оглашаются и – как можно верить – до конца мира будут оглашаться во всей вселенной православные храмы».

Высокая оценка культурных особенностей Византии основана прежде всего на собственном опыте Леонтьева, видевшего храм Святой Софии в Константинополе и слышавшего церковное пение в афонских и русских церквях, на глубоком знании истории Средних веков. На спасительный характер византийской государственности для Московской Руси Леонтьев особо обращает внимание, утверждая, что она для России явилась формообразующим началом для становления русского культурно-государственного образования, или культурно-исторического типа согласно терминологии Данилевского. Леонтьев говорит так: «В византизме царила одна отвлеченная юридическая идея: на Руси эта идея обрела себе плоть и кровь в царских родах, священных для народа».

Все византийские основы жизни (цезаризм, православие, «талант повиновения» народа, сословность) помогли России подняться до уровня «цветущей сложности», обеспечили могущество и величие. О всех составных частях византизма и о механизме укоренения их на Руси Леонтьев говорит в своем труде много и подробно. Для него, повторим, это начало начал всей русской государственности и залог процветания.

Уже первые ростки демократии в России с очевидностью показали Леонтьеву, что с ее приходом при вожделенном для либералов равенстве и братстве, стремительно начинается портиться, усредняться в своей эстетической худобе человеческий характер. Для эстета Леонтьева устойчивое психическое состояние, внутреннее богатство и красота личности – основы процветания нации, а значит, и России. Без ярких, неординарных личностей, кто же будет «двигать» историю? Так или примерно так рассуждает Леонтьев, имея в виду следующее: «Человек ненасытен, если ему дать свободу». К такому же выводу приходит «первый русский диссидент» А.И. Герцен: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри*». Следует отметить, что слово «диссидент» впервые в России ввел в оборот именно Константин Леонтьев в «Византизме и славянстве».

Пример такой ненасытности при неограниченной дозволенности прекрасно показал А.С. Пушкин в философской, по сути, «Сказке о рыбаке и рыбке». Видимо, эта проблема тоже мучила и томила его. Останowitz ненасытностью может только принуждение. Оно пронизывает все поры органического мира – таково мнение Леонтьева, и с ним трудно не согласиться. Он рассуждает просто и эффективно: вот стакан с водой. Пока вода в стакане, она есть вода. Да, она испаряется, но медленно и в зависимости от температуры. Выше температура (революция поднимает градус) – быстрее испаряется нужное вещество. Стоит только разбить стакан (форму), вода разольется по полу и быстро-быстро испарится, исчезнет. Нет более полезного и нужного вещества! И потому по Леонтьеву: «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет». Так говорит Леонтьев.

И это, в принципе, очень даже очевидная истина. Разве общество устроено по другому принципу, нежели органический мир? О чём гласит корпоративная этика? Беспрекословное подчинение начальнику, который является в корпорации диктатором. О корпоративном деспотизме молчат либералы, осуждающие любое нарушение прав человека со стороны государства. Они против власти самодержавного или любого другого государства, построенного на принципах дисциплины, но не против власти «самодержца» в корпорации, в которой работают и гнут спину ради куска хлеба. Когда же государственные чиновники не понимают этого и, получая деньги от государства на свое содержание, восстают против своего кормильца, вот тогда наступает беда для государства.

Главенство либеральных взглядов – беда для государственной власти. Они вредны и для «простых» людей. «Вольнолюбивые» фразы, «о беспредельных правах лица... дойдя до нижних слоев западного общества, – по мнению Леонтьева, – сделало из всякого простого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства». Беспредельных прав быть не должно – это не только мнение тонкого эстета, но и государственника, думающего о развитии России. Леонтьев отлично понимает, что сапожник, уравненный в правах с министром, станет демагогически рассуждать о своем достоинстве и перестанет работать. За ним перестанут работать печники, сталевары, плотники, столяры и т. д. Кто же будет создавать материальные ценности: «нашу серебряную утварь, наши иконы, наши мозаики»?

Вспомним повесть А.П. Чехова «Степь» и разговор на постоялом дворе. Хозяин его еврей Моисей Моисеевич так говорит о своем брате Соломоне, пропитанном либеральными идеями: «И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет». И таких людей в России становилось всё больше и больше, пока не вспыхнула, словно факел, революция. Но этот факел выдвинул лишь тех, кто никого не любил, никого не боялся, никого не почитал. Немало сгорело в этом факеле и самих поджигателей либо обгорело, попав в эмиграцию.

Говоря о значении византизма для России, Леонтьев восклицает: «византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя всё благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!»

И, действительно, выдержали! И выдерживаем в XXI веке.

2

Александр Блок взял в качестве эпиграфа к своей поэме «Скифы» слова Владимира Сергеевича Соловьева, поэта, философа, старого, так сказать, знаконца Константина Леонтьева. Звучат они так: «Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Хотя имя «панславизм» менее дико, но суть... Ласкает ли она слух Леонтьева, можно узнать из «Византизма и славянства».

В этом труде Леонтьев в продолжение статей «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне» пытается дать определение славизму. И при-

ходит к выводу, что невозможно найти «какие-нибудь ясные, резкие черты, какие-нибудь определенные и яркие исторические свойства, которые были бы общи всем славянам. Славизм можно понимать только как племенное этнографическое отвлечение, как идею общей крови (хотя не совсем чистой) и сходных языков. Идея славизма не представляет отвлечения исторического, то есть такого, под которым бы разумелись, как в квинтэссенции, все отличительные признаки, религиозные, юридические, бытовые, художественные, составляющие в совокупности своей полную и живую историческую картину известной культуры».

И в самом деле, подробно характеризуя славян – чехов, поляков, болгар, сербов, великороссов и малороссов, Леонтьеву не удалось усмотреть в их истории «органическую систему своеобразных идей, стоящих вне частных, местных и личных интересов», но глубоко тысячами нитей, связанных с этими интересами. Леонтьев приходит к выводу, что «славизма как культурного здания или нет уже, или ещё нет; или славизм погиб навсегда, растаял... под совокупными действиями католичества, византизма, германизма, ислама... или, напротив того, славизм не сказал ещё своего слова и таится, как огонь под пеплом...».

Относительно греков, подстрекаемых англичанами, Леонтьев восклицал: «Греки не хотят или не умеют понять, что между панславизмом и русским славянофильством большая разница».

В составленном от третьего лица «Списке сочинений К. Леонтьева с характеристикой» он объясняет суть своих взглядов на Восточный (славистский) вопрос следующим образом: «Овладение Царьградом и Проливами, **утверждение Восточных Церквей** (выделено мной. – М. Ч.) и при этом как *неизбежное бремя* составление какого-нибудь сносного союза с освобожденными единоверцами – вот цель, которую должна преследовать Россия».

Эмансипационная же собственно политика, по мнению автора, не должна быть сама по себе целью, а только временным и при этом довольно опасным средством. То есть Россия как предводитель славянства должна создать не союз из славян, а некую особость (Восточные Церкви), противостоящую тлетворному влиянию Запада.

Такую точку зрения на панславизм могли понять и одобрить только высокие умы. Например, Достоевский, 26 февраля 1873 года написавший М.П. Погодину после прочтения «Панславизм и греки»: «Эта статья меня даже поразила... Меня поразил особенно последний вывод о том, что собственно должен означать для России Восточный вопрос отныне? (Борьба со всей идеей Запада, то есть с социализмом)». Погодин ответил: «Предстоит борьба России с Западом из-за чего бы то ни было, а вероятно из-за Востока». Леонтьев, что называется, раскрыл глаза русскому обществу на существо проблемы панславизма и Восточного вопроса. И уже после этого разъяснения Достоевский в своих дневниках записал в ноябре 1877 года: «...по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!» И ещё раз обращаю внимание, что это прозрение наступило у Достоевского спустя четыре года после прочтения Леонтьева, который называл болгар «волками в овечьей шкуре».

Особенно негативные качества болгар (да по большому счёту и всех югославян, к которым надо отнести и украинцев) проявились во время

двух Балканских войн (1912–1913 гг.), когда в Первую войну коалиция болгар, сербов, черногорцев и греков против владычества Османской империи почти полностью освободила от турок европейскую часть современной Турции. Славянскими стали города, где работал некогда Леонтьев: Адрианополь (Эдирне), Янина, Салоники, а Болгария получила вождеденный выход к Эгейскому морю. Однако жадность (ненасытность – по Леонтьеву) болгар сгубила. Им этих территорий, закреплённых Лондонским договором, показалось мало. В 1913 году Болгария напала на бывших своих союзников (греков, сербов), но за полтора месяца была повержена. Результат плачевный: потеряно всё, что было кровью завоёвано: Восточная Фракия с Адрианополем отошла к Турции, а выход к Эгейскому морю – Греции.

Вторая Балканская война (29 июня – 10 августа 1913 года) ярко выявила неспособность югославян договариваться между собой. Таким образом, Леонтьев задолго и верно усмотрел, что славизма как идеи (идеологии) нет. Панславизм России не нужен, но есть славянство, хотя и оно недостаточно прочно: «У болгар поэтому мы не видим до сих пор ничего славянского, в смысле зиждительном, творческом; мы видим только отрицание, и чем дальше, тем сильнее». А «дальше», надо заметить, Болгария в двух мировых войнах была на стороне Германии, в 2022 году закрыла воздушное пространство для полёта министра иностранных дел России в Сербию. Вывод Леонтьева верен и сбывается уже 150 лет.

Да и что славянство представляет собой без сильной России? Ровным счетом ничего! Отсюда и родились вещице слова, что взяты в эпиграф.

«Для существования славян необходима мощь России».

«Для силы России необходим византизм».

«Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапывается, сам, быть может, и не понимая того, под основы Русского государства».

«Тот, кто воюет против византизма, воюет, сам не зная того, косвенно и противу всего славянства; ибо что такое племенное славянство без отвлеченного славизма?...»

Нет в славизме идеи (идеологии), значит, не может быть ничего положительного, зиждительного в нём. Естественен вывод Леонтьева: «Слияние славян в одно государство было бы кануном разложения России, «Русское море» иссякло бы от слияния в нём «славянских ручьёв». История доказала верность подобного утверждения. Излишняя полонизация органов власти царской России привела к февральской и октябрьской революциям 1917 года. Значительным количеством украинцев в советских властных структурах некоторые историки объясняют развал СССР. И верно ведь советовал Леонтьев: «Не льстить надо славянам, не обращаться к ним с вечной улыбкой любезности: нет! Надо изучить их...» К великому сожалению, мало тех, особенно во власти, кто читает Леонтьева.

Тонко подмеченная Леонтьевым связь могущества славянского государства и византизма (ортодоксального православия) также нашла подтверждение в истории. Ненасытность бросила болгар во Вторую балканскую войну, и они потеряли приобретённое. Но почему бы не связать это с результатом еретических действий (схизмы) болгар, отошедших в 1870 году от Константинопольского патриархата с образованием Болгарского экзархата? Можно связать закрытие Сталиным «Союза воинствующих безбожников» с началом Великой Отечественной войны с победой в ней. Вспоминается и архиерейский собор в 1943

году и признание РПЦ, по его настоянию, как единственного религиозного объединения, с которым сотрудничает государство. Или совсем свежий пример с Украиной, отошедшей в XXI веке от РПЦ как воплощенного византизма. Результат сейчас известен. Кто-то может посчитать это мистикой, но факты упрямая вещь. И потому Леонтьев восклицал, словно объясняя, что может случиться в будущем: «...наружное политическое согласие с Европой необходимо до поры до времени; но согласие внутреннее, наивное, согласие идей – это наша смерть!!» Западные и южные славяне, в том числе украинцы быстро соглашались с **Западом внутренне!**

И в дальнейшем Леонтьев последовательно развивал тему, что Запад культурно исчерпал себя, а кто ему будет подражать, тот сам погибнет. И чем выше будет степень подражания западной либеральной доктрине, тем быстрее наступит конец подражателю как независимому государству, даже если период падения будут наблюдать десятки поколений. И констатация этого произошла 150 лет назад, но... нет пророка в своём отечестве.

3

Либералы с гордостью считают себя носителями прогресса, а консерваторов – хулителями его. При этом либералы не делают различия между понятиями «прогресс» и «развитие». Леонтьев в третьей, теоретической части своего труда «Византизм и славянство», отмечая наветы либеральных радикалов, мудро разделяет эти понятия.

В развитии, как в каждом процессе, есть некая внутренняя идея (смысл, суть), предполагающая в самой себе результат. Возьмем, к примеру, реакцию фотосинтеза, или, как ее называют красочно, «реакцию жизни». При ней в листьях (клетках) растения с помощью хлорофилла (красящего вещества) под действием солнечного света усваивается углекислый газ из воздуха с формированием органической массы (пищи и для человека), обеспечивающей растению рост и созревания плодов и зёрен, с получением кислорода. Без него, как мы все знаем, не может жить никакое животное, ни человек как часть животного мира. То есть эта реакция, несущая в себе свой результат, имеет два смысла (идеи) – производство вегетативной массы и кислорода.

Таким образом, в каждом явлении или обстоятельстве, как части процесса, она (идея) должна непременно присутствовать. Поскольку системные идеи тех или иных явлений или обстоятельств самостоятельны, то и цели их различны. Развитие по Леонтьеву, логически и диалектически, есть следующее:

«Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой – от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений.

Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности.

Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства.

Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объединенная неким **внутренним деспотическим** (выделено мной. – М. Ч.) единством».

Безупречная логическая и диалектическая цепь рассуждений позволяет понять бытие как процесс, показать переход всякого свойства на следующую ступень или стадию развития, а в дальнейшем и в свою противоположность, то есть реакцию на предыдущее развитие. Тут уместно вспомнить и Карла Маркса, сказавшего о диалектике Георга Гегеля: «Он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в непрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития».

Прочитайте ещё раз определение развития у Леонтьева. Это ли не полная интерпретация принципов и основ диалектики, которую понимали ещё древние греки, чувствуя, что бытие включает в себе вечные противоречия и изменчивость, которые способствуют переходу всякого свойства в свою противоположность. История, о которой далее будет рассуждать Леонтьев, так же как бытие, есть процесс полный противоречий: она едина и множественна, вечна и преходяща, циклична и поступательна. Как человек своей судьбой, как процессом, проходит через бытие, так и история следует за ним, поглощая время. Причем следует отметить, что в христианстве время, имеющее начало и конец, всегда отделено от вечности, являющейся прерогативой Бога. И когда красиво говорят, что тайна гения – это метка вечности, то это означает с христианской точки зрения, что своим зарождением гений обязан Богу.

Итак, если развитие через внутреннюю идею («внутреннее деспотическое единство») придает смысл движению, то, по мнению Леонтьева, «прогресс, то есть последующая ступень истории, её завтрашний день, так сказать, не всегда носит характер более эмансипационный, чем ступень предыдущая, чем период истекающий или истекший». Объем свободы, который, по мнению «прогрессистов», должен увеличиваться с каждой ступенью истории, не есть доминанта развития по Леонтьеву. На следующей исторической ступени (в данном случае – буржуазной, капиталистической, следующей за феодальной ступенью), могут и должны быть возвраты к положительному опыту и традициям предков. В силу этого, утверждает Леонтьев, «могут стать прогрессом, в свою очередь, и всякие реакционные меры, и временные, и законодательные – раз только меры, освобождающие личность человеческую, достигнут так называемой точки насыщения». Этим соображением он бьёт своих противников их же оружием. Если вы, говорит Леонтьев, обращаясь к «прогрессистам», ставите во главу угла личные права человека (свободу, равенство, благоденствие), то вы должны учитывать и их предел – «насыщение» (оно так же естественно, как смерть), результатом которого должна быть реакция на излишнюю свободу. Иначе – анархия, хаос, когда чересчур свободная личность берет в руки оружие и идет отстреливать всех, косо на него посмотревших.

Как бы предвидя подобное развитие событий, Леонтьев предупреждает в «Византизме и славянстве»: «Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически-родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс (читай: прогресс. – М. Ч.) есть антитеза процессу развития». Как говорится, fiat lux (да будет свет!), то есть точки расставлены, позиции определены: развитие и прогресс по Леонтьеву – не синонимы по своему внутреннему содержанию. Прогресс, понимаемый как несконча-

емое увеличение прав и свобод, может остановиться из-за излишней свободы, переходящей в анархию.

Довольно тонкое разделение и противопоставление развития и прогресса. Для пояснения этого главного тезиса К.Н. Леонтьева, из которого исходят все дальнейшие рассуждения и выводы, вспомним ещё раз «реакцию жизни» (фотосинтез), обеспечивающую существование всего живого на Земле. Ботаники и специалисты сельского хозяйства знают, что если «перекормить» растение удобрениями (свободой – в случае человеческого общества), то образование вегетативной массы, так называемой ботвы, станет определяющим и бесконтрольным. Вот это и есть прогресс, то есть, как говорят философы, начиная с Анн Роббер Тюрго (1727–1781), поступательное движение человеческого общества по восходящей линии. Возможно, что зеленая масса (силос) необходима скоту на откорм, но образования цветков, их оплодотворения, а следовательно, **развития** зерен и плодов происходить не будет. И каждый поймет, что без зерен не обеспечишь воспроизводство на следующий год новых растений. Прервется в биологическом случае генетическая связь, а в историческом – связь времен и даже больше – наступит конец истории. Чтобы образовались цветки, а потом возникла завязь, побеги растения прищипывают (деспотия), то есть ограничивают рост (прогресс) зеленой массы. Сотворив цветок, обеспечив завязь и созревание плода до полной спелости, растение сбрасывает листья, стебель (пшеницы, например) засыхает, растение погибает.

Из этого примера можно сделать логические выводы, что без деспотии (прищипка) количество никогда не переходит в качество, что многопудовая зеленая масса без дисциплинирующего вмешательства в ход своего развития не способна произвести свой венчиковый цветок – апофеоз развития – гения в политической или художественных сферах.

И потому «Нынешний прогресс не есть процесс развития: он есть процесс вторичного, смесительного упрощения, процесс разложения для тех государств, из которых он вышел или которым крепко усвоился...» – пояснял Леонтьев. И далее: «Ибо под развитием, разумеется, надо понимать не одну учёность, как думают (опять-таки по незнанию) многие, а некий весьма сложный процесс народной жизни...»

Бог (природа), сотворив фотосинтез, даёт людям жизнь и возможность понять взаимосвязи, обеспечивающие ход и смысл развития. Эта реакция есть своеобразная проекция судьбы человечества (это ли не есть история?), которая движется от сотворения Божественного мира к Страшному суду. Отсюда и эсхатологические предчувствия у Леонтьева: «правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, всё ожидающая какой-то весны...», но об этом позже, пока в «Византизме и славянстве» Леонтьев разбирает, чем обычно заканчивается прогресс.

«Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее воды свободного, ограниченно-го кристаллизацией); они сходны с явлениями, например, холерного процесса...», на котором Леонтьев показал, как человек, уравниваясь во время болезни, превращается после смерти в свободные молекулы азота, водорода, кислорода. Мы рассказали о том же процессе, взяв за образец рост растений и его увядание.

Вот так логическое вмещает в себя историческое действие, обеспечивающее развитие объективной направленности (смысла, идеи), а от нее к определенному результату. В нашем примере – зерен, продолжающих

расширенное воспроизводство живого. К.Н. Леонтьев с помощью логики поясняет значения отдельных элементов растительной (в его случае – человеческой болезни) системы в процессе развития (умирания) целого. Логика позволяет перейти к истории, как процессу, в котором присутствуют конкретные условия (факты) в неразрывной связи с сутью тех или иных явлений, переход от одних исторических стадий (периодов) к другим.

Таких периодов в развитии растений ли, культурно-исторических типов, цивилизаций, государств, всей человеческой истории у Леонтьева три: **первичная простота, цветущая сложность, вторичное смешительное упрощение**. Это свое открытие он называл «гипотезой вторичного и предсмертного смешения» или «гипотезой триединого процесса». В «Византизме и славянстве» Леонтьев объясняет это на примерах развития пневмонии, а в историческом плане на примерах развития государств, империй, культур с древнейших времен до XIX века.

По Леонтьеву – «Развитие государств сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается расстройством этой формы, большей общностью с окружающим», а форма, как он раньше отметил – есть «деспотизм внутренней идеи». И потому: «Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменная до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частности, от начала до конца. Вырабатывается она не вдруг и не сознательно сначала; не вдруг понятна; она выясняется лишь хорошо в ту среднюю эпоху наибольшей сложности и высшего единства, за которой постоянно следует, рано или поздно, частная порча этой формы и затем разложение и смерть».

Христианские философы – Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Василий Зеньковский, Николай Бердяев, Сергей Франк осудили «гипотезу триединого процесса» как несоответствующую христианству. В том, что христианство не приемлет органического развития, можно усомниться, вспомнив, что Иисус Христос, объясняя ученикам истоки своего будущего прославления как сына Божьего, сравнивал себя с пшеничным зерном. Уже это говорит о растительной основе развития, признаваемой Христом, объясняющим, что если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет – принесет много плодов. Аналогия проста и прозрачна: для получения новых плодов растение должно дать росток, затем созреть и умереть, то есть пройти все те три стадии, о которых говорит Леонтьев.

4

Определив решающее влияние Византии на становление русского православия и государственности, Леонтьев с этих позиций разобрался и с ролью славянства в политике России, определил, почему либеральный прогресс есть антитеза развитию, и раскрыл причины наступления на Западе периода «вторичного смешения».

Много в рассуждениях Константина Леонтьева такого, что тотчас поражает сознание и запоминается на долгие-долгие годы. Например, такой, можно сказать, совет: «Поменьше так называемых прав, поменьше мнимого блага. Вот в чём дело! Тем более что права-то, в сущности, дают очень мало субъективного блага, т. е. того, что в самом деле приятно. Это один мираж!»

Мы оставим мудрые афоризмы за рамками статьи. Всего не перескажешь! И сформулируем некоторые выводы.

Первый вывод, думается, годен на все времена: «Культуры же, соединенные с государством, большей частью переживают их». Говоря о Византии, Леонтьев отмечает: «Как государство Византия провела, однако, всю жизнь лишь в оборонительном положении. Как цивилизация, как религиозная культура она царила долго повсюду и приобретала целые новые миры, Россию и других славян». В другом случае Леонтьев говорит о национальной культуре: «Она, как продукт, принадлежит государству; как пища, как достояние, она принадлежит всему миру». Эта мысль служит продолжением взглядов Гегеля, говорившего, что формы государственной организации не передаваемы по цепи исторического развития, но «совершенно иначе обстоит дело по отношению к науке и искусству».

Приступив к своей любимой теме – культуре и, соответственно, эстетике с обсуждения своеобразия культуры Византии как частного случая, Леонтьев в «Византизме и славянстве» переходит к разговору о культуре мирового значения. И он почти всегда вместо термина «культурно-исторический тип», введенного в научный оборот Данилевским, использует слова «цивилизация» и «культура». «В письмах о восточных делах» Леонтьев дает такое определение культуре: «Под словом *культура* я понимаю вовсе не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и т. п., а лишь цивилизацию свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию. Под словом “своеобразная мировая культура” я разумею: *целую свою собственную систему отвлеченных идей религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических*».

У Леонтьева, «культура – не какая попало цивилизация», то есть культура важнее и полнее по смыслу, чем цивилизация. Культура – это образ жизни народа (ценности, обряды, вера, менталитет, обычаи, умения) – совокупность всех достижений духовной и производственно-деловой жизни народа на всем пути исторического развития. Цивилизация более узкое понятие – это та заключительная стадия национальной культуры, что вышла на мировой уровень на определенном историческом этапе. В XIX веке термин «цивилизация» часто применялся в качестве характеристики капитализма, приравненного к высшей ступени прогресса, с чем Леонтьев согласиться никак не мог, потому и различал эти понятия. Цивилизация может клониться к упадку, тогда как культура народа может развиваться. Например, цивилизация Византии пала под ударами османов, но культура ее продолжала жить и живёт до сих пор. Религиозная составляющая византийской культуры послужила фундаментом для русского православия и развития государственности. Часть византийской культуры перенял романо-германский исторический тип, дав толчок Ренессансу.

В более краткой и афористичной форме Леонтьев констатирует: «Ибо культура есть своеобразие; а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций». В личной сноске в «Византизме и славянстве» он с задором отмечает, что «китаец и турок поэтому, конечно, культурнее бельгийца и швейцарца!». Да, пусть не обижаются бельгийцы и швейцарцы, так как, безусловно, у них нет той суммы «отвлеченных идей», о которых говорит Леонтьев. В этом утверждении его мысли перекликаются с воззрениями Тютчева, писавшего

об индивидуализме западного обывателя как начале отрицания всего и вся: власти, Бога, культуры. Позднее (1880 г.) Леонтьев дополнил понятие культуры, которое стало звучать так: «Ибо культура не в *массе знаний*, а в живом *своеобразном освещении* этого умственного хаоса». Афористичность этого определения и глубина подхода заслуживает начертания его на скрижалях истории или хотя бы на зданиях дворцов культуры.

В «Византизме и славянстве» Леонтьев раскрывает уникальность «начал» культуры каждого народа, и в частности русской культуры. Первой работой на эту тему у Леонтьева была статья «Грамотность и народность». Взгляды Леонтьева, отметим сразу, на русскую культуру менялись с течением времени. После «Византизма и славянства» он всё больше говорит о влиянии западных заимствований на русскую культуру, а в статьях последних лет («Кто правее?») с трудом и тревогой улавливает национальную самобытность русской культуры, как «основу и руководящее начало».

Второй его вывод – о силе Российской империи. «Надо крепить себя, меньше думать *о благе* и больше *о силе*. Будет сила, будет и кой-какое благо, возможное».

Леонтьев первым из философов поставил вопрос **государственной силы** не только с политической точки зрения, но и с философской. Через собственные политические переживания, через собственный дипломатический опыт, через эстетику он пришел к такому своеобразно-мистическому определению государства. «Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинаясь некоему таинственному, не зависящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей, как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма».

Кто только сейчас не говорит о человеке как о винтике в государственном механизме, и особенно либералы, которым не нужно сильное государство, умеющее затянуть винты до требуемого рабочего состояния. Либералам нужно лишь «счастье», которое впервые на государственном уровне прописано в американской Декларации независимости, им нужен комфорт, пусть будет «всё смутно, всё спутано, всё бледно, всего понемногу», но, чтобы желудок был полон. «Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного. Эта-то неопределенность, эта растяжимость либеральных понятий и была главной причиной их успеха в нашем поверхностном и впечатлительном обществе», – так скажет позднее Леонтьев в передовой статье газеты «Варшавский дневник» («Чем и как либерализм наш вреден?»).

Да, определение государства, данное Леонтьевым, откровенно и, даже может быть, излишне натуралистично, но таков он, Леонтьев, «законодатель и судья ценностей», если брать ницшеанское определение философа как ученого.

В «Византизме и славянстве» идея государственной силы продолжена и развита. Россия сила нужна не только для защиты своей независимости и самобытности. Если на Западе падут все частные и национальные государства и будет организована одна общая федера-

тивная республика (прообраз Европейского союза – ещё одно предвидение Леонтьева), то сила нужна будет, чтобы спасти культуру Запада: «...спасти и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь, какую бы то ни было, *Государство*, остатки поэзии, быть может... и *самую науку!*»

Вот он истинно русский, независтливый взгляд на мировую культуру, в том числе и на западную. Нет ни малейшего следа негатива и злорадства к будущему падению Европы, есть только ощущение себя культурной частицей мира, а не местечкового мещанина, которому наплевать на происходящие в мире потрясения и революции, у которого хата с краю, а в желудке счастливая сытость. Вот в чем состоит настоящая разница между общечеловеческими ценностями, правами человека и мнениями так называемого международного сообщества и гражданина культуры мира, в качестве которого всегда выступал Леонтьев. Вот в чем проявляется широта души русского человека, вот в чем состоит та самая русскость, которой отличались взгляды консервативного мыслителя Леонтьева, осуждающего варварские, бессмысленные действия английского «просвещенного» воинства, таскавшего по улицам Керчи рояль в годы Крымской войны, участником которой был Леонтьев. Он резко против серого, однообразного мещанского западного мирка, и одновременно он защищает культуру Запада от их же бескультурных жителей, хамство которых так ярко проявлялось у англичан. Вот от этого воинствующего хамства предостерегал реакционный Леонтьев любимую им Россию. Вот для чего нужна сила России: не для военного завоевания Европы, не для торжества панславизма, как пытаются (и не без успеха) уверять враги Россию, а сохранения культуры, которая может пасть с наступлением эвдемонического и эгалитарного прогресса, нацизма, напозающего, словно навозная жижа, с Запада. Ведь падение и гниение Европы Леонтьев рассматривал прежде всего как культурное и национальное разрушение под действием мещанских и либеральных псевдоценностей.

И, чтобы сохранить культуру, нужна государственная сила: «...ибо только там много бытовой и всякой поэзии, где много государственной и общественной силы. Государственная сила – есть скрытый железный остов, на котором великий художник – история – лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни».

Для России, по мнению Константина Леонтьева, самым желательным было бы такое устройство: «Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно, вообще сурово, иногда и до свирепости; церковь должна быть независимее нынешней, иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее; быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада единстве; законы, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее — одно уравновесить другое; наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе».

Третий вывод касался этапов развития государств и их падений. «Всё вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом ещё более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую “Нирвану”». Наши примеры «реакции жизни» (фотосинтеза) ясно показали этот путь.

«Тому же закону подчинены и государственные организмы и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного

упрощения», – так констатирует Леонтьев, определяя три стадии: зарождения, роста и гибели государств.

То же самое, но спустя 50 лет, будет утверждать англичанин А. Тойнби в своем «Исследовании истории», которое он создавал на протяжении практически всей своей жизни. Но ни одно, даже русскоязычное справочно-энциклопедическое издание, не сообщает о влиянии на Тойнби русского мыслителя К.Н. Леонтьева. Все они отдают эту честь О. Шпенглеру, также перенявшему у Леонтьева и Данилевского все их историософские воззрения. Забвение идей русских первопроходцев почти в любых областях человеческих знаний – родовое пятно русской истории, и этот факт тоже результат бездумного поклонения Западу.

Четвертый вывод исходит из предыдущих рассуждений: коль скоро мы заговорили о стадиях жизни государств, то в самую пору определить возможные сроки их жизни.

Леонтьев скрупулезно высчитывает, сколько жили царства македонское, египетское, иудейское, мидо-персидское, римское, византийское. Исключив Китай и Древний Египет как отдельно стоящие культурные и исторические миры, Леонтьев приходит к выводу: «ни одно государство больше 12 веков жить не может». Обращаясь к истории современных европейских государств, Леонтьев спрашивает, беря за точку отсчета 1000-летие: «Что же сделали над собой европейские государства, переступая за роковое 1000-летие?» И отвечает: «С конца XVIII века и в начале нашего на материк Европы вторглись ложно понятые тогда англосаксонские конституционные идеи». Они и помогают европейским государствам жить более 1200 лет? Но вот в каком состоянии!

Наконец, **пятый**, самый решительный и смелый вывод. По утверждению Леонтьева, с принятием конституции и введением демократических порядков в государстве начинается процесс вторичного смешения и упрощения, которые суть признаки, а не причины государственного разложения. «Причину же основную надо, вероятнее всего искать в психологии человеческой. Человек ненасытен, если ему дать свободу». И, благодаря разлитию рационализма в общественных массах, распространению претензий на свободу, равенство, братство и счастье, у человека происходит возбуждение разрушительных страстей: зависти, корысти, жажды жены ближнего своего, гордыни, отрицание Бога, неуважение к старшим и к родителям, мужеложства, скотоложства. Положение русского безграмотного, но богомольного и послушного крестьянина обеспечивает более полную близость к реальной житейской правде, чем рациональных либералов, «глупо верующих», что «все люди будут когда-то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны».

Леонтьев предсказывает, что за мирным смешением сословий, прав, свобод следует затем расстройство дисциплины и необузданность желаний, что однообразие прав и сходство воспитания антагонизмов не уничтожит, так как потребности и претензии станут похожими. И потому страданий человеческого меньше не станет, они станут другого рода (тщеславного, так сказать), которые чувствуются глубже и больше.

Под конец любой государственности с усилением равенства политического усилится неравенство экономическое, а оно верная причина **войн и других социальных потрясений**, и это – **шестой** его вывод. И для истории, и для человечества это самый главный итог. Вот только человечество никак не хочет в этом признаваться. Ладно бы один человек ошибся, а тут всё «прогрессивное человечество» идет по собственной воле на гибель, упорно называя этот путь единственно правильным.

Свой вклад в развитие исторической теории Леонтьев оценит позднее в письме своему другу Александрову следующим образом: «Про Данилевского можно сказать, что он сделал великий шаг указанием на эти культурные типы. Можно ведь и так его теорию обернуть: существование разных культурных типов есть признак жизненности человечества; невозможность создать новый; смещение всех в один средний — есть признак приближения человечества к смерти.

Данилевскому принадлежит честь открытия культурных типов. Мне — гипотеза вторичного и предсмертного смешения».

Пусть-ка её опровергнут! Что-то не суются... И опровергнуть было бы тоже для науки полезно».

Ниспровергателей действительно до сих пор нет, есть только последователи, такие, как Шпенглер и Тойнби, но и их мало кто слушает.

5

Не пора ли гипотезу Константина Леонтьева о «триедином процессе развития» считать теорией, получившей достаточно доказательств в последнее время? Вот, к примеру, мнение нобелевского лауреата, бельгийского биохимика Кристиана де Дюва: «Именно мы, люди, виноваты в том, что происходит. В погоне за улучшением условий жизни мы создали такую ситуацию, когда наше будущее находится под угрозой».

Да, почти по всем вопросам, мучающим нас в XXI веке, можно найти ответы в публицистических статьях К. Леонтьева. Уже в январе 1991 года в Калуге состоялась научно-философская и литературно-публицистическая конференция, приуроченная к 160-летию со дня рождения Константина Леонтьева. Тон глубокому обсуждению наследия Леонтьева задала группа студентов философского факультета Московского университета. Леонтьев оказался нужен и интересен молодому российскому гражданину и личной судьбой, и сбывающимися пророчествами, и оригинальными приемами философствования.

Он стал интересен тем российским читателям, что стремятся понять изломанную судьбу России, оценить и представить её будущее, судьбу русской культуры и противоречия либерально-демократических свобод. Он интересен тем, кто связывает себя с цельной и неделимой историей России и её знаменитыми, яркими личностями: Александром Невским, Сергием Радонежским, протопопом Аввакумом, Михаилом Ломоносовым, Александром Пушкиным, Сергеем Есениным, Валентином Распутиным и многими другими.

Толкнулась русская душа к Леонтьеву, почуяла правду в его мыслях и словах. С начала 90-х годов XX столетия годы вышли и выходят до сих пор десятки книг Константина Леонтьева многотысячными тиражами: «Записки отшельника» (1992 г.), «Избранные письма» (1993 г.), «Восток, Россия и славянство» (1996 и 2007 гг.), Полное собрание сочинений и писем в 12 томах (2000–2020 гг.), «Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты. 1865–1872» (2003 г.), «К.Н. Леонтьев: Pro et contra» (1995 г.) в 2-х томах и многие другие.

150 лет назад Леонтьев первым поплыл против течения общественной мысли, утверждавшей, что свобода, равенство и братство принесут человеку счастье. И где оно? — спросим мы подобно Леонтьеву. Ответ оставим каждому, кто прочтет его статьи и художественные произведения.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского.

Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

«БОЖИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК» ПАВЛУША

200 лет со дня рождения П.И. Якушкина

Павел Иванович Якушкин (1822–1872) – учёный-фольклорист, прославленный собиратель устного народного творчества, самобытный русский человек оставил заметный след в истории отечественной культуры, в воспоминаниях современников. Н.А. Некрасов в своей поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо» запечатлел Павла Якушкина в образе Павлуши Веретенникова:

Да был тут человек,
Павлуша Веретенников
(Какого роду-звания,
Не знали мужики,
Однако звали «барином».
<...>)
Беседует с крестьянами,
Крестьяне открываются
Миляге по душе:
Похвалит Павел песенку –
Пять раз споют, записывай!
Понравится пословица –
Пословицу пиши!

Яркая, колоритная личность фольклориста не могла не увлечь и «самобытнейшего писателя русского» Н.С. Лескова (1831–1895), который создал очерк «Товарищеские воспоминания о П.И. Якушкине» (1884). Оба они – известный собиратель фольклора и знаменитый литератор – были «земляками в тесном смысле»: «оба мы родились в Орловской губернии, даже в смежных уездах – он в Малоархангельском, а я в Орловском» – отмечал Лесков. Писатель одобрял демократическую позицию Якушкина, с большим вниманием относился к его деятельности. Сам Лесков, по его признанию, знавший народ «с детства и без всяких натуг и стараний», выступал не только как беллетрист, но и как тонкий фольклорист, и даже как собиратель фольклора, этнограф. Например, «крестьянский роман» «Житие одной бабы (Из гостомельских воспоминаний)» (1863) целиком построен на народно-песенном репертуаре Кромского уезда Орловской губернии, родной писателю деревушки Гостомли.

Таким образом, в какой-то степени совпадали предмет изображения и интересы обоих писателей. Но самое главное, что привлекало Лескова в его земляке, – это неординарность, «изюминка», «натура», в которую, как утверждал писатель, «можно верить больше, чем в напавления». Известно, что он не мог терпеть и почти не изображал людей неярких, обычных, «безнатурных». Знаменательно, что Павел Якушкин стал не только героем лесковского очерка воспоминаний, но и послужил прототипом Василия Богословского – центральной фигуры первого крупного художественного произведения «Овцебык» (1862), в котором Лесков выразил своё понимание национального характера: «русский человек <...> принимает всё <...> горячо, с аффектацией и с пересолом».

Впервые «Сочинения» П.И. Якушкина вышли в свет в 1884 году – уже после его смерти. Именно в этой книге был помещен биографический очерк о собирателе фольклора, принадлежащий перу писателя и этнографа С.В. Максимова, и «Товарищеские воспоминания» одиннадцати литераторов – людей, близко знавших Якушкина, в числе которых находился и Лесков. По отзыву многих современников, лесковские «воспоминания» представлены наиболее содержательно и талантливо, передают своеобразие личности Якушкина с наибольшей полнотой: «Это как бы законченный художественный очерк, картинка с натуры, нарисованная с обычной г. Лескову талантливостью» (Н.В. Шелгунов). В жанровом отношении это произведение представляет собой интереснейший сплав публицистического очерка, рассказа, сказки, жития. Лесков в своих воспоминаниях стремился передать индивидуальное своеобразие личности симпатичного ему человека.

Писатель неоднократно высказывался относительно фактографичности своего творчества, опирающегося на жизненный материал. Образы Василия Богословского («Овцебык») и самого Якушкина («Товарищеские воспоминания о П.И. Якушкине») связаны внешне и внутренне. Так, портрет Богословского списан с натуры и передаёт отличительную примету внешности Якушкина, у которого первое, что бросалось в глаза, были «вихры», или «лохмы», придававшие ему вид «дикобраза». Богословский же был обязан своим странным прозвищем длинным косицам, которые он закручивал на висках, так что они напоминали рога овцебыка: «я и не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей чернозёмной полосы», – замечает автор-повествователь. Итак, перед читателем экзотическое

существо – «овцебык», «дикобраз», «странный зверь», живописная и несуразная фигура.

К тому времени, когда появилась лесковская повесть, читательской публике уже был известен роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» и его главный герой Евгений Базаров, чей облик – «длинный балахон с кистями», «обнажённая красная рука», «волосы, длинные и густые» – стал устойчивым знаком «неблагоденности», «стиля» радикалов. У «чистой» публики возбуждали негодование «красные» натруженные руки, длинные (или короткие – у женщин) волосы, неучтивое, вызывающее поведение и множество других шокирующих черт.

В «Товарищеских воспоминаниях» Лесков пишет, что «дворянские чистоплюи» «скоро стали указывать на неряшливый костюм Якушкина и на беспорядочность его безалабернейшей жизни». Внешний облик героя очерка был призван подчеркнуть его «направление к простонародности». Ещё во время учёбы в орловской гимназии учитель-немец Функендорф – настоящий монстр, по воспоминаниям Лескова в его «Автобиографической заметке» (1885), – прозвал Якушкина «мужицка чучелка». Простонародный костюм «бродяги-литератора»: кумачовая рубаха, опоясанная верёвочкой, поддёвка, сапоги – вошёл в историю литературы в некрасовской поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддёвочку суконную,
Смазные сапоги;
Пел складно песни русские
И слушать их любил.

Важно отметить, что одежда Якушкина не была маскарадным переодеванием, а соответствовала роду его деятельности, образу жизни, стилю, характеру. К примеру, известно, что профессор Московского университета И.М. Снегирёв записывал фольклор в вицмундирном фраке. Якушкин же хотел приблизиться к мужику, пробить стену недоверия между интеллигенцией и народом. Сам он, полуплебей-полудворянин по происхождению, сын мелкого помещика, женившегося на крепостной, возможно, решил выступить связующим звеном, *мостиком* над пропастью, разделяющей высший и низший социальные слои русского общества. Таким образом, даже в необычной внешности собирателя проявились и своеобразие его личности, и особенности социальной позиции.

С.В. Максимов в очерке о Якушкине писал: «В городе, не терпевшем тогда никакого разнообразия и отступления даже в архитектуре зданий и придумавшем форменную одежду для дворников, появление поддёвки показалось явлением довольно резким. Столичный глаз привык понимать по платью только два вида людей: военных и статских». В формализованной донельзя России мужицкую одежду Якушкина (в которой он, например, позволял себе появляться в первом ряду кресел столичных театров) одни воспринимали как вызов, свободомыслие, другие – как своеобразный призыв к восстановлению самобытности личности. «Этот необычный для своего времени “губернский секретарь” не обратился, как подобало, сначала в титулярного, а затем и в более основательного советника», – замечал о Якушкине поэт Н.С. Курочкин. По его мнению, главная заслуга людей, подобных Якушкину,

в том, что они явились «первыми воскресителями личности среди формально-мертвенной и обезличенной до того России».

Однако наивная попытка через внешнее приблизиться к сути народной жизни осталась нереализованной. Несмотря на то что собиратель и «ходил мужиком» – «в красной рубахе и плисовых шароварах, но носил очки, из-за которых настоящие мужики ни за что не хотели его признавать “мужиком”, а думали, что он “кто-то *ряженный*”», – справедливо замечал Лесков. В романе Тургенева народ аттестует Базарова «чем-то вроде шута горохового». «Овцебыка» также не раз именуют «шутком», «чудаком», даже «отставным комедиантом». Складывается трагикомическая ситуация, в которой герой – «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся». «Барин, но порченный... не совсем он в порядке в мыслях», – приводит народный отзыв о Якушкине Н.А. Лейкин.

Лесков передаёт рассказ самого Якушкина о том, как к тому «придрались» какие-то «фабричные ребята» и его «потолкали». «Сомнительно им показалось: мужик, а в очках ходит?! – Думали, не подослан ли с каким намерением, – сказывал Якушкин».

Фольклорист стал героем и другого курьёзного происшествия: теперь уже «на чужбине над ним судьба строила иную забавную шутку». Однажды в Париже Лесков стал свидетелем того, как бойко распродавались фотографии «вихрастого» Якушкина, «под которыми по-французски было написано “*Pougatscheff*”». Пугачёв – и в очках?! Но Лесков безуспешно пытался разубедить палерояльских торговцев. «Под обозначением “Пугачёв” фотографии Якушкина, разумеется, шли бойчее».

«Подозрительная внешность» «мужика в очках» даже послужила поводом для его ареста полицией города Пскова в августе 1859 года, после чего Якушкин стал знаменитым на всю Россию «героем дня, и им все интересовались». У полиции не нашлось никаких доказательств «подрывной деятельности» собирателя, и он вскоре был отпущен на свободу. По отзыву Н.С. Курочкина, этому «обыденному происшествию» в тот период общественного подъёма, накануне ожидаемых перемен «горячая молодая публика публицистика» придала «размеры чуть не мирового значения». Псковский полицмейстер Гемпель даже вынужден был объясняться. Имя Якушкина стало в те годы почти легендарным. Н.С. Курочкин вспоминает, что даже «стали появляться различные Якушкины-самозванцы или Лже-Якушкины <...> имя Якушкина представляло собою как бы запугивающий талисман для полиции».

В действительности Якушкин никого не мог бы запугать или огорчить. Его незлобивость, по определению Лескова, – «доброту органическую» – некоторые склонны были относить на счёт «странного характера». «Он не только мог прощать *всё*, – *решительно всё*, – замечает о Якушкине писатель, – но он даже не мог не простить чего бы то ни было. Врагов у него не было, а понятия его об обидах были удивительные». Эту же черту Лесков сохраняет за героем повести «Овцебык»: «Меня ведь обидеть нельзя», – признаётся Василий Богословский.

Для писателя, создавшего цикл «Праведники», в этом не было ничего удивительного. Его герой живёт по евангельской заповеди «прощай обиды, не помни зла», и в этом «забулдыжка» Якушкин (как называл его «резкий, но меткий» А.Ф. Писемский) совпадает со святыми и праведниками земли русской.

Лесков представил совершенно новый и смелый взгляд на личность Якушкина. Беспечного балагура, в глазах многих – никуда не годного человека, поскольку «варварски беспощадно» обращался он и со своим здоровьем, и со своей репутацией, – оказывается, было можно и должно не только любить, но и уважать. И если поначалу читателю, возможно, и хотелось бы сохранить «дистанцию» по отношению к «безалаберному» герою, то постепенно взгляд проясняется. Писатель рассчитывает на нравственную чуткость своих читателей и всех, кому памятен Якушкин. Чтобы оценивать его, Лесков апеллирует не только к уму, но и к человеческому сердцу: «добрые и умные люди при всём этом Якушкина не только любили, но даже что-то такое в нём и уважали». Героя лесковского очерка теперь уже отличает от других не внешнее – костюм или бесшабашное поведение, а внутреннее, живущее в глубинах его «чистой, младенческой души»: «Уважали в Якушкине, я думаю, наверно, его святое, всепобеждающее незлобие, которому нельзя было указать ни границ, ни подходящего примера. Он в этом превосходил всё и всех». Неожиданно и недвусмысленно герой лесковского текста получает высокие знаки святости: «Если за это пленительное свойство души смертному может быть присуждена святость в другом мире, то покойный Павел Якушкин имеет на неё все права и даже с особенными преимуществами. Незлобие его поистине было – незлобие праведника».

В то же время Лесков рисует пример «смелого и самоотверженного великодушия», когда Якушкин спас девушку, бросившую букет цветов к месту гражданской казни Н.Г. Чернышевского. Этот эпизод подтверждается и воспоминаниями другого мемуариста – В.Н. Никитина. Великодушие, «евангельская беззаботность» о себе самом, «настоящее, прямое благородство» – черты, столь редкостные в эпоху капитализации России, – выделяет Лесков в своём очерке о Якушкине. «Не было в нём никакой деловитости, и мог он всякую какую угодно выгодную и серьёзную комбинацию обратить в самые сущие пустяки». И если, например, для П.Д. Боборыкина Якушкин – только беспечный «прожигатель жизни», то Лескову по-особому дорог герой, не поддавшийся влиянию денег, противостоящий закону личного эгоистического интереса: «По безалаберности своей и лености он часто жывал совсем без денег и крупную денежную единицу начинал считать с полтинника». Писатель удивляется этой наивности и в то же время она его трогает, умиляет. Якушкина, сумевшего сохранить ясную душу и почти детское отношение к миру, автор часто называет ласково, как ребёнка, «Павлуша».

В основе многих эпизодов повести «Овцебык» лежат реальные случаи, почти дословно воспроизведённые затем в «Товарищеских воспоминаниях». Например, история с сапогами. Если у Овцебыка они «совсем разевали рот», то он шёл ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, <...> а свои осметки оставлял вам на память». В очерке Лесков пишет, как, увидев однажды на коврике, где ночевал его гость, «пару самых отчаянных, самых невозможных отпток с совершенно рыжими голенищами и буквально без подошв», он нашёл на столе «рукописание» Якушкина: «Был у тебя и взял твои немецкие сапоги, получи за них семь рублей от Некрасова». Чтобы оценить вполне «самую странную наивность» Якушкина, надо знать, что в ту пору Лесков не был лично знаком с Некрасовым; на страницах некрасовского журнала «Современник» писателя нередко ругали, и всё же, не без удивления замечает Лесков, его приятно «казалось

естественным, чтобы я пошёл к Некрасову «“получить семь рублей”... И почему именно семь? <...> Это так и осталось, разумеется, его секретом». Поступки героя непредсказуемы, часто просто необъяснимы с точки зрения обыденного здравого смысла: «Понимать деяния Якушкина иногда бывало трудно, и от наивности его можно было ожидать соображений самых невероятных».

Якушкин в очерке и главный персонаж в повести «Овцебык», подобно многим другим любимым лесковским героям, выглядят внешне странными, чудаковатыми. Якушкин в изображении Лескова напоминает в чём-то «низкого героя» русской волшебной сказки. Он рисуется внешне неряшливым, некрасивым, от него, кажется, нечего ждать. Народ неоднократно называет Богословского «блажным». Семантика этого определения многомерна: и «блаженный», «святой», и «придурковатый». Глупость «низкого героя» в фольклоре – это только отсутствие обывательского здравого смысла, неумение устроиваться в земной жизни – то, что называется «святая простота». Но именно за неё герой и награждается в сказке. И в этом Высший Промысел, оправдание, недоступное практическому здравому смыслу.

Так, поиски Лесковым положительных типов пересекались с духовными исканиями народа, что нашло отражение в поэтике лесковских произведений, которые М. Горький образно называл «житиями святых дурачков русских».

Как известно, в народном творчестве главное содержание типа «простака» – его детскость. Черты «взрослого ребёнка», а также его «странная деликатность», «странная наивность» доминируют в образе Якушкина под пером Лескова. Писатель рассказывает, как, не имея своей квартиры в Петербурге, «Павлуша» часто заходил к нему ночевать и «сам укладывался спать всегда неизменно на одном “собачьем месте”, т. е. на подножном коврик у кровати», чем приводил хозяина в величайшее смущение. «Крайний неряха» Якушкин оправдывался тем, что не хотел огорчать горничную: чистюля-немка содержала квартиру в идеальном порядке. Причина и в другом. Якушкин привык переносить все тяготы и лишения скитальческой жизни и не хотел менять привычек. Также и по воспоминаниям С.И. Турбина, Павел Иванович расположился у него в передней на полу, «чтобы привычки не терять, не баловаться».

«Жил на свете Живулечка, как ему Господь повелел» – эти слова, которые Лесков избрал эпиграфом к «Товарищеским воспоминаниям о П.И. Якушкине», как нельзя лучше передают сокровенную суть личности героя, у которого доброта «безотчётно истекала из его натуры <...> Он мог только отдать нуждающемуся всё, что у него было, но у него у самого чаще всего ничего не было». То же читаем и о герое «Овцебыка»: «Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность в каждом из людей, с которыми сходил».

Многие современники Якушкина считали его наивность, простодушие чертами «патриархальными», связанными с прошлым: «Калика переходный он был подлинный, – писал С.В. Максимов, – со множеством ярких черт этого стародавнего русского типа»; «Всего менее можно было назвать его человеком скрытным, себе на уме. Он просто напросто сохранился таким простаком, которые попадают в глухих провинциях: очень доверчивый, очень ласковый, готов на бескорыстную послугу, побежит по первому призыву и даже деньги не считает заветными.

В Якушкине даже следовало удивляться тому, каким способом он сумел уберечь в себе это патриархальное, старомодное простодушие». Однако, хотя Лесков всегда пленялся милой «старой сказкой», с его точки зрения, всё это черты не столько прошлого, сколько будущего, заповеданного в евангельских идеалах совершенства человека.

Отрицая выдуманные условности и буржуазные приличия, Якушкин старался видеть в людях именно их человеческую суть, относиться к ним, как заповедано Христом, по-братски. «Этот совсем непрacticный человек, – вспоминал Н.С. Курочкин, – не умевший за всю свою жизнь свить себе даже собственного гнезда <...> сумел самым блистательным образом разрешить трудную задачу отношений к другим людям. Обращаясь прямо по-братски ко всем, с кем он вступал в близкие отношения, он в ответ встречал то же братское радушие». С изумлением вспоминая, с какой быстротой росли знакомства только что прибывшего в Петербург Якушкина, С.В. Максимов называл его «успешным миссионером».

Это выражение представляется очень удачным. Действительно, в бездушно-казённой столице Якушкин выступил с миссией человечности и доброты. Он со всеми умел сохранять дружественные отношения и даже пытался выступить посредником между враждующими лагерями, примирить непримиримые стороны в накалённой социально-политической атмосфере конца пятидесятых – начала шестидесятых годов XIX века. В своём очерке Лесков пишет о «великом расколе», «литературной распре»: «из одного лагеря, с одним общим направлением к добру, – образовались две партии: “постепеновцев” и “нетерпеливцев”». Якушкин как будто ничего не понимал в этом разладе и не прерывал своих отношений с товарищами из постепеновцев и нетерпеливцев. <...> Я тогда остался с постепеновцами, умеренность которых мне казалась более надёжною».

Вспоминая все эти события двадцатилетней давности, Лесков всё ещё не мог освободиться от чувства горечи из-за несправедливых гонений и нападков на него в те годы. И, думается, неслучайно в конце повести «Овцебык» появляется запись: «Париж. 28 ноября 1862 года» – может быть, и не вполне точная, по замечанию сына писателя. Ни до, ни после этой повести у Лескова не было привычки с точностью датировать свои произведения. Но здесь, видимо, он придаёт датировке особое значение.

В начале 1860-х годов отлучённый от литературы радикальной критикой за статью о петербургских пожарах, Лесков (псевдоним: Стебницкий) стал мишенью для насмешек и издевательств. Например, сатирический журнал «Оса» подавал следующие «советы редакторам и литераторам»: «Г-ну Стебницкому. Оставить писание романов, наводящих уныние и сон, заняться изучением брандмейстерского искусства и писать статьи об одних пожарах». «Бойкий публицист обеих столиц на глазах превратился в “погорелого литератора”». Затравленный, «распятый живо» Лесков вынужден был бежать за границу. Здесь ему хотелось объективно разобраться в событиях, пережитых на родине, – всё это и скрывается за указанием времени и места создания повести «Овцебык». И через двадцать с лишним лет – уже в «Товарищеских воспоминаниях о П.И. Якушкине» – прочитываются незабытые обиды Лескова: «я был порицаем много», «взял <...> книжку “Современника”, где я был на тот случай образцово обруган с обычными намёками и подозрениями».

Якушкин, который в то время тесно сотрудничал с «Современником», не разорвал прежние связи с друзьями из другого идейного лагеря и, наоборот, хотел соединить людей в их «общем направлении к добру». С Лесковым он сохранял самые благожелательные отношения и даже пытался оградить его от резких и несправедливых выпадов революционно-демократической критики. Интересна эта попытка заступничества за Лескова: «– Знаешь, я сейчас пойду к Некрасову и скажу, что это свинство. Он говорит о тебе хорошо, а позволяет писать совсем скверно. Я их за тебя сам обругаю.

Я, разумеется, просил его ничего в этом роде не предпринимать».

Определяя общую тональность лесковского очерка о Якушкине, американский учёный-славист Хью Маклейн – автор обширной монографии «Николай Лесков. Человек и его творчество» (Гарвард, 1977) – назвал этот тон «тёплым, хотя и покровительственным», с оттенком снисходительности. На первый взгляд основания для такой оценки есть. В воспоминаниях о Якушкине Лесков не раз называет своего простодушного приятеля «ребёнком, требовавшим няньки». Писатель не скрывает своего невысокого мнения об уме этого «взрослого ребёнка»: «Судил он всегда очень честно, но иногда не толково, а в поступках других людей часто был лишён способности различать между добром и злом и ни в каких мало-мальски сложных делах для совета вовсе не годился». Однако писателю дорого в Якушкине то, что «доброта у него преобладала над умом».

В финале воспоминаний появляются, на первый взгляд, неожиданно образы древних философов и мудрецов: «Сократ и Антисфен, с которыми ставить на одну ногу нашего “Божьего человечка” даже неловко». Но Лесков сразу же устраняет мнимую неловкость напоминанием об универсальной истине относительно судьбы «пророков в своем отечестве». Цель лесковских «Товарищеских воспоминаний о П.И. Якушкине» – вызвать доверие и расположение к своему «*праздношатающемуся*», «с странною наружностью» герою, который «многим не нравился» только потому, что старался сохранять в себе человека и искал того же в других. «Новый Диоген!» – так называют и Василия Богословского в повести «Овцебык»: «всё людей евангельских ищет».

Однако для казённо-обезличенного общества с его жёсткой регламентацией такой колоритный человек казался «непереносным»: «Пренебрегать приличиями и внешнею добропорядочностью в наш век не удобнее, чем в век Антисфена и Диогена». И если даже Сократ подвергался гонениям своих современников, «которые видели досадительные неудобства в сожительстве с таким человеком и решились его сбить с рук, и сбыли», то тем более «надо простить и извинить суровость, проявленную к Якушкину», – горько иронизирует Лесков.

С глубочайшей болью рассказывает писатель о ссылке своего приятеля: «Увезли Павла Ивановича из Петербурга в ссылку в Орёл, а потом в Астрахань без меня. <...> Эту олицетворенную простоту, этого ребёнка, требовавшего няньки, везли с жандармом»; «Как могло жить под надзором полиции это доброе, доверчивое и наивное дитя <...> – это трудно, да и мучительно себе представить». Выразительный социально-психологический контраст: «ребёнок» и «жандарм», «дитя» «под надзором полиции» – говорит не о нелепости «взрослого ребёнка», воплотившего в себе евангельское «Будьте как дети», но о неразумии и несовершенстве системы социальных отношений.

Хотя Лесков говорит, что «политика Якушкина занимала очень мало», нельзя обвинять писателя в сглаживании социальной остроты, как это делали ранее. Несмотря на свое милое простодушие, Якушкин в воспоминаниях Лескова не выглядит «Памвой безгневным» из лесковского рождественского рассказа «Запечатленный Ангел» (1873): «согруби ему – он благословит, прибей его – он в землю поклонится». «Павел Иванович, – замечал Лесков, – хотя и был смирен и незлобив до крайности, но не боялся ни сумы, ни тюрьмы и <...> «не гнул головы ни перед кем». Мужик, по недоразумению, мог его потолкать, но на светлейшего Суворова <князь, при котором Якушкин был выслан из Петербурга. – А. Н.-С.> он, пожалуй, мог и сам вытаращиться и даже прикрикнуть». Социальные симпатии и антипатии Якушкина здесь вполне различимы.

«Чудакам» и «праведникам» необходимо было обладать редким мужеством, чтобы исполнять свой гражданский и нравственный долг. С.В. Максимов, близко знавший Якушкина, выделял именно это его качество – «высказывать правду в глаза, забывая о щекотливости самолюбий, не памятуя о том, что <...> возможно мщение по размеру силы и влияния лица, выслушавшего эту голую правду. Привычку эту <...> мы называли в шутку юродством, запоздавшим ровно на триста лет». По Лескову же, «юроди-вые», «блаженные», «святые дурачки русские» и есть олицетворение Божеского начала в человеке, необходимого во все времена. Изображая в Павле Якушкине и Василии Богословском не абстрактное беззлобие, а прямоту, честность, обострённое нравственное чувство, нежелание ни при каких обстоятельствах не идти на сделку с совестью, Лесков выделил черты героической природы.

У Богословского нет уверенности в правильности избранного пути: «О, когда б я знал, что с этим можно сделать!.. Я на ощупь иду». «На ощупь» шёл и Якушкин, впервые прокладывая пути в народ. «Путь был тёмный, – метафорически определял это направление С.В. Максимов, – приключений бездна, и жёрдочка тонка, и речка глубока, опасность на ней велика... Выход Якушкина, надо помнить, был новый – никто до него таких путей не прокладывал. Приёмам учиться было негде; никто ещё не дерзал на такие смелые шаги <...> – встречи глаз на глаз с народом. По духу того времени затею Якушкина можно было считать положительным безумием». Разумеется, это не «безумие», а величайший энтузиазм, безоглядная увлечённость идеей служения народу, для которой требовался настоящий подвиг самоотречения. Испытывая постоянные полицейские преследования (из десяти походов только один обошёлся без них), терпя бытовые лишения, собиратель фольклора сознательно обрёл себя на бродяжническую, странническую жизнь.

Лескову были хорошо известны «злострадания» Якушкина на его подвижническом поприще. Собираясь в служебную поездку по заданию Министерства народного просвещения, Лесков просил у министра А.В. Головнина «вид», гарантирующий путешественника «от подозрительности должностных лиц», способный защитить его «от неприятных случайностей, встреченных, например, гг. Якушкиным и Рыбниковым <...>. При общей склонности видеть в каждом путешественнике, интересующемся народными делами, человека опасного, политического агитатора, такая бумага делается необходимою даже для человека, далёкого от мысли об агитации».

Действительно, в правительственных кругах считали, что «Якушкин есть тайный агент “красных”, посланный волновать народ, а что

собрание глупых народных песней, которые поют пьяные, есть только предлог». Было издано распоряжение министра внутренних дел, согласно которому редакторы газет и журналов не имели права направлять в народ собирателей устного творчества, а сами фольклористы по прибытии на место обязаны были заявлять о себе полиции. Однако и в этих условиях Якушкин выискивал возможность продолжать свою работу. Энтузиаст-фольклорист понимал народное творчество очень широко: он не только записывал устные произведения, но изучал жизнь и быт народа, глубоко входил в его нужды. Якушкин резко осуждал поверхностных, как он говорил «галантерейных», исследователей народной жизни, в сущности, ничего о ней не знавших. Один из его современников, А.С. Гациский, вспоминал: «В остроумных насмешках Якушкина просвечивала, однако, серьёзная мысль о том, как много у нас исследуют народную жизнь, не выдавши вовсе её; о том, что принимаются за эти исследования джентльмены в белых перчатках, которые подходят к ней, воротя нос, и в конце концов далеки от неё по-прежнему, по-прежнему видят в ней то, что им хочется, а не то, что существует в действительности».

Этот взгляд полностью отвечает позиции Лескова, который, говоря в «Автобиографической заметке» о своей близости с народом, утверждал: «публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудируя её, а живучи ею». Устами героя «Овцебыка» писатель даёт собственную оценку (совпадающую с точкой зрения Якушкина) тех, кто «сочиняет» о народной жизни, сидя в уютных кабинетах. Это грешники – лжецы и лицемеры: «О, горе сим мытарям и фарисеям! <...> Болты болтают а сами ничего не знают. <...> Таким разве поверят! <...> Душу свою клади, да так, чтобы видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй». Сам герой, безусловно, готов отдать всего себя на служение ближнему.

«Новые люди» – герои романа Н.Г. Чернышевского «Что делать» – знали, «что делать» и куда идти. Судьбы героев Лескова обрываются тупиком, многозначительно поименованным словом-символом «некуда» уже в начале творчества писателя – в повести «Овцебык», а затем и в романе «Некуда» (1864), где трагическое слово-образ оказалось вынесенным в заглавие. Поиски своей дороги в ситуации, когда «некуда идти», естественно, были сопряжены и с заблуждениями, и с мучительными сомнениями, и с ошибками. «Моё, вижу, всё ни к чёрту не годится, – признаёт Василий Богословский. – Недаром вы каким-то звериным именем меня называли. Никто меня не признаёт своим, и я сам ни в ком своего не признал».

Горько и трагично положение непонятого, осмеянного «агитатора». Как и многие демократы-шестидесятники, Якушкин идеализировал народ, уповал на его «естественную мудрость». Однако сам Лесков вовсе не был склонен возводить мужика на пьедестал. Полемически по отношению к позиции Якушкина освещается эпизод воспоминаний – случай «в философском или учительном роде». Так же, как Достоевский направлял обитателей гостиных поучиться жизни у «куфельного мужика» в очерке Лескова «О куфельном мужике и проч.» (1886), так «народолюбец» Якушкин призывал всех и каждого «учиться смыслу» у бывшего крепостного, орловского крестьянина Матвея Зайцева. «Мой бедный Матвей запил и удавился в Киеве, никому не разъяснив того

народного смысла, который в нём провидел своим оком П.И. Якушкин», – с горькой иронией заключает Лесков.

Некоторые черты отличают Василия Богословского от его прототипа. По замечанию Хью Маклейна, «жизнь обеспечила Лескова идеальным экземпляром» для его героя, однако какие-то изменения в образ необходимо было внести: «экземпляр» должен был быть более «типическим», менее «особенным», чем Якушкин – «полудворянин» по происхождению. Василий Богословский – сын сельского священника. Именно поэтому источники образа можно искать не только в лице Якушкина, но и Чернышевского, Добролюбова, Помяловского, Решетникова, Успенских. Кроме того, заслуживает внимания предположение американского учёного о том, что по своим религиозным устремлениям «Богословский скорее походит на отца Лескова, чем на Якушкина. Семён Лесков читал Евангелие и греческих и римских классиков, с презрением отклоняя современную литературу, включая популистские истории в радикальных журналах».

В «Товарищеских воспоминаниях» ничего не сказано о религиозности Якушкина. По-видимому, единственным божеством, которому он поклонялся, как и многие демократы тех лет, был народ. В его сочинениях упоминания о Боге встречаются в основном как форма народной этикетности: «Я сошёл с большой дороги и подошёл к одному пахарю: – Помогай Бог!»

Герой Лескова Василий Богословский, подобно отцу самого писателя, окончил духовную семинарию. Хотя он и отказался от поприща священника, но не сделался атеистом и нигилистом. Знаменательно, что в конце жизни Богословский сожалеет, что не стал священнослужителем, к авторитетному слову которого народ привык прислушиваться: «Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель – народу шут, себе поношение, идее – пагубник». Герой в самом себе ощущает горение проповеднического дара. В своём служении он мог бы быть похожим на «неуёмного» протопопа Савелия Туберозова в романе-хронике Лескова «Соборяне» (1872). Богословский постоянно размышляет о Боге, о тайнах бытия, толкует Писание, хочет найти разрешения «вечных вопросов»: «чем Сезам отпереть». Разгадку он ищет повсюду: и в сочинениях Платона, и в православном монастыре, и у раскольников. Но последние, с их формализмом и «буквоедством», «только морочат головы своим секретничаньем», хотя тоже не знают заветного слова «Сезам, отворись».

Тем более не приближает к разгадке смысла бытия любовь земная. Женщин Овцебык сторонится. Иногда его заявления походят на женоненавистничество: «что мне до бабы, что мне до любви! Что мне до всех баб на свете!» Итальянский славист Пьеро Каццола считает героя «пуританином, который никогда не любил женщин». Но всё же Богословскому не чужды нежные чувства, сердечные влечения. Этот «пуританин» не забывает, что в раскольничьей среде у него осталась «будто жена» и незадолго до гибели просит переслать ей деньги «на случай, если дитя родилось». Полна сокровенного психологического смысла и следующая художественная деталь: «платок с красною меткою», обнаруженный в сундучке героя после его смерти. Красавица Настасья Петровна, жена хозяина, когда-то перевязала Овцебыку раненую руку, и оказалось, что он бережно хранил этот окровавленный носовой платок как знак сочувственного внимания небезразличной ему женщины.

Нельзя согласиться с Хью Маклейном, который видит причину трагедии Овцебыка в его непрактичности и нереалистичности. Главному герою повести исследователь противопоставляет со знаком «плюс» коммерсанта Александра Ивановича Свиридова, вышедшего из народной среды, который якобы «знает, куда идти. <...> Богословский же может иметь характерный знак святости, но он бесполезен в реальном мире». Такая трактовка по-американски не может быть признана справедливой для характеристики лесковских героев-праведников, наделённых национально русским самосознанием. Как и героям Достоевского, которым «не надобно миллионов, главное – мысль разрешить», Богословскому важно разрешить вечный вопрос о смысле бытия, на который, конечно, никогда не ответят «мужи кармана» типа «Александров Ивановичей», устремлённых только «к земной пище» и даже не помышляющих о высшем назначении человека. Убедившись в том, что «некуда идти. Везде всё одно. Через Александров Ивановичей не переключишь», Василий Богословский кончает жизнь самоубийством.

Тупик этого «некуда» может быть истолкован с духовно-аналитических позиций, и именно этот подход многое проясняет в пресловутой непредсказуемости русской натуры. В Овцебыке-Богословском жертвенность как национальная черта раздваивается: «жертвенность “за идею”, становящуюся кумиром, и служение Истине Христовой неизбежно приходят в противоречие <...> “разлом” между упорно тлеющей в нём верой и идеями приводит к трагедии. Разверзается пропасть между духовным служением и насущным “прислуживанием”»¹. Это противоречие наглядно сказалось уже в поэтике двойного имени главного действующего лица повести: «Богословский» – служитель слова Божьего; «Овцебык» – зоологическая семантика этого прозвища снижает высокий ореол истинного духовного призвания героя.

Рассказчику в повести «нестерпимо жаль» его «страдающего приятеля». Однако Овцебык для него – «чудак», «рыцарь печального образа», Дон Кихот, самоотверженный, но вступивший на безумный путь. Выход из тупика и подстерегающей героя трагедии был намечен в лирическом отступлении автора – одном из самых поэтических фрагментов художественного мира, созданного Лесковым, – в описании впечатлений от его собственных первых опытов православного благочестия, по-детски чистой, не замутнённой разьедающим скепсисом веры, общения с монастырским людом, который *знает*, что разгадки смысла человеческой жизни не существует вне Бога.

Композиция образов Василия Богословского в «Овцебыке» и Якушкина в «Товарищеских воспоминаниях» во многом сходна. Вначале перед читателем живописный и немного нелепый, даже в чем-то абсурдный, озадачивающий феномен. Далее – волнующая ситуация открытия повествователем и читателем человека в «странном звере», праведника в «чудаке» и «шуте». В структуру образа включается также элемент «чудесного», как его понимал и любил изображать Лесков. Читатель становится свидетелем формирования народной легенды о герое. Обрастая курьёзами и слухами, образ приобретает черты легендарности, и это также роднит его с праведниками, например, с героем-праведником в лесковской повести «Несмертельный Голован» (1880).

¹ Троицкий В.Ю. Россия Лескова: русская идея и русский характер (к вопросу о методологии исследования) // Традиции. Культура. Образование: Научный сборник. – М., 1996.

Писателю очень нравится определение, данное покойному Якушкину С.В. Максимовым. Лесков с ним полностью солидарен и выделяет эту точно найденную, справедливую и трогательную характеристику курсивом: *«божий человек»*. Авторская теплота, любование прочитываются в эмоционально-экспрессивной окрашенности фольклорно-стилизованной лексики: случись бы за народ постоять, «божьего человека» бы «впереди всех поставили, – чистым полотенечком его занавесили бы, а на грудь в белы ручки образок дали бы. И он бы так стоял с образком, как святой. А если бы стрелять в них стали, то он так бы первый и копырнулся, обливаясь кровью от первого же выстрела».

«Овечья наружность» Овцебыка, который, если продолжить зоологическую метафору, хотя рожки и выставляет, но никогда никого не забодает (они у него загнуты кольцами вниз), а также кротость и незлобие Якушкина создают в подтексте чистые образы агнцев жертвенного заклания. О судьбах этих героев – «добровольных мучеников» – можно было бы сказать словами Лескова в память о его друге – писателе и историке Церкви Ф.А. Терновском: «Бедный, бедный и милый Филипп! Кротчайший бе паче всех человек и сколько печалей и обид он встретил!.. <...> Кроткий Филипп сослужил свою службу “овна Авраамова” и для тех, которые, не видя его, считали его “нечёсаным зверем” и, ища, кого заклать “в жертву Богу”, заклали его...»

Образы Павла Якушкина в «Товарищеских воспоминаниях» и Василия Богословского в повести «Овцебык» пополняют созданный в художественном мире Лескова «для Руси иконостас её святых и праведников»¹. С их помощью воплощает писатель свой грандиозный замысел «оправдать Русь» – задачу, поставленную «не от ума, а от сердца». И если Василий Богословский – один из первых образов праведников в литературной галерее Лескова, то Павел Иванович Якушкин, с «натуры» которого во многом «списан» Овцебык, – один из последних. Так тема праведничества соединила «начала» и «концы» в общем духовном и художественном целом всего лесковского творчества.

¹ Горький М. Н.С. Лесков // Собр. соч.: В 30 т. – М.: ГИХЛ, 1953. – Т. 24.

Галина МУХИНА

Родилась в 1939 году. Окончила исторический факультет Уральского госуниверситета, аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского до 2017 года.

Автор трёх книг и полусотни статей по истории и культуре. Живет в Омске.

«НЕ БУДЕТ ДАЖЕ И ВРЕМЕНИ ТАКОГО “ПОСЛЕ ВОЙНЫ”»

150 лет со дня рождения Михаила Пришвина

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – свидетель двух мировых войн. Он прожил их, будучи писателем и летописцем, автором Дневников полувековой длительности. Ему выпала возможность их сравнить. Он рос с ними как творческая личность, постигал их смысл, их роль в истории русского народа и России, с которой был настолько слит, что в 1944 году признавался: «чувствовал всю Россию в себе – и так что если я цел, то и Россия цела».

В дневниках от 27 июля 1914 года появилась запись о признаках войны: «лесные пожары, великая сушь, забастовки, аэропланы, девиц перестали выдавать замуж», радость «освобождения от будней», равнодушие к природе. Но появилось чувство единения, а из этого источника – «какая-то радость и бодрость» на улицах. Испугались от внезапной, с многочисленными помехами мобилизации, но «одумались и пошли» – «в один голос» (не как в Японскую войну).

Пришвин чувствует, как меняется мир, как раздвигается он до космических масштабов. Людей охватило какое-то «повальное безумие»; они становятся «государственными людьми, т. е. существами безличными», которые примкнули «к общему ходу бездумных светил». Появилась «какая-то ненавистная» Германия; «лично близкая, “родная по крови”» Сербия; помогающая «Англичанка», «дружественная» Франция. Вокруг «нечеловеческого светила», «с кружкой пива и сигарой в зубах» – кружится и поёт хоровод: «Немцы, немцы больше всех!»

Петербург превращается в военный лагерь: по Невскому «едут, едут», солдаты «сосредоточены в себе», они идут к открытым воротам города – как «бесконечная цепь штыков навстречу солнцу». Стало

«много свободней»: исчезли хулиганы, нищие – все стали на одно лицо, «друг на друга похожи». Облик государя: бледное лицо, живые, прекрасные глаза, речь со сдерживаемыми рыданиями – воспринимался как «начало воплощения героя-царя».

Осенью 1914 году как военный корреспондент Пришвин побывал во Львове, взятом русскими войсками. И написал о царящей там русофобии. Гимназист, говоривший на чистом русском языке, которому его учил дедушка, рассказал, что запрещалось иметь даже карту России, а перед войной пришлось сжечь книги Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. Из рассказов гимназиста, старорусского священника, галичанина профессора сложилось «представление времен инквизиции»: не было «физической жестокости в той чудовищно утонченной степени, как в те времена, но зато унижение человеческого достоинства в националистских тисках» – в высокой мере.

Перед второй поездкой на войну в Галицию (в феврале–марте 1915 года) он решил: главное – поддерживать «неизбежно утомляющийся тяжелым настоящим и неизвестным будущим народный дух». Ему важно было постигать войну объективно: «не отдельным человеком, а всеми». И выводил «закон человечества» – «мука за муку больше»: то есть все страдания раненых и умирающих на войне не так страшны, как бессознательная мука за эту муку; «наша мука, искупающая то страдание, по таинственному закону души человека страшнее той естественной муки». А поскольку по страданиям не было ещё в истории такой войны, как эта, значит, и «душевная мука за нее» должна быть «небывалой». Хотя большинство людей ждёт радости, надеясь на «озон войны».

Для личности война так же и «момент творчества жизни». Примеры: литератор из утончённых декадентов всё бросил и бежал на войну. К. С. Петров-Водкин уверял, что «никогда ему так хорошо не работалось», ибо жил «верой в будущую лучшую жизнь». А сам Пришвин? Столкновение Германии и России – это «роман» его жизни: он «получил все от Германии». В 1900–1902 годах учился на агрономическом отделении философского факультета Лейпцигского университета. Получил естественное образование, профессию агронома – и не только. Отныне немецкая культурная традиция – философская (Кант, Ницше) и музыкальная (Р. Вагнер) – стала частью его мировоззрения, его души.

Но вот он – перед лицом врага, который посягает «на нашу душу, на личность». Однако трудно русскому держаться «на злобе и недоверии». К немцам у него самого нет злобы, нет жалости, а удивление, как они могут – «будто без понимания, без хитрости, просто могут умирать». Жесточенность только в атаке. Тут и вопрос: «Любовь к врагу – что это значит? любовь к тому, что у врага есть хорошего, признание, что он, будучи хорошим, творит не зная что? убеждение, что нет существа, вмещающего только зло?» Принимает врага бытового, а не абсолютно. Война даёт христианским заповедям содержание, и они становятся «живыми» (Смертию смерть поправ).

Понятие немца-врага расширялось и, расширяясь, дошло до понятия внутреннего немца. Смысл его раскрывается Пришвиным через столкновение: «В этой войне меряются между собой две силы: сила сознательности человека и сила бессознательного. Мы русские – сила бессознательная... Когда нам улыбается счастье, мы готовы верить в свое бессознательное, когда неудача, мы взываем к порядку». То есть потребность в порядке, законе – это и есть внутренний немец. Но не только.

«Внутренний немец. Сначала он был на фронте, потом в людях с немецкими фамилиями, потом в купцах, и, наконец, говорят: – Ты думал, внутренний немец на стороне, а он с тобой за одним столом сидит, одною ложкою ест». В начале войны народ представлял себе врага-немца вне государства. После ряда поражений он почувствовал, что враг народа – внутренний немец. И первый из них, царь, был свергнут, потом старые правители, а теперь свергают всех собственников земли. Свергают капиталистов – внутренних немцев, буржуазных интеллигентов. После всеобщего разрушения собственности разрушители поймут, что внутренний немец находится в каждом из нас. Как в Библии: тощие коровы пожрали тучных и остались такими же тощими. Летом 1917 года обновляет социальный портрет внутреннего немца. Это не только царь, помещик, капиталист, но и сосед, у которого не одна, а две лошади, а кроме надельной, десятина собственной земли и две десятины арендованной. В 1918 году делаются добавления – кто виноват? Обвинение переходит на большевика, на еврея – «кончится война: я виноват». И тогда приходит отчаяние, догадка о символическом смысле изречения: «Звезды почернеют и будут падать с небес». Звезды – это «любимые светлые души людей» – «все мои звезды попадали! Господи, неужели Ты оставил меня, и, если так, стоит ли дальше жить и не будет ли простительным покончить с собой и погибнуть так вместе с общей погибелью?»

Выходит, война имеет свою диалектику: во всей её неправде скрывается и «подлинная правда, источник, обновляющий мир». Да, она ведёт к мировой катастрофе, но идея правительства общественного доверия (от Прогрессивного блока буржуазных партий в Думе в августе 1915 года) питала надежды: «в скорое время сделается всенародной идеей: мужики это поймут, как приближение народа к царю». Одно сомнение – «успеют ли это сделать до всеобщей разрухи».

Ведь столкнулись лбами немецкая «система» и «беспомощная русская первобытная удаль». «В глубине души по своему природному воспитанию» Пришвин признавал только русских солдат да, пожалуй, немецких. Сказывались народные взгляды на солдатчину «как на отречение». Солдат – это «необходимая вечность», как «из чугуна вылепленная фигура». Муштровкой скованный немец «в рассыпном строю не может проявить своей личной инициативы, как русский солдат». И немец, «учивший нас с колыбели порядку, закону» – погибает целыми колоннами, не желая участвовать в «хаотическом рассыпанном строю».

А каков наш герой? Георгиевский кавалер – это «обычный тип лучшего русского солдата, воспитавший наше сознание». Вот идут сорок таких героев, и всех капитан называет одним именем – Митюхи. Герой у нас – не личность, а «момент стихийного действия»: «Не они достигли Георгия, а Георгий к ним сам пришел». Но появились городские типы героев, для них подвиг становится самоцелью: не даром, а достижением.

«Чувство войны – стихийное чувство». При мобилизации солдат идет и «смирятся до исчезновения отдельности» и начинает «светиться в общем деле». Большинство их сопротивляется этому. О войне сложилось представление, как «о деле жизни и смерти, поглощающем целиком человека». С горечью писал о готовности идти на жертвы: «Смысл этой жизни... без ропота отдавать людей (гладиаторство)». Из этого и рождается ответ врагам: «нас еще очень много, очень! И мы готовы терпеть все до конца!» Но видя, как целует женщина уходящего

на войну, он чувствует себя виноватым. И прощание кажется ему, охотнику, похожим на судороги умирающей птицы. Женщина тоскует и плачет, а муж идёт на войну и весел: «умирать не страшно, жить тяжело». Его растрогал рассказ офицера, как тот мучился, слыша пальбу неприятеля, окружившего погибающий соседний корпус. Он записал: «Меня поразило... его чисто личное отношение... казалось мне, он пережил потерю любимого, близкого человека и у него на глазах были слезы...»

Следовало найти «психологическую причину войны», чтобы в мировом котле обнаружить «какое-то вечное, но утерянное людьми начало». Потому что война становится «делом привычным». Вначале казалось, что «победа наша над врагом будет в то же время победой над самим собой, что мы организуемся». Но и через 15 месяцев войны Россия всё «мечтает и утопает в грязи». Жгло «опасение как бы нас не разбили», если разобьют – неминуема «ужасающая» революция. К концу 1915 года, когда немцы взяли Ковны, написал: «Ну и взяли, и возьмут Ригу, Петербург, все равно целы будем – велика Россия!» И тут же сетует: после войны освободится много, много зла.

Пришвин, читая прессу, обнаруживает разрыв между личными судьбами людей и государственной легендой. На одной стороне – чудовищная легенда, «будто бы люди идут на жертву добровольно», а на другой – будто бы заинтересованность общества в личной судьбе солдата. С одной стороны легенда о жертвах, с другой – мольбы близких об одном: чтоб не убили. Потом подарки, цветы, конфеты, сигареты, общественные панихиды, некрологи, а в завершение всего «вдохновляющая цель – расширение государства, выход к морю». Надо «поднять завесу», вскрыть лицемерие официальной версии. Тем более что под шумок миллионы корыстных торговцев, поставщиков, подрядчиков, полицейских, губернаторов, финансовых тузов – «строят каменное основание своей личной судьбе» как «основу будущей власти их над будущими “жертвами” войны» (запись 11 марта 1917 года). На фронте враг – стоит лицом, в тылу – задом: «отдыхает и кушает, спит и наживается». В тылу, «как черви», заводятся всякие подрядчики, «живущие от войны к войне, надеждой на новую войну» ради наживы. Так автор обнажает один из жесточайших, античеловеческих смыслов войны – её классовый, империалистический характер.

Война настолько захватила Пришвина, что захотелось написать «Книгу войны», этому способствовала его газетная работа, его мировоззрение, творческая потребность: понять явление и поделиться патриотическими чувствами – внести свой вклад в победу. Замысел не осуществился, но подготовительная работа шла. Накапливались факты, возникали вопросы. Его интересовало всё: происхождение войны, её смыслы, настроение общества и личности, государственная политика, состояние армии, будущее России и мира. Когда война только началась, он не отрицал в ней нашу вину: зачем мы увлеклись все этим немецким, а теперь стало понятно, что она началась как «война духовного с чем-то нечеловеческим, немецким» – за человеческое. Поэтому желал «вести свою летопись не по чужому знанию, а от себя: как мне жилось в это время». Автор искал свой выбор. «Война – это тюрьма народа». Из неё убегают или ищут «выход к свободе духа», он «спасался посредством писания». В 1921 году признавался: «Радость, бодрость и все свои силы я получаю от моментов сосредоточенности в себе в тишине, когда рождается какая-нибудь мысль, которую можно записать». Война разрывала с прошлым. Появилось понимание величия событий,

через которые должно совершиться сближение государственного долга и общественных интересов. Менялся взгляд на народ: мужик – это не народ, но он идёт к косцам, до которых не доходят газеты, чтобы уравновесить труд и знание. Новое приобретение России: в тылу – как на позициях, где исчезают «все перегородки образования, положения», и все отношения упрощаются до двух классов: «начальников и “тошно так”»).

С самого начала войны он связывал её с революцией, даже отождествлял с ней: «Не будь войны, не было бы и революции...» (запись 5 марта 1917 года). На Февраль 1917 года у него вырабатывается свой взгляд. Отношение к Временному правительству очень критическое, не враждебное, но недоверчивое – к этой маленькой кучке «полуобразованных людей сектантского строя психики, овладевшей властью над всей огромной страной» (запись 11 марта 1917 года). В обществе – растерянность и непонимание: с падением царизма «исчезло почти все, из-за чего мы воюем». Досадовал: потеряли историческое чутьё, забыли, что «только в самое последнее время» монархия наша стала «отвратительной и ненавистной» – потому что «предала нас врагу». Приходил «смутный страх», что революционеры свергнут статую «царя-революционера» Петра Великого, олицетворяющего Петроград.

На исходе войны бросился читать, как и многие тогда, «Историю Французской революции», историю Смутного времени – «пробудилось великое стремление знать свою родину» и её историю. Образование стало «совершенно необходимо» «для творчества жизни», «как пахарю плуг». С февраля 1917 года Россия кардинально менялась: таинственная страна, «с народом-сфинксом» – после кораблекрушения причаливала к новой земле. И слово «хлеб!» зазвучало так же, как «война!» Настало новое смутное время, и тысячи самозванцев увлекают народ неизвестно куда. Пришвин клеймит Горького, социалистов за намерение обратить страну «в стадо прозелитов иностранной фабрично-заводской пролетарской идеи». Им овладевает чувство потерянности: Родины нет, «она уже кончилась». Хотя и твердит: «не погибнет». Революция Февраля кажется ему абсурдной: она «самая буржуазная в мире», не революция собственников, а желающих быть собственниками, которые забили настоящих собственников. Все бегут, как во время войны. Диктатура неизбежна и «самая жестокая», её ждут. «Почти сладострастно ожидает матушка Русь, когда, наконец, начнут её сечь». «Революция села на мель безденежья и уперлась в одно-единственное чувство злобы к имущим классам».

Он «не рад этой революции», которая лишила его пристанища и покушалась на его писательское дарование. Пришло разорение: «Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад». В своём доме он, как в тюрьме; окна заставлены досками от выстрелов. Дня три очень горевал: «богатое, весеннее» солнце было для меня «будто черное». В октябре 1918 года его лишили и дома: пришла «выдворительная».

На Октябрьское восстание он взглянул сначала (8 ноября 1917 года) как на «стихийное движение в первом авангарде разбегающейся армии, требующей мира и хлеба, чем и была предрешена победа большевиков». Это случилось в обстановке нового геополитического положения России. Когда она, по его мнению, находилась «во власти сил мировой истории человечества» и когда у европейцев был «ключ ко всему». Когда просвещенная часть русского общества стояла за Англию и ожидала

от неё переустройства на базе европейских ценностей. Когда простой народ воевал за царя, а образованные – за его свержение. Падение монархии сделало ненужным воевать за англичан. Тогда большевизм он оценивал как «общее дитя» народа и революционной интеллигенции, а их интернационализм – «ничто иное, как доведенная до крайности религия человечества».

В Дневниках поддержал требование Советов: мир без аннексий и контрибуций. Это «призыв сильный, более сильный, чем “Война!”» То же самое с детства слышали в церкви: «О мире всего мира Господу помолимся!» Только сожалел: это выражено языком, «мало понятным для простого народа» (аннексий и контрибуций).

Большевизм воспринял как «явление германо-славянское», а когда поляки пошли на Киев и замаячило появление самостийной «Украины», он стал казаться великорусским. Предпочитая идеи «эволюционной демократии» Англии и Франции, социализму выносил приговор, ибо считал: его задача – «отнять у общества жизнь, овластить эту жизнь и сделать государство без общества». Даже победы наш коммунизм «весь свет» – «все равно не мог бы стать коммунистом». Из-за отращения к убийствам, лжи, грабежам, демагогии. И хотя он допускал, что эта власть необходима и способна сдвинуть Русь с мёртвой точки, но принять её не мог, как и «мрачное учение» Маркса.

С начала 1918 года революция представлялась уже как зависание над бездной: законом стала случайность (случайно оказаться в тюрьме, под пулями, замерзнуть в поезде). Наше время, считал он, поражено болезнью логического безумия. В итоге: «Деспотизм и дитя его большевизм – вот формула всей России». Судьбу мировой войны теперь уже не нам решать, ибо «мы теперь провинциалы от интернационала».

В сознании автора происходило крушение представлений о государстве, Отечестве, как оно сложилось по историческим книгам и являлось узлом «личного благородства» и готовности жертвовать своей жизнью. Пришвин обращался к известной формуле «Левифана» Томаса Гоббса: «войне всех против всех», в которой вставал вопрос о собственности и решимости умереть за неё. По его мнению, эта революция «рождается в злобе», и её скелет представляется в образах: «Смердякова – большевика-разрушителя и Платона Каратаева – созидателя, нынче набивающего керенками бутылку». Революция нанесла удар в «самое сердце собственности», ударила по крестьянину, принимая его за врага, поскольку его труд – «весь в сбережениях» в отличие от труда фабричного рабочего. Одним словом: «Распяты ныне и барин, и мужик на одном кресте, барин – за идеи, мужик – за разбой» (запись 29 декабря 1919 года). Социализм – лишь говорит: нельзя так жить, «а как жить, может научить только религия», – записывает он в 1921 году. А в 1922 году – уже очень определённо: «Не пройди я путь максималистского большевика ранее, я стал бы в Октябрьскую революцию непременно большевиком, но я в то время уже окончательно устроился в себе и не мог примкнуть психологически к Октябрьской революции и хотел для России революции просто буржуазной». Он не только привязан к собственности, но и считает её основой государства: «Мало того, чтобы любить свою землю и сеять на ней хлеб, нужно еще уметь защищать свой посев – это чувство страха за свое и потребность оберегать его и создаст государство; любить и сеять мы могли, а оберегать – нет!»

Война меняла общество, ожесточала людей: научила «этот кроткий» народ «шагать через людей», «через трупы людей», как шагает теперь

«через родных и святых». Людей стравливают, науськивают: «вот враг, вот враг!» Раньше жили «за царем», его волей. «И вдруг каждый стал царь и Бог». Все русские люди, которых он встречал, когда ехал из Петербурга до Ельца в течение 18 дней, – «от фанатика, одержимого большевика гвардейского экипажа балтийского флота, до последнего мешочника на крыше телячьего вагона – имели вид уязвленных, в отчаянии потерянных людей».

Спрашивая себя, можно ли назвать нашу революцию великим событием, если она бросила «живую человеческую душу на истязание темной силы», Пришвин ищет историческую аналогию в деяниях Петра. «Великий истязатель России» «вел тем же путем страдания к выходам в моря», и «раны живой души русского человека» не зажили до сих пор. Вот и теперь что? «Разворовано общее добро, унижена женщина, затоплен грязью и брошен правительством прекраснейший город, созданный на крови русского народа, – в этом метаморфоза?» – вопрошает он. Писателя угнетает духовное состояние общества – небывалое «обнищание духа» параллельно с экономикой, и в качестве одной из причин его называет «разрыв с общемировой культурой».

Об этом пишет так: «...я не политик по природе, я живу и думаю в области неделимого простого, человеческого». И хотел как русский писатель иметь право сказать так же твердо и просто народу, как говорит Анатоль Франс, описывая времена Великой французской революции. «Боги жаждут» – его роман из той эпохи, «а наши хвосты и очереди все с точностью описаны, и в тюрьмах сидят невинные, художники и мудрецы, как мы с вами». Люди у него – хорошие, не только герои, но и толпа. Французы громили дворцы, но сочли бы для себя смертельным грехом что-нибудь взять для себя. Читал это с завистью: что так мог сказать французский писатель про свой народ.

Где найти опору? Ему, писателю, ясно – спасительницей будет русская литература: «И так земля вся разорена, мы еще можем теперь прислониться к вождям нашей культуры, искать защиты у них, ну, Толстой, Достоевский? ну, Пушкин? вставайте же, великие покойники». Для него очевиден революционный характер русской литературы: «Смелость анализа до конца, наивность страсти и веры перевернуть словами весь мир».

Пришвин много читает и многое черпает из литературы для объяснения и своих поступков, и других людей, и эпохальных событий. Когда собирался уехать за границу или в Питер, его каждый раз останавливало чувство, похожее «на лень, которую Гончаров порицает в Обломове и тайно прославляет как животворящее начало». Для Пришвина Обломов – его герой, чей «покой таит в себе запрос на высшую ценность», ибо не может выдержать его критики никакая «“положительная” деятельность в России», из-за которой «стоило бы лишиться покоя». И он – не антипод «мертвенно-деятельных людей», как Ольга и Штольц. Противовес для Обломова – не Штольц, а максималист, с которым можно «дружить, спорить и как бы сливаться временами». Пришвин был сформирован литературой и почитал её заслуги, прежде всего как носителя совести. Убеждал: «сейчас больше дает чтение старого, чем наблюдение настоящего, которое стало однообразным». Успенский для него – «провидец русского несчастья». А если вдуматься в Достоевского, то «ничего не остается неожиданного в современности». Он обращается к его легенде о Великом Инквизиторе, чтобы приговорить социализм: «Можно соприкоснуться с вечностью,

но невозможно быть в вечности, а социализм хочет быть в вечности... По Великому Инквизитору: эта невозможность заменяется обманом и обман тайной. А социализм – бунт земной вдвойне, и против Христа, и против церкви».

В Дневниках звучит как рефрен одна тема: Евгений из «Медного Всадника». Тема отношения власти к личности и человека к власти. В 1921 году он ратует за сносную жизнь для бедных людей, ибо «Октябрь для всех нес новую муку, насильную Голгофу». И для него неприемлем принцип: «Кто не работает, тот не ест». Считает его «наиболее бессовестным, потому что в основу труда ставят не совесть, а страх остаться голодным». Мерило для него – христианские ценности. Он порицает неверие в Бога, разруху семьи как «состояние души современного человека и направление его жизни». Если большевики, воздействуя на среду, влияют на личность, то христианское учение «действует на среду через личность». Поэтому, утверждает Пришвин: «То, что мы считали в социализме за хорошее, было у нас от церкви». Он не мыслит разрыва с традицией: «Культура – это мировая кладовая прошлого всех народов... которое входит в будущее и не забывается... – это дело связи народов и каждого народа в отдельности с самим собою. Величайшим деятелем связи был Христос». Осуждая насилие государства над обществом, автор отмечает: на прежних скрижалях было написано «слово Бог, теперь Человек», то есть идея социализма – переформатирование народа. В этом процессе Пришвин обнаруживает новаторство самих масс: «в душе русского человека сейчас совершается творчество мира, и человек называет другого не официальным словом “товарищ”, а “брат”». У него самого возникает чувство солидарности и признательности к советской власти – на патриотической почве (запись 20 мая 1920 года): «...иду с ними (коммунистами), потому что они все-таки свои и ближе мне, чем англичане и французы, устраивающие теперь “буфер” и “рынок” из Польши».

Как Пришвин ощущает настоящее? Революция его отвращает, однако он сознаёт, что это «величайшее историческое» время, – так он пишет в 1919 году, а в 1921-м утверждает, что наше время есть «высшее напряжение смуты», а периодический голод и смута – это неизбежные и необходимые компоненты русской истории. Для него и национальный пейзаж является средством постижения русской ментальности: «В природе русской мне больше всего дороги разливы рек, в народе русском – его подьёмы к общему делу – и как бывало на покосах, и в первое время войны, и в первые дни революции».

Утрата имения, угодий, дома не даёт покоя. 8 октября 1918 года записал: «Старый дом, на который смотрим мы теперь только издали, похож на разрытую могилу моей матери». Минуло 18 дней как он с узелком покинул Хрущево, а будто «год прошёл». 20 октября 1919 года: «ужасная сейчас жизнь, но я и так ее люблю: люблю свой утренний чай до света, когда все спят и я брожу мыслью по миру, люблю своего мальчика Леву и тех людей, которые меня так счастливо окружают везде». В 1921 году пишет о жути: спит один в доме – «в углу дубинка, под кроватью топор».

Перед грандиозностью событий писатель определил свои жизненные приоритеты: «Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным». А другие? Большинство цепляется за деньги, вторые – за власть, третьи жаждут отдать себя власти. Его выбор: «Жить в себе и радоваться

жизни, вынося все лишения... для этого нужно скинуть с себя лишнее, перестрадать и наконец освободиться». И пожелать другим того же.

Как человек европейской культуры, потомок её защитников Пришвин видел в миссии России спасение Европы от азиатских нашествий в Средние века, теперь же она приняла на себя «страшный удар» социализма. И он отрекается от участия возможного похода на Европу, которая «будет разрушена до основания, если власть очутится в руках “беднейшего из крестьян”». Его привлекает устроенная жизнь в Германии, в которой он «ни разу за два года жизни там не видел признаков социального бешенства». И сожалеет, что немцы «временно отлучены от нас», а они «органически наши, без них у нас пустое место». Для него и русская, и германская революция – это «не революции, это падение, поражение, несчастье». Они основаны на насилии, а не «на силе убеждения». И есть надежда, что когда-нибудь придет и революция как «творчество новой общественно-государственной жизни». Хотя считает: революция – это «выражение нетерпения», и предпочтительнее постепенность эволюции. Относительно войны резюмирует: «общий враг» – капитализм никуда не делся, он неизбежно порождает «мировые войны», они «всегда были и будут, их уничтожить невозможно».

* * *

В преддверии Второй мировой войны он чувствовал неумолимо надвигающуюся катастрофу. Но не осмеливался выступить в качестве эксперта: «К числу таких вопросов, которые я рассудочно не имею права решать, всегда был для меня вопрос нации и войны: я не могу сказать со всеми, что я – русский, хотя я русский больше всех...» Точно так же не мог в свое время определить себя «пораженцем» или «оборонцем». Словом, судит по наитию, по интуиции. Он убежден: история движется «молча» и надо современность держать «в себе всю целиком». В 1936 году пишет: на наших глазах исчезла Абиссиния потому, что «была мала и стояла на пути Италии». Исчезает Испания; вероятно исчезновение демократической Франции. Фашисты намерены уничтожить демократию и затем непременно столкнутся между собой, или всё затянется надолго, пока не иссушатся народные соки. Нас тоже «истощает индустрия, отсутствие радости в деле, радости жизни, уверенности в завтрашнем дне», ложь во всем, двурушничество, чудовищное самоистребление. Предполагает варианты для нас: стать «примером, как социализм сделал великий народ жертвой войны или как социализм переродился в милитаризм». Или капитализм «пожрет социализм, быть может, и не вступая с ним в прямую войну». В начале 1938 году в связи с японской агрессией в Китае думал: ввяжемся или отсидимся? Неужели 20 лет такой «ужасно тревожной, пещерной жизни» даром прошли для нас, или это только «подготовка для европейской колонизации». О своём самочувствии и состоянии общества писал: «Берут одного за другим, и не знаешь, и никто не может узнать, куда его девают. Как будто на тот свет уходит. И чем больше уходят, чем неуверенней жизнь остающихся, тем больше хочется жить, да, жить несмотря ни на что! Так вот бывает пир во время чумы». Разложение партии и общества, «зыбкость нашего государственного бытия», «полное одиночество Сталина», и люди всё больше отдаляются друг от друга. Вопрос о войне встаёт для него со всей очевидностью. Мы готовимся. А люди живут, «как будто войны вовсе не будет».

Заклучение советско-германского пакта 1939 году одобряет и порицает недоверие к нему. Ссылается на историю отношений России и Германии: «с 1914 года по 1939 совершил наш народ трудный путь из-за политической ошибки царя: четверть века неопиcуемых терзаний всего народа за эту ошибку царя воевать против Германии! И вот почему я предсказываю: союз с Германией вопреки всякой идеологии сделается очень прочным, длительным и переделает весь мир». Готов считать пакт договором о дружбе, а Гитлера героем борьбы народа за освобождение. Хотя знал: народ ему не доверяет и опасается «ярма». Предполагает варианты: Гитлер делает ставку на блицкриг, и, если война превратится в позиционную, он погибнет. Тогда вероятно СССР будет воевать за социалистическую Германию. Или Гитлер станет диктатором Европы. Пришвин вскоре отказывается от первоначальной переоценки пакта. Нелегко ему было расстаться с идеей сотрудничества с Германией, освободиться от своего «помешательства» на Вагнере (43 раза слушал «Тангейзера»), прежде чем стало ясно, какую «опасную игру» затеял Гитлер: сначала победить английский капитализм (хотя победить его до конца ему самому невыгодно, возможно и примирение), а потом русский коммунизм.

1940 год он переживает как время мировой катастрофы, гибели цивилизации, словно род человеческий охватила «страшная эпидемия». Он готов примкнуть «к делу Сталина, значит – к делу восстановления России» в её прежних границах. 26 сентября 1940 года отмечает: «Вчера... совершилось для меня большое событие, я переменял свою политическую ориентацию. Раньше я думал, что мы постепенно эволюционируем под германский фашизм, они же примирятся с фактом коммунизма. Теперь я подумываю, что Германия, может быть, в процессе своего поражения сама станет коммунистической и вместе с нами станет против Англо-Америки». Это возможно, если между Англией и Германией не будет заключен «мир за счет нас». В конце этого года его тревожат настроения в Москве, что немца «нам не миновать»: если ему помогать, он «превратит нас в колонию», а будем против – расколотит и своё возьмёт. Понимает одно: «Война 14-го года осталась морально неоправданной, значит – неконченной, теперь – продолжение...» Назревающую войну писатель в 1941 году воспринимает как войну «крови за кровь и слова за слово»: «мир может быть только в единстве слова и крови, слово наполнится кровью, и кровь будет оправдана словом».

Противостояние сил Пришвин сравнивает с магнитом: на одном полюсе – всё реакционное с Гитлером, на другом – коммунизм. Что же касается стран демократии, она – лишь «помесь и компромисс». Три лица теперь: Германия, Россия и Америка. Англия подлежит поглощению Германией или Америкой. Пакт Германии с Японией – значит война Европы и Азии с Америкой. Недоумевает насчёт США: знают, что после поражения в Европе будет революция и СССР станет «господином положения», но поощряют Англию продолжать войну (запись 1 июня 1941 года). Фактически расклад такой: воевать – значит начинать революцию в Европе, не воевать – превращаться в колонию.

И вот утро 22 июня. Сразу «пришло ясное сознание войны как суда народа: дано было почти четверть века готовиться к войне, и вот сейчас окажется, как мы готовились». Считал, что за войну кто-то должен ответить и быть наказан. Так понимал революцию 1917 года и понимает войну 1941 года как продолжение той. Делает признание: «В защите

этой идеи возмездия состоит все значение Сталина, и в выступлении против неё за легкомыслие» гибли его враги.

Весть о войне «всех оглушила». В Дневниках запись о патриотизме. Корень его – в самом насущном: «хочется, чтобы не тронули мой домик и квартиру мою в Москве не заняли, где я работаю, где хранятся письма моих читателей, рукописи». В социалистическом отечестве сила патриотизма должна выйти «не из стихии, а из организованности людей». С такой силой идут фашисты, с ней предстоит сражаться. Большевики вывели Россию из «кустарно-лично-семейного состояния в большое хозяйство». Это было необходимо для защиты коммунизма. И четверть века мы жили «в состоянии мобилизации для войны». Представлял, как немцы презирают нас «за бедность, беспорядок и грязь». «И хочется им “утереть нос”». Речь Сталина вызвала «большой подъем патриотизма», но у Пришвина возникли сомнения в его подлинности, поскольку в советское время происходила «утрата общественной искренности» и «полный разлад личного и общественного сознания». Однако 5 июля появилась запись: «Случилось такое, чего никак было нельзя ожидать: весь народ поднялся... Плачьте, женщины! Лейте слезы, как можете: ни одна слеза ваша не пропадет даром...»

Ведёт счёт по дням и записывает: рухнули расчёты Гитлера на 14-й день взять Москву. Не вышло сыграть и на ненависти к большевикам. Уже в самом начале этой «величайшей войны человечества (двух столь близких народов, немцев и русских, разделенных фанатической фашистской теорией)» Пришвин уверовал: «Мы должны победить». Почему? Народу хочется жить, у него современное оружие и небывалая организация в истории. Но ему известны разные настроения в обществе. Пораженцы уповают на победу немцев и смену ими правительства, не верят большевикам и ругают за беспорядок. Энтузиасты думают: немцев разобьют и в Европе начнут бороться за плановое мировое хозяйство и исключение войн (запись 28 июля).

Жизнь поворачивалась и влияла на выбор чтения: Пушкину, Тургеневу, Льву Толстому Пришвин предпочитал тогда Гоголя, Лермонтова, Достоевского, то есть особенно страдающих и не гармоничных классиков. Читая повесть «Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского, Пришвин видит, как и в «Бесах», пророческое изображение России – психологию «идейного деспотизма на почве личного самолюбия Фомы Опискина». По его примеру явился «железный стержень коммуниста». Приходится задуматься о происхождении деспотизма из самолюбия и признать, что книги Достоевского «живут и действуют почти как сами люди» (запись 19 сентября).

Его удручает недостоверность информации: «везде только слухи и ложь». Особенно разрушительными для тыла являются сообщения по радио о героических подвигах: «Слушать радио никто не хочет». Как же спасти нравственность? Не отрицая достижений большевиков: всеобщую грамотность, индустриализацию, формальный парламентаризм, ратует и надеется на возврат к православию, потому что «в православии у нас все». «Наступает страшное время, надо собираться на борьбу за самую грубую жизнь и самую тонкую, за смысл ее, надо быть мудрым, как змий».

И с обеих сторон: у немцев и у нас – царит убеждение в незаменимости вождей. В словах же Рузвельта: обеспечить во всем мире права людей на свободу вероисповедания – Пришвину слышится намерение на полное уничтожение большевиков и призыв к будущей войне

с СССР после поражения немцев. «Прочитал газетку (Англо-американская комиссия)» и ощутил вероятность длительной войны «при поддержке Америки» и «мерзкой необходимости неволи», потому что ей «очень выгодно помещать свои капиталы в нашу войну». Отсюда – две перспективы: в такой «великой войне» Нового Света со Старым и со вступлением Америки и Японии – для России уготована второстепенная роль в долгом конфликте, или на разделе России все помирятся. Можно подивиться такой проницательности.

В 1942 году войну он сравнивает с болезнью, «охватившей все человечество». Определяет характер мировой войны через интересы сторон. Для Англии-Америки главная задача – «обоюдное уничтожение большевиков и фашистов». Если «сломятся фашизм» – в Европе будет «революция и торжество большевиков». Победа фашистов приведёт к долгой изнурительной войне «с демократией», победит демократия – война будет ещё продолжительней. С успехами японцев наш фронт перестанет быть решающим. Он не считал, что для победы достаточно моторов, как думают англо-американцы, – здесь требуется «национальная воля, как у немцев и японцев», «национальный героизм, дерзновение, риск». А в речи Рузвельта правдив только призыв к наращиванию вооружений, соответствующего мощи американского капитала, хотя и в антураже слов о борьбе с германским варварством и защите демократии. Его анализ исходит из двух аксиом: «большевики позиций своих не сдадут»; «капитал своих позиций не сдаст». Значит, компромисс здесь невозможен, и борьба будет непримиримой, беспощадной.

В нашем сопротивлении он рассматривает две составляющие силы, поскольку оно рождается «не из одной только механизации власти, а также из естественной жажды жизни народа способного, недрахлого и выносливого». Всё разделилось на: «у них» (это партия, власть) и «у нас» (это «народ, вернее, чернь»). «У них все есть» – в отличие от «нас». Только теперь ему открылось, что же такое народ. Это не какой-то видимый народ, а «сокровенный» – «в нас самих подземный, закрытый тяжёлыми пластами земли огонь», это не только мужики, русские люди, а «общий всему человеку на земле огонь», что продолжает «начатое без него творчество мира». – «Только чувствуя и зная в себе самом этот огонь, можно теперь жить и надеяться».

Важнейшим фактором в сопротивлении нашего народа считает состояние его духа. Поэтому поднимает вопрос жизни и смерти, как две основы: радость жизни и страх смерти. Время требует проповеди радости жизни, но носителем её должна быть творческая личность, «рождаемая Христом в человеке и продолжающая свое развитие в Духе». Именно в христианстве ему видится путь освобождения человека от страха (смерти), путь личной свободы.

Писателя волнует состояние общества, его отношение к врагу. Запись в марте 1942 года: когда докторша говорит о возможности победы Гитлера, пессимизм происходит от угнетённости набором: берут туберкулезников, калек, белобилетников. «На всю деревню голосит бабушка Аграфена: – Ой, жизнь моя Ванюшка! Ванюшку убили. Ой, жизнь моя Николаюшка! Николаюшку чахоточного сегодня угнали. Ой, катитесь слезы по лицу моему. – Слушаю я этот вопль и даже в мои годы подмывает злоба на немца, и тянет она включиться в массу, идущую на врага».

«Немцы» были «последним обманом», когда чаяли, что большевизм «через три дня кончится, потом через месяц, потом НЭП их съест, по-

том... без конца, и наконец, пришел конец» – и вот опять нет конца. Не верят англичанам, не верят большевикам. В основе недоверия – убеждение о несоединимости коммунизма и капитализма: «легче Англии соединиться с Германией, чем с нами», а «победить Германию значит отдать Европу коммунистам». Сам же убеждён: без второго фронта с врагом не справиться, а союзники водят за нос. Совершается Суд истории. Идёт борьба идей: «Америка – благополучие личности, Германия – благополучие народа (нации), Россия – благополучие всех».

Ясно, что в такой большой войне одной дипломатии и оружия недостаточно, нужна «живая сила народа». Англичане же – это торгаши: «выродились, ослабели, не могут постоять за правду». У американцев «нет народности, источника завоевательной силы». А завоевание мира – это большая война.

О своей жизни Пришвин тоже высказался: испуг, привитый, как всякому старому интеллигенту в советское время, он преодолел «искренним отвращением ко всякой политике», выработал манеру: «или уж очень прост, или невинен, или счастливцев... в положении свободного художника, с которого спросу нет». Время требует от писателя «прославления вражды, возбуждения ненависти к врагам». А в это время Пришвину пришла большая любовь. До встречи с Валерией Дмитриевной (в январе 1940 года) в глубине души ему не верилось «в объективное добро, и любовь, как движущая сила жизни, была непонятна». Есть запись (25 мая): «У нас так хорошо, мы живем в лесу, – птицы поют весь день. И мы довольны друг другом с Лялей, счастливы». Через три года написал: «...мы из нашей борьбы вышли как нераздельные люди и неслиянные». «Любящий под влиянием другого как бы находит себя, и оба эти найденные новые существа соединяются в единого человека: происходит как бы восстановление разделенного Адама».

Писатель впервые осознал, «как велик труд» его, «как трудно быть свободным: нет ничего на свете труднее свободы и вот почему люди – рабы». У него сложилась целая философия жизни: война разделила человека на две разных жизни. Человек на войне – как «жизнь в принуждении», и в мире – «по собственной воле». «Война и мир как человек вовне и человек внутри себя». И это не статичное состояние. Пришвин берёт пример: как перерождается пораженец. В прошлом году ждал немцев, теперь уверовал в русского солдата. Потом у него появится родина, затем полководцы, вожди и главный вождь. Это не ново – за исключением одного: теперь видишь сам, о чём долбили с детства, но на что тогда не было собственного отклика. У него складывается такое мнение: «нельзя полагаться на то, что происходит сегодня, и приходится подождать завтра, и это завтра есть не будущая жизнь на том свете, а жизнь, недожитая здесь, на земле». Писатель берёт материал не на фронте, где кровь, а в тылу, где слёзы. И его больше интересует личность, а не массы. Не гонится за героями, потому что в его понимании герой – «не совсем личность: это особь». Мотивировка такая: сколько видел таких, кто хочет дезертировать, а «попал на войну – и там стал героем», ибо выбор один: «или в кусты, или к ордену» и «стадное чувство движения к победе» «манит присоединиться ко всем». «И кажется – не за что воевать: дома нет ничего своего, за что бы постоять. А между тем там человек преображается и становится героем». Что его поднимает? – В нынешнюю войну совершается «нечто небывалое»: каждая сторона борется за господство над миром и уже показывается победитель «как единый хозяин мира». Может, дело и не в народе,

и не в правительстве, а в «воле сверхнародной, сверхправительственной». Ведь нередко человек несогласный с общим мнением поддерживает его на людях, так и геройствующий на войне. И самого себя укоряет: отстаю в понимании современности, поскольку пытаюсь мерить мировую войну «национальными мерками».

Долгая война истомила. Запись 29 января 1943 года: «Наши растущие победы» перестают поднимать в людях настроение, потому что «так много у нас отнято земли, что можно побеждать без конца». – «Ждем конца войны, как голодный ждет хлеба».

Мучительным для Пришвина был вопрос об отношении к Европе, связанный с пониманием собственной идентичности: «Мы же, дети русские, вырастали в гимназиях с немецким режимом и с учебниками и с французской свободой на словах в обществе». Оба эти начала – «личной свободы и государственной необходимости» у многих поселяли веру в «западного настоящего человека». «Эта уверенность... продремала во мне до сих пор... Этот западный человек под Сталинградом разбился... А настоящий западный человек в своем восточном синтезе – это будем мы? Или кто?»

Свое писательство Пришвин воспринимал как спасение, как мирный выход, который заканчивал его «душевную смуту». Война «смущает» его, путает мысль. Он не может теперь «ничего написать по всей правде»: «сказать о себе “я пораженец” – нет, я не пораженец, сказать – патриот, нет – не патриот». А просто «смущенный, мучимый, терзаемый состоянием войны человек». Откликаясь на настроения людей, он понял назначение писателя во время войны – «творить будущий мир», быть «на страже времени», ибо «без чувства своей современности невозможно оставаться писателем; писатель – это стрелочник времени...» (31 августа 1942 года).

В сентябре 1942-го в отношении мировых событий у него – «полная апатия». «Какие-никакие большевики», но ими держится «этот пережиток сознания, именуемый “Россия”». Четверть века «невероятных мук уходят в ничто», в «историческую пустоту». Ему страшно, что он «не только не пережил, или отжил, а еще как следует и не начинал жить». Наше поражение от наступления немцев на Ростов породило ощущение: «только чудо может нас спасти». В Москве есть семьи, умирающие от голода. Наступление голода страшно разделением людей «на более сильных и слабых», которое поддерживается «политикой и особой советской моралью» (столовые, распределители). Понял, что не «злобу дня», а «целый мир независимых ценностей» надо открывать людям.

25 октября 1942 запишет: «...ведь это не Россия кончилась, а сама Европа, идеал нашего русского общества, вся “заграница” погибала со всеми своими мадоннами и соборами, и наукой, и парламентами». Пришло осознание: «я – Россия» поднимается на новую высоту: «самое богатство личности, сокровище души человека и ее основной капитал – это признание своей личной ответственности за наше зло».

Вдруг мелькнуло, что «они» – наши «начальники» – «не только плуты, а и государственные люди», и тогда почувствовал, «что бремя злобы на большевиков с меня свалилось», а немцы как освободители кончились, и даже обмолвился о вероятности «поступить в партию» (запись 13 ноября 1942 года). Выход из пещеры «советского погребения» он связывал с войной, которую стал понимать как борьбу за экономическую гегемонию в мире и освобождение личности человека как «духовного существа». Англия, США, Германия, Россия – столкнулись на

этих путях. Германия воюет за господство над всем миром. Русские – против господства отдельных наций. Всё будет решать победа, но придет время, будут судить и победителей. Сам же он рассчитывал, что «из революции, возглавленной ныне Сталиным, открывается прямой путь к свободной церкви». Воспринимая себя как «русского», а сущность «этой хорошей русскости» – в православии, откуда «всякими кривыми и прямыми и несознаваемыми путями» прошло в его душу «то русское, хорошее», и видя, как меняется религиозная политика в СССР, он принял советскую власть душою. Но главное, чувствовал ответственность за страну: как её спасти? И ответ такой: носитель «истинного начала – христианин, его задача теперь – сделать «грядущую войну священной войной». Коммунисты во власти стоят перед той же задачей: ввести в её механизм христианскую мораль, но без Христа. Когда он объяснял жене желание вступить в партию, то этот путь для него имел только один смысл – идти «из партии к церкви». По его мнению, подъём духа народа не может состояться без веры. Он утверждает: «одна из основных черт верующего православного – это бесстрашие в отношении извне действующих на человека враждебных сил и радость внутри. Не хватает православному воинственного отношения к враждебным силам (пассивное отношение, компромисс)». Но война подвинет к этому русских людей. Потому что забота обо всех – дело государства и общества. А забота о каждом – дело религии. Пришвину хотелось бы верить словам Рузвельта о защите личности, «независимой от нации, положения, класса», о защите «религии, питающей личность». В то время как Сталин, уступая давлению Рузвельта, «лишь допускает религию, втайне являясь её непримиримым врагом».

К США у Пришвина отношение сложное. Рузвельт – светлая личность. Но у нас не доверяют Америке – она «хочет нас извести так же, как и немцев» (июль 1942 года). Его пронзительные слова о внутреннем смысле в русско-американских отношениях звучат сейчас как очень нужные для нас сегодняшних (а записано 14 сентября 1943 года): «Каким-то хозяевам, собственникам в Америке выгодно, чтобы нас, русских, расстреливали больше и дольше... пусть даже и погибнут все славянские народы на счастье американцев, как погибли индейские племена». Известно, что в Декларации независимости 1776 года отцы-основатели США счастье обещали только цивилизованному американцам, абorigенов объявляли дикарями, обрекая на уничтожение, тем самым обосновывая экспансию и захват их земель.

С открытием второго фронта в Европе появилась новая мысль: после войны весь мир окажется под влиянием США и СССР. США выступят на мировой сцене как «охранитель частного интереса», СССР – общественного. Усилится влияние социализма: «Нравится или не нравится – все равно социализм сделался исторической темой, над которой работают все государства, все народы, и, само собой конечно, и Бог». Коммунизм станет «общепризнанной экономической системой».

Пришвин бьёт наотмашь по их ленд-лизу: «тут уж Америка не купит нас консервами... Поддай же, друг мой, похлеще ногой вот эту пустую консервную американскую банку, пусть летит она ко всем чертям и гремит: это косточки гремят тех, кто жизнью своей заплатил за эти банки». Словно из летописи вырываются его гордые записи из 1945 года: «наши за это время шагают и шагают по Манчжурии. И так удивительно, на всей земле только два полноценных противника, Америка и мы. Подумай-ка, мы!» – «мы голодные, голые. Что у нас? Только терпенье...

У нас еще большое преимущество: свобода от собственности и ее традиций,.. сословных и классовых привязанностей». У них же – собственность, традиции стесняют движение.

А Европа теперь? Не та. Ещё в 1943 году Пришвину представилось, что для неё «русский ком», с коммунизмом внутри, подобен «древнему азиатскому кому кочевников». И после «последнего унижения Европы» чувствует, что там действительно уже «нет прежнего высшего примера для нас окаянных». Пришло время вернуться к идее самобытности России, признать широкую натуру русского человека, в котором «как в природе есть все, что только нам вздумается». В этом – наша сила, которой вот «теперь берут города».

Война с фашистской Германией не затмила в нём глубокого чувства к её людям, не отменила привязанности к исторической взаимности: «Вот теперь эти два народа, самые близкие и по территории (соседи) и в истории, режут друг друга на истребление. А далекие и чуждые... дожидаются, когда... можно будет взять их голыми руками». Это враг, но «любить врага, значит бороться с его бесом». В войне с немцами: «мы боремся с бесом Гитлера (любя немецкий народ)... Но русский народ, побеждая Гитлера, сделал большевиков своим орудием в борьбе, и так большевики стали народом». Когда шли бои за Днепр, Пришвин (18 октября 1943 года) заговорил о необходимости для нас немца-учителя, не в буквальном смысле, а в качестве образца деловитости, чтобы после войны «наладить порядок жизни» и превратить «наш анархический социализм» в организованную систему. «Пусть лучше через нашего Сталина немец придет, чем через Гитлера». А в 1946 году он выразил свою «заветную мысль о немцах»: «что они и русские — единственные идеалисты на свете, что география даже обеспечивает единство этих народов, и если эти народы соединятся, они добьются хозяйственного единства во всем мире».

Писатель извлекает уроки этой войны, определяет факторы успеха: «народ побеждает, а не партия». Красная Армия росла, «как ком снега», её воины мужали в бою, мальчишки становились героями, складывался «отчаянный человек, кому своя жизнь – пустяк» (последнее замечание очень легковесно). Таков «главный тип бойца Красной Армии» – это «и есть тот самый чудотворец, сотворивший победу» (запись 10 сентября 1943 года). В тылу «никто больше не сделал для победы, как эти колхозы» (хотя каждый «хотел своего: уйти из колхоза, но не мог и делал то, что надо, и вот из этого Надо родилась победа»). За время войны выросла роль женщины и на место героизма вышла её выносливость. Он обьявил её символом победы, открыл смысл «Чуда» нашего отпора немцам (в котором «фокус истории»): немцев-героев победила наша «самая обыкновенная баба», и весь её секрет – «в стихийном терпении». Она «не пьянствует, не распутничает, ждет, рожает, и у неё дети, и тут открывается родина». Она в колхозе выполняет «нечеловечески тягостную работу». Важно: работать и слушаться (и на производстве и в армии). Сказалась и мечта о лучшей жизни: «Откуда взялась эта сила России... в борьбе с немцами? Первое, конечно, сила эта родилась из мужика, жил на черном хлебе, а, конечно, мяса хотелось... вот откуда вся революция и война: движение от хлеба к мясу». Даже больше: эта «народная сила» выходит из «вечной тренировки голодом, то есть смертью», и простой русский человек «приучил себя к близости смерти». Отсюда – бесстрашие, удаля, перед которой слабеет немецкое чувство долга. Если в США открыли атомную энергию, то у нас произош-

ло открытие «общественной душевной энергии», благодаря которой и произошло это «чудо» – наша победа в войне.

Через все Дневники проходит сквозная мысль о праве личности на существование – в этом «смысл жизни» и общества. Примером был для него Ганди, с его идеей и практикой национального непротивления. Он думал: «где наш Ганди, почему у нас нет своего Ганди?» И отвечал: «он был, но его расстреляли, и он есть – его тоже завтра расстреляют, и их много, много легло в жертву победы над немцами».

В нашей тоталитарной системе в 1946 году он подметил демократическую черту. Если у немца «личность человека сливается с государством», то русский остаётся личностью, ибо у нас нет «культуры бараньего начала»... Наше народно-личное начало, это Хочется, подчиняется общественному Надо». 22 июня 1945 года эту мысль подтвердил рассуждением о Сталине: для нас он – «не человек, а какая-то центральная сила нашего времени», он «совершенно скрыл лицо свое человеческое в делах общества», «все собой завершил» и «воздвиг на пьедестал безликое имя в мраморной шинели». Словом, путь Ленина – Сталина есть сплошь «путь жертвы личной для общего дела».

Творчество Пришвина в годы войны готовило людей к миру через ощущение земной радости. В 1945 году его сказка-быль «Кладовая солнца» получила первую премию за лучшую детскую книгу. Дневники отразили его концепцию сказки: «Каждый человек живет сказкой», а в ней – «сила внутриатомной энергии». Она – «выход из трагедии», ибо её счастливый конец есть «утверждение гармонической минуты человеческой жизни, как высшей ценности». Потому родина для него – это «родина нашего языка, нашего слова и с этим словом всего лучшего». Его книги соответствуют природе русского человека с его наивным жизнеощущением: «добро перемогает зло».

В 1945 году Пришвин подвёл черту под двумя мировыми войнами социальными категориями: понимая большевизм как «силу возмездия за нарушенную правду жизни» в Первой мировой и выход социализма в мир из Второй. Словом, «всякая война идет за правду и социализм есть форма войны». Определилось противостояние двух: «Америка хочет создать капиталистический интернационал, а мы – социалистический», в итоге «национальному суверенитету подписан смертный приговор». Он счёл возможным «прекращение войны навсегда», понимая, что война есть «прежде всего расчет», ведомый «необходимо безнравственной (т. е. безличной) силой общественной, силой улья, подобной стихийным силам». Но у Пришвина нет уверенности в установлении спокойного мира после войны: «Германия всем оставит большое наследство». Фашистским ядом отравятся и победители, и не будет «не только рая, но и отдыха», и «не будет даже и времени такого “после войны”, и так все пойдет до конца столетия». Как в воду глядел!

Если Первая мировая война и революция утвердила его на позициях патриотизма и внутреннего несогласия с властью, то Вторая – укрепила его любовь к социалистической Родине. Но что осталось для него несокрушимым – это признание самоценности и самодостаточности личности. И он сам был таким человеком.

Людмила КАЛИНИНА

Родилась в поселке Керженце Горьковской области. Окончила историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета, Высшие литературные курсы и аспирантуру в Литературном институте. Работает главным редактором газеты «Нижегородский университет».

Автор пяти сборников стихов и книги очерков «До слез любя страну родную...» (Аввакум, Н. Клюев, С. Клычков, Ф. Сухов, А. Люкин, Б. Корнилов). Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ПРАВДУ ВСЮ – ДО ПРЕДЕЛА, ДО КРАЯ, – КАК НИ ГОРЬКО, РАССКАЖЕМ НЕ МЫ»

70 лет со дня рождения поэта Сергея Карасева

15 января 2023 года исполнилось 70 лет со дня рождения поэта-нижегородца Сергея Карасева (1953–1995). В последние годы своей короткой жизни он написал самые сильные, на мой взгляд, итоговые стихи. Они оставались в записных книжках, нигде не публиковались, некоторые спустя время увидели свет в сборнике «Отблеск первого костра» (2013 г., Нижний Новгород, издательство «Кварц», редактор вдова поэта И.Г. Дементьева). Приведу ведущее стихотворение этого цикла, где в емкой, выразительной форме поэт дает портрет молодого поколения 80-х годов прошлого века. Замечу, эти стихи не потеряли своей значимости, в них патриотический настрой, поклонение героям – «одиноким гордым птицам» – и беспощадность к себе. Да мало ли ассоциаций открывает подлинное искусство...

* * *

Так надежнее – вместе со всеми:
Ни вперед забежать, ни отстать...
Слишком поздно строптивное время
Нам позволило смелыми стать.

Наша юность бузила, но все же
Вся истлела, не вспыхнув, она.
Уложить на прокрустово ложе
Нас умела родная страна.

Впрочем, подло порочить державу.
Здесь не место нелепой вражде.
Добываем бесславье и славу
Мы, достойные наших вождей.

Нет, иллюзиям давним не сбыться,
В легионе не сбиться с ноги.
Одинокие гордые птицы
От земли далеки-далеки...

А она, как и прежде, сырая.
А могилы доселе – немые...
Правду всю – до предела, до края, –
Как ни горько,
Расскажем не мы.

В начале 80-х на нижегородском небосклоне ярко засияли три звезды, три талантливых поэта: Сергей Карасев, Александр Тюкаев, Игорь Чурдалев. Их объединяло стремление сказать свое весомое слово в поэзии, разносторонние познания, высшее гуманитарное образование, глубокое знание истории литературы. Но как заявить о себе в полную силу провинциалу; раз, другой постучал в двери столичного журнала – ни ответа тебе, ни привета. В то время в нашем городе не было регулярно выходящего литературного журнала, альманаха, газеты – а их всего три – печатали поэзию неохотно. Есть государственное издательство, но оно маломощное, изредка издает членов творческого союза по принципу. И это в городе с глубокими литературными традициями, названном именем всемирно известного писателя. Всероссийские литературные журналы, издательства располагались в столице. К концу прошлого века эти журналы как-то померкли, стала очевидной причина – засилье столичных авторов, одних и тех же имен.

Но пришло время перемен – в Москве в издательстве «Современник» охотно принимали рукописи авторов из провинции. В «Современнике» в 1987 году у И. Чурдалева вышел сборник стихов «Железный проспект», этому предшествовали две его большие подборки стихов в журнале «Юность». Надо бы развернуть свою журнальную активность, но нет, ни ему, ни двум другим выше названным мной поэтам не было свойственно назойливое хождение по издательским коридорам с протянутой рукой. Ведь главное – творчество, и они довольствовались редким выпуском безликих, малостраничных сборников в местном издательстве. Участвовали во всесоюзных совещаниях молодых литераторов, были приняты в члены Союза писателей СССР.

С Сергеем Карасевым мы вместе работали в областной молодежной газете «Ленинская смена». Веселый, доброжелательный, с тонким чувством юмора, мог найти общий язык с каждым. В редакции его было не застать, он не слыл кабинетным журналистом. В дорожном портфеле его вместе с диктофоном и блокнотом помещалось все необходимое для жизни: бритвенный прибор, кипятильник, свитер, даже сменная обувь на случай непогоды... Попали мы как-то веселой компанией в его съемное жилье и подивились убогости, бесприютности, от таких условий невольно убежишь куда глаза глядят. Но Сергей никогда на быт не жаловался, не просил помощи, в то время как наши молодые журналисты получали комнаты, а семейные – квартиры. Казалось, он сам, по своей воле нагнетает сложную жизненную обстановку вокруг себя.

Ему нужны были движение, события, преодоление препятствий, а не «тихие до одури дни», когда «все нормально, ни сытно, ни голодно, волком выть бы иль в петлю залезть».

Работал он в отделе сельской молодежи, притягивали открытые сельские люди, волновали их судьбы. Его ранние стихи находились под явным

влиянием завоевавшей лидерство в те годы «деревенской» поэзии. Вольно или невольно в стихи С. Карасева проникает журналистика – адреса, имена, конкретные события. У стихотворения «Рассказ о деревне Сапун» эпиграф – «Анне Петровне Камневой. В деревне Сапун 62 двора. Во время войны в деревню пришло 75 похоронок». Вывод поэта – как ни горька вдовья судьба, но сила духа вдовы, пережившей беды, притягивает. Сюда хочется приехать, когда тебе плохо «и наши житейские беды пустяшными станут совсем». Этого же плана поэтическая миниатюра «Тетя Саша, твой дом на отшибе стоит...». Сочувствие к людям рождает чувство вины. Противоположность сельскому бытию у поэта Карасева – «твердокаменный город». Вот он выходит на балкон городской квартиры и видит клин перелетных птиц: «Вдруг напомнили дикие гуси, что они существуют еще».

Известный нижегородский поэт Юрий Адрианов в своем напутственном слове подчеркнул главное – назвал стихи Сергея Карасева «совестью поколения» и подчеркнул в его поэтике «доверительность, откровенность, сопричастность с лихолетьем над Родиной». Его волнуют судьбы незаметных тружеников, он и свою судьбу как бы примеряет к ним. Герой небольшого стихотворения «Бакенщик» – старый, списанный на берег капитан, которому нет покоя: «Но среди ночи он двери рванет, вдруг расслышав сквозь гул непогоды, как на плесе гудок парохода лебединую песню поет».

В поэзии Адрианова и Карасева немало общего, и это общее – в романтическом настрое лиры: обращенность к теме восстания и судьбе декабристов, судьбе России, преклонение и робость перед великим А. Пушкиным, последствия дуэли на Черной речке.

Своя комната у Сергея появилась спустя годы в квартире переехавшей в город мамы Галины Ивановны. Родился Сергей пусть не с золотой, но уж точно с серебряной ложкой во рту. Отец юрист, мама – партийный работник. В районный центр Княгинино семья переехала без отца, родители расстались. Дом вела бабушка, и она, и мама не могли надыхаться на смышленного мальчишку и позволяли ему все. А хотелось ему одного – книг. У Галины Ивановны возможность приобретать книги, в том числе малодоступные в те времена, была, потому-то Сергей собрал уникальную библиотеку. Вспоминаю, как на поэтических встречах он одаривал собравшихся россыпями только что появившихся в печати «запрещенных» поэтов. Никогда никого не критиковал, ему давали слово – читал стихи Гумилева, Мандельштама или нашего современника Юрия Кузнецова. Начитанность, книжность обогащают лирику С. Карасева: «Убогий сельский колокол» у него «был для плутающих в дороге Александрийским маяком», к слову «ветер» он находит яркую рифму «Вертер»...

Любовная лирика С. Карасева это расставание, воспоминания и одиночество навсегда. Было: «Какое счастье эти пальцы греть», «Твой смех золотой паутинкой висит», а стало: «пусть где-то, пусть не рядом есть женщина, которую люблю», «Я сладить с тобой сумел, но сладить с собою как?». Приходит позднее прозрение:

Мир живет ожиданием бунта
С ликованием, кровью, гульбой.
Я живу ожиданием утра,
Ожиданием встречи с тобой.

Не получается у поэта Карасева жить как все легко и просто. Он винит себя, страдает, но ничего изменить не может:

Что из того,
Что какое-то слово
Не прозвучало,
Осталось во мне!
Но почему оно
Снова и снова
Вздрагивать вдруг
Заставляет во сне?..

«Вздрагивать», откликаться на боль человека – главное в творчестве поэта Сергея Карасева. Вот еще стихотворение из записной книжки:

* * *

Мир барачных и засыпушек
Верных рыцарей растерял,
Поставляя для бомб и пушек
Человеческий матерьял.

И отсюда в крутые годы,
Среди ночи являясь вдруг,
Уводили врагов народа
Прямоком за Полярный круг.

Я грехом не считаю, право,
Если те, кто остался цел,
Осуждают паденье нравов.
Примирайся с повышеньем цен.

Но под сенью барачных сводов
Непонятен и страшен мне,
Как и прежде отец народов
Рядом с Лениным на стене.

Скоро стены снесет бульдозер,
Но людей этих чем ломать,
Коль пришлось небывалой дозой
Им страдания принимать?

Беспощадно ломая судьбы,
Не жалеючи ни черта,
Их судили другие судьи –
Нам, теперешним, не чета.

Без смиренья и возмущенья,
Как закон принимаю ту
Всероссийского всепрощенья
Несусветную слепоту...

С грузом сострадания, сочувствия, одиночества поэт С. Карасев пришел к поре своих лучших стихов, к финалу своего жизненного пути. Мы понимаем, что ему уже под силу дать не только срез характера своего поколения, но и поколения отцов и дедов – победителей, вынесших в невероятных условиях тяготы бытия и подаривших своим детям будущее.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПЕСНИ РАЙСКОГО САДА

О книге стихотворений Олеси Николаевой «Уроки русского»

Как мы пишем? И чем? Ручкой, карандашом, древним стилем, колотим по клавишам с нарисованными буквицами, аки музыкант по клавишам рояля, клавесина, органа? И, главное, зачем?

...Слово дико. Оно неприрученное, как мы ни стараемся приручить его. Слово волшебное, как ни тщимся мы подать его на блюдо вполне земным, дымящимся, под вкусным соусом, с горчичкой и перцем злых посвистов и сладким соусом кокетливых ахов и охов. Оно потустороннее, иномирное, надмирное, междузвездное, оно суть символ-знак Инобытия. А что оно делает здесь? Мы давно им пользуемся, привычно, веками, перебрасывая его друг другу, как мяч. Подбрасывая высоко вверх почтовым голубем: лети! Унеси мое послание далеко... далеко... в иные века... в иные страны...

Бумажный голубь... темные кресты лапок на белом, чистейшем снегу...

И письмо то сосредоточенно и любовно пишем мы на родном языке. Ибо и в начале жизни, и в конце ее, при завершении пути, мы говорим на своем родном наречии, мы, народ, счастливо и по-пынно-горько выдыхаем это, вечное: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое...»

Олеся Николаева записывает свои буквицы, слова, вдохи и выдохи, рисует свои неповторимые письмена по-русски. И собрание письмен своих рифмованных, то жестких, то нежных, то строгих, то весенне-ледоходно-свободных, именуется – «Уроки русского».

Уроки. Тут надо вдуматься не только в звучание слова.

Хотя внутри музыки сего слова – и античный рок, Ананке, и то, что пойдет старателю впрок, и то, что хранится, таинственно прячется между строк...

А надо понять не только интонацию, не только созвучия и обертоны. Смысл таков: я учу вас Русскому, русские. Я учу вас – вашей памяти. Без насильственной дидактики. Без назидания. Я, внемлите, поймите, вам сей урок – *пою*.

И верно, Олеся Николаева *поёт*.

Она изрядно одарена тем, за чем другие гоняются, ищут эту благодать днем с огнем, ищут и не находят, и пытаются искусственно ее родить, ей подражать, ее – сымитировать; но искусство симулякра тут не проходит.

Ей внятно все: и чудо одинокой, перед Господом, исповеди, и почти подземное, инфракрасное, хтоническое звучание Всеобщего Хора – когда по всей вертикали, от низовой нищеты до снеговых вершин элиты, сходясь в одно целое, выдыхает народ из прокуренных, измученных, да все равно могучих легких своих, готовясь на невиданную доселе борьбу, органно гудящий воздух целой жизни.

Кто крупную находит дичь,
кто бьёт мелкашку, кто достичь
желал бы сразу райской дверцы,
кто греет злость, кто копит хлам,
кто затаился по углам,
а кто булыжник носит в сердце.

...Но наступает миг, когда
гурьба, толпа, братва, орда,
кто – в облаках, кто – в нечистотах,
кто сам в себе – упёрт и горд –
сливаются в один аккорд,
пугающий на нижних нотах.

Удивительно родное и радостно-объяснимое это сопоставление живого (малого) с планетарным (громадным): вспоминается Аввакумово видение, о котором опальный протопоп пишет царю Алексею Михайловичу, когда во сне, в голодном бреде Аввакум увидел себя летящим над землей, и под небом раскинулся он гигантской птицей... «И лежащу ми на одре моем и зазирающу себе, яко в таковыя великия дни правила не имею, но токмо по чоткам молитвы читаю, и Божиим благоволением в нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь. Мне же, молитвы беспрестанно творящу и лествицу перебирающу в то время, и бысть того времени на полчаса и больши, и потом восставши ми от одра лехко и поклонившуся до земля Господеви, и после сего присещения Господня начах хлеб ясти во славу Богу». У Олеси Николаевой видим то же Мирочувствование, ту же Вселенскую радость:

И земле подо мною совсем не до сна:
я ворочаюсь, словно Кавказ,
как Сибирь угораю, валюсь, как сосна,
так что сыплются звёзды из глаз.

И спускается плавно небесная высь,
открывается Книга из книг,
деревенской старухой шурша: «Не бойсь!
Есть у родины нашей двойник!»

Вот она – между этих и этих страниц –
все тут живы в своей новизне
и летают с небесными стаями птиц
хоть куда – к Енисею, к Десне.
Распадается цепь, зацветает бурьян,
всё кончается – бедствие, ложь.
Лишь лихой человек изнывает от ран,
напорвшись на собственный нож.

Песня тоже может стать раной. Стать – кровью. Кровь есть память. Кровь есть народ. Кровью мы помним нашу культуру, песнею – освящаем. «Стихи с посвящением» – конечно же Анне Ахматовой. Женская ипостась в поэзии апофатична. Неизъяснима. Женский голос летит ввысь, и вот он уже там, в синеве, рядом с белым голубем, сиречь, Духом Святым. Песня! За нее сполна кровью заплачено. Неизбывным страданием.

...Офелия плывет с венками ив.
А лирике грозит разлом, разрыв
материи – утратой героини.
Она утонет с песнями, а та,
что выживет на берегу, у рта
потерю выдаст складкою гордыни.

И всё-таки, минуя зеркала,
такую музыку она в себе несла!
Земля плыла, качались в такт кадила,
мир в жертвенной крови крутила ось.
Но с пением она прошла насквозь
плен времени и, выйдя, – победила!

«Минуя зеркала...» Зеркало – сон. Зеркало – Иной Мирь, оно и Инферно, и горний, светящийся воздух (голубой иерейский праздничный воздух...) сфер, где парит Михаил Архангел и его небесное воинство Сил бесплотных, Херувимы и Серафимы... «Но с пением она прошла насквозь / плен времени...» Ни на минуту, ни на миг не прерывается мелос: он то течет подземной рекой, как кровь под тонкой кожей, то вырывается наружу, как в последнем триумфальном возгласе стихотворения: «...победила!» Победа всегда радость, и она всегда крылата. Ахматова, над мрачными годами России, стала поэтическим «облаком в славе лучей», стала Русским Торжеством. И Олеся Николаева поет о том выстраданную и светлую песню.

Мирь Духа – а рядом вещный Мирь... сияние маминых старых бус, безделушки, отражения любимых статуэток в исчезающем зеркале, как в талой воде... Тайнозрение. Взгляд чуть касается утраченного. Зрачок гладит невысказанное, неутоленное. Поэт пытается остановить и поцеловать Время: люблю тебя, не уходи, а уйдешь навек, оставь хоть память, ее золотую кроху!..

...Оттого для меня драгоценны бусы мамы моей,
папины шахматы, друга – мозаика из камней.
Трогаю эти вещицы с нежностью, так дивясь,
словно между дарителем и подарком осталась связь.
Словно папа почувствует, как тоскую о нём,
когда я чёрную королеву – смерть – бью белым конём.

«Смерть, где твоё жало?.. Ад, где твоё победа?..» Нам всем уйти.
Нам всем переступить порог. Кто испытывает страх перед великим переходом. Кто – удивление: как, и со мной сие произойдет?.. Да; и память не спасет. Мы не возьмем ее с собою в Миръ Иной. Она – кровь, что горячо течет в живых, живущих.

Олеся Николаева несколькими графически точными штрихами изображает смерть – извне, мысленным наблюдением, а может, изображением с натуры (мы ведь провожаем *туда* наших родных, дорогих!..), а может, предчувствием. Предчувствием Ангела, что утешает во всём и безмолвно изъясняет всё. Он, крылатый светильник Господа, с нами. Это мы сами отворачиваемся от него. Глядим во страх, а надо бы глядеть – в Радость.

Он оглянулся мысленно и всё же
увидел въяве, что стоит за ним
на свой иконный образ непохожий,
но явно – ангел или херувим.

Повис, как бы эфир, сгустившись тучно,
по контуру подсвеченный предел...
И повторяет:
– Здесь я неотлучно.
Не жалуйся! Ты не туда глядел!

И в этой ветхой плотяной одежде
из мышц и кожи – небу, пустырю –
вглубь обступившей тьмы кричу:
– Я – тоже!
Прости меня! Я не туда смотрю!

И вдруг – бетховенское, воинское, восстанное, росстанное, святознаменное, извечное: борьба. Куда ж мы без борьбы? И каков человек, какова его судьба без борьбы? Не сразу приходит к нам эта страдальная, в муках рожденная, насквозь просвеченная ясным Солнцем, ангельская пара – терпение и смирение. Сначала – сражение. Сначала – война. Замирение – потом. Ты – солдат. Ты – воин. И так суждено. От века. От Сотворения Мира.

Ибо жизнь – это битва: следить свысока
мировой оголтелый бедлам,
тут военная хитрость – не брать языка,
партизаны по вражьи тылам.

Но вести затяжные, как ливни, бои
с сонмом ангелов падших, едва
отбивая у вестников смерти свои
силы, помыслы, чувства, слова.

Олеся Николаева чудесно и счастливо разнообразна в музыкальной ритмике своей. Ей подвластна и короткая, кратко-жесткая, в кулак собранная строчка, и упругий, как четкий быстрый шаг, властный размер, и размашистая, разливом синей реки на полземли и полнеба, упоительная, широчайшая русская силлаботоника, продолжательница ритмики и песенного, «Боянного» склада русских былин, виршей Симеона Полоцкого, огромных, как снежные степи и колючая таежная шкура Сибири, ветровых периодов огненного Аввакума. Олеся начинала свой творческий путь вот с такого раздольного, длинно-речного стиха, она не боялась его широты, его простора, что не укладывается в сетку классических метроритмов. И вот мы снова встречаемся с этой словесной ширью, под стать искусству древнего псалмопевца:

Осенью говорят деревья, от куста передают кусту:
оставь себе лишь себя, оставь себе простоту,
готовься к бедности, к сирости, к холодам, к Рождественскому посту:
осыпаются листья, отрываются пуговицы, ветер к ночи всё злее.
Всё у тебя отберут: роскошь, молодость, красоту,
а кураж и сама отдай, не жалея.

...Ах, выйдет срок, уляжется головой на восток, времени поперек,
пока его мамка сыра земля не примет в утробу, развяжет себе пупок.
Мол, спи-почивай, выращу из тебя шиповник, и пусть расцветёт впрок
колючий красный цветок!

...И на чадающем огне маленькой злой горелки
я сожгу эти записи, почерк дрожащий, мелкий,
тон завиральный, росчерк, неровность линий.
Отблеск от пламени красный, переходящий в синий.

Человеку не хватает воздуха. Он ловит губами ветер. Он идет, один на свете, хоть и в толпе. Стихотворение – еще одна попытка схватить этот земной, сладкий (горький ли!.. неважно!..) воздух ртом и сердцем. Сердце не может биться в безвоздушие. Его жаждой ветра проверяется не только наша стойкость перед страданием, но и наш дар прощения.

Простить – и забыть... узнать – не узнать... Время такая штука, что в нем ничего не поправить. Да и не надо. Зачем нам, людям, менять Божию волю. Но, когда мы нашими ночами вступаем в то пространство, что иные философы именуют смертью при жизни, – во сны наши, мы забываем, где мы жили, и не понимаем, где мы очутились; и сердце бьется, а мы его не слышим; и скользим мы по краю памяти, а она вот-вот оборвется... и смутно, тревожно, слёзно и страшно лишь догадываемся, ГДЕ мы.

Лишь заснула – и вздрогнула, отступаясь...
По незримой лестнице ль шла во сне,
по осенней улице ль, осыпаясь,
по морскому ль берегу, по волне?

По скользкой памяти ль – там, где ало
ослепляло зарево, сердцу – в тон?
Иль по Царству мёртвых, где вдруг узнала,
а кого – не помню...
Порвался сон.

И мегаметафора театра внезапно как хлестнет нас наотмашь, жестоко и кроваво-правдиво! Шекспира впору вспомнить – знаменитую фразу из пьесы «Как вам это понравится»: «Весь Мирь театр; в нем женщины, мужчины – все актеры». Да, играем! Да, лицедействуем! Исполняем социальные роли. Играем, маски пялим, притворяемся перед самыми близкими, самыми родными. И ужасно это. И к этому ужасу – да, привыкаем. Но, может, театр-то совсем не лицемерие, а – мужество! Воля к жизни, когда тебя убили! И ты должен встать. Пуля, огонь, снаряд сразили друга. И поднимись за него – ты. И – играй. Пой. Кричи. Смейся сквозь слёзы. Утверждай незыблемое.

Тут монолог вековечный заученный
все начинают твердить:
– С этой вот сцены бесценной, замученной
некуда нам уходить!

Будем до смерти играть – то раскручивать
жизни пружину, то рвать:
правых оспаривать, мёртвых озвучивать,
вместо упавших – вставать!

Олеся Николаева свободно рассказывает между персонажей исторических и библейских, видит, как взрывается «петарда / у Керенского в руке», слушает Блока, взирает на Лютера, смотрит на Фрейда, Гитлера и Сталина, что встречаются в Вене, еще не зная друг друга, не ведая, кто они такие и что сделают с Миром, перед Первой мировой войной («Тысяча девятьсот тринадцатый»). Ей внятна земная история, потому что поэт и сопротивляется всепожирающему Времени, и сокрушает его молнией *мысли* и пучком мощных лучей, как на гравюрах Гюстава Дорэ, исходящих из *чувства*, и – Время – принимает. А принять – значит понять. А понять – значит: уже любить.

И что есть любовь в подлунном Мире? Ей нет определений. А мы все о ней. И для смерти тоже нет слов. И лишь о ней мы помышляем, воспевая жизнь тем горячее и пламенней, чем смерть ближе и безусловней.

А Олеся Николаева столь же библейская, сколь и трогательно-детская, столь же воински-мужественная, сколь безмерно-нежная: по-женски, по-травному, по-речному, – она идет одновременно и путем земным, поднебесным, и путем небесным.

И заводит тот путь («...поэта далеко заводит речь» – М. И. Цветаева) прямо в Райский Сад.

Не все на земле его видят и слышат. Не все вкушают плоды его. Не все медленно ходят по его мягкой, шелковой, сияющей траве.

Олеся – ходит. И, улыбаясь, обнимает за шею льва и ягненка, и маслянистую ветвь протягивает нам.

Боже! Как прекрасно это!

Я не знаю, право, виденье это иль опыт.
Я ложусь в траву, прижимая ухо к земле, и – топот:
то ли это за нами погоня, то ль бунт в аду,
то ль наружу просится клад Кощея,
то ль покойник рвётся на солнышко, то ль Идея
мира Божьего вырастает в моем саду.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

Надежда Шевелилова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 06.01.2023.
Выпущено в свет 27.01.2023.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13